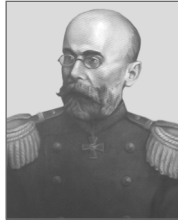




НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ



ОЛИМПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ



БУТОВСКИЙ
Алексей Дмитриевич
(09.06.1838–25.02.1917)



**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ**



А. Д. БУТОВСКИЙ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

в 4 томах



Киев
Олимпийская литература

А. Д. БУТОВСКИЙ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Том 4



Киев
Олимпийская литература

ББК 75я44
Б93

Укладачі

С. Н. Бубка, М. М. Булатова

Бутовский, А. Д.

Б93 Собрание сочинений : в 4 т. / А. Д. Бутовский. — К. :
Олимп. л-ра, 2009.

Т. 4. — 2009. — 448 с. : ил.

ISBN 966-8708-07-5

Увазі читача пропонується зібрання творів нашого видатного співвітчизника Олексія Дмитровича Бутовського — одного з ініціаторів відродження сучасного олімпійського руху наприкінці XIX ст., члена першого Міжнародного олімпійського комітету, видатного спеціаліста в галузі теорії та методики фізкультурної освіти і системи підготовки спеціалістів із фізичного виховання і спорту у військових і цивільних навчальних закладах. Наведено відомості про його життя, педагогічну, військову, спортивну й організаційну діяльність. Вперше публікується "Послужной список генерала А. Д. Бутовского". До видання включено 13 листів Олексія Бутовського П'єру де Кубертену і Віктору Бальку.

Для спеціалістів із фізичного виховання й олімпійського спорту та всіх, хто цікавиться питаннями історії олімпійського руху.

ББК 75я44+75.3(4УКР)5—8

ISBN 966-8708-07-5

© Національний олімпійський
комітет України, 2009

© Олімпійська академія України, 2009

776 - 1896



THE OLY
GAM

DIE OLYMPISCHEN SPIELE

ATHEN - ATHENS

Афины весной 1896 года¹



I

Прожив несколько месяцев за границей и переезжая с места на место, я не имел возможности регулярно читать русские газеты, а потому не знаю, что у нас писалось об Олимпийских играх; не знаю даже, писалось ли о них вообще что-нибудь. Во всяком случае, думаю, что удовлетворю любопытство немало-го числа русских читателей, представив здесь, по возможности, полную картину этого события, на основании личных и весьма близких собственных моих наблюдений. Я называю Олимпийские игры событием, потому что таковым они представляются теперь, по их окончании, всем на них присутствовавшим, как грекам, так и иностранцам, и именно окраску события получили они почти во всех корреспонденциях, расходившихся в то время из Афин по всем концам земли.

Прежде всего, Олимпийские игры удались. Все мы, имевшие к ним некоторое отношение, ехали сюда с сомнением. Мы знали, что, несмотря на очень деятельные приготовления, возобновляемый панафинейский стадион не был еще вполне окончен; некоторые части его возводились временно, наскоро, из дерева вместо мрамора, который, по первоначальному предложению, должен был служить ему единственным материалом. Подобные программы состязаний только что еще разрабатывались в самые последние дни. Мы знали также, что сама идея возобновления Олимпийских игр не везде была встречена с тем доверием, которое служило бы ручательством за их успех. У нас, например, стеснялись даже го-

¹ Бутковский А. Д. Афины весной 1896 года // Русское обозрение. — М., 1896. — С. 767—797.

ворить об этом без снисходительной улыбки. Но и там, где дело было принято серьезно, оказались течения, враждебные Играм. У немцев по этому поводу возникла целая литература, большие споры, в которых с более или менее вескими основаниями высказывались самые крайние мнения за и против Игр. Так, вожди немецкого турнершафта решительно отказались участвовать в Играх потому, во-первых, что первая идея Игр принадлежит французам, во-вторых, что немцы не были приглашены на парижский атлетический конгресс 1894 г. и не имели представителя в международном комитете Игр; наконец, они утверждали, что идея немецкого Turnen совершенно противоречит тем упражнениям спорта, которым отводится главное место на Играх. Вообще же говорилось, что немцам нечего там делать и что участие в Играх для немцев будет даже актом непатриотическим. С немцами дело кое-как уладилось, благодаря тактическому поведению греческого комитета Игр; но опять бельгийцы решительно отказались принимать участие в Играх, находя их вредными для молодежи в педагогическом отношении. Кое-где высказывалось также мнение, что Греция — государство бедное, что оно приняло на себя осуществление такой задачи, выполнить которую оно не в состоянии, и пр. Громко раздавались, конечно, и мнения в пользу Игр; но все эти споры, возбуждая страсти, не могли не поселить в общественном мнении сомнения в целесообразности предстоящего торжества и в благоприятном его исходе.

Такое именно настроение сомнения встречал я везде на пути в Грецию: и в Вене, и в Пеште, и на русском пароходе из Константинополя в Пирей, на котором ехало много греков из России, стеснявшихся сознаться, что они едут именно по случаю Игр.

В Афинах к концу Страстной недели мы застали большие приготовления. Этот и без того белый и опрятный город прибрался, почистился. Чрезвычайное обилие флагов, щитов. Народный небесно-голубой цвет придает даже особенный голубоватый колорит главным улицам. Огромные приготовления к иллюминации улиц, скверов, площадей. В последние дни Страстной недели движение по улицам большое. С пятницы уже непривычным людям начинают надоедать хлопушки и выстрелы, которыми греки имеют обыкновение встречать светлый праздник. Но и в самой Греции, в руководящих сферах, мы не встретили на первых порах твердой уверенности, что Игры

пройдут с желаемым успехом. Жаловались, что съезд иностранцев пока весьма незначителен, и опасались, как бы Игры не утратили своего международного характера.

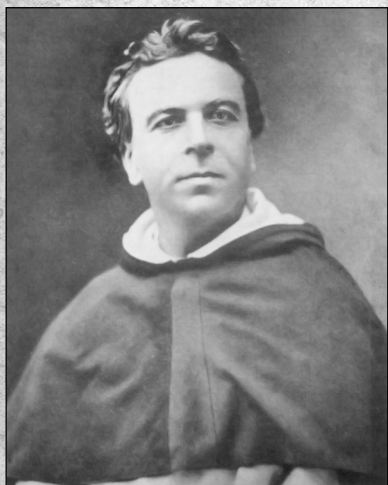
И тем не менее, Олимпийские игры прошли с выдающимся, можно сказать с исключительным, успехом.

Прежде всего, оказалось, что к первому дню праздника в Афины собралось приезжего народа если и немного, то все-таки довольно, чтобы придать Играм международный характер. В лучших отелях стал ощущаться недостаток в помещении. Кое для кого греческий комитет Игр должен был озаботиться частными квартирами. Большинство прибывших были, правда, греки, проживающие в торговых центрах средиземного побережья: Марселе, Генуе, Александрии, Смирне, Константинополе, Одессе. Это тяготение к родной стране составляет характерную черту греков, проживающих за границей. Но немало приехало также и чужеземцев. Были тут, конечно, и досужие туристы, американцы или англичане, отбывающие свой сезонный вояж по европейскому югу и африканскому северу и завернувшие в Афины только по пути; но были также и люди, приехавшие именно по случаю Олимпийских игр. Между последними указывали на несколько известных имен в литературе, в общественной деятельности, в педагогике.

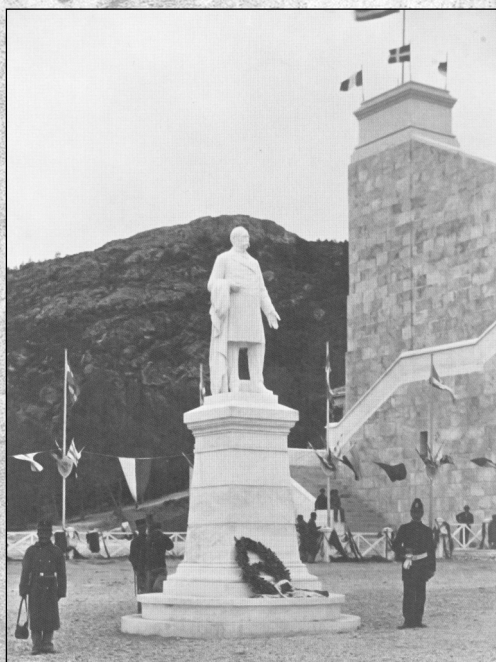
Потом, иностранцам нетрудно было сразу же убедиться, что греческий комитет Игр сделал все возможное, чтобы обеспечить торжеству широкий международный характер. Если и не все подробности были закончены, то приготовления были хорошо обдуманы и выполнены в грандиозных размахах. Ожидались только люди, способные внести жизнь в эти широкие рамки. Это на первых же порах подействовало на всех ободрятельно. Даже местная пресса, критиковавшая до того времени распоряжения комитета, переменяла тон.

Всех приезжих к первому дню праздника насчитывали свыше семи тысяч. Из них до шести тысяч греков из-за границы и из провинций; международных гостей до полуторы тысячи.

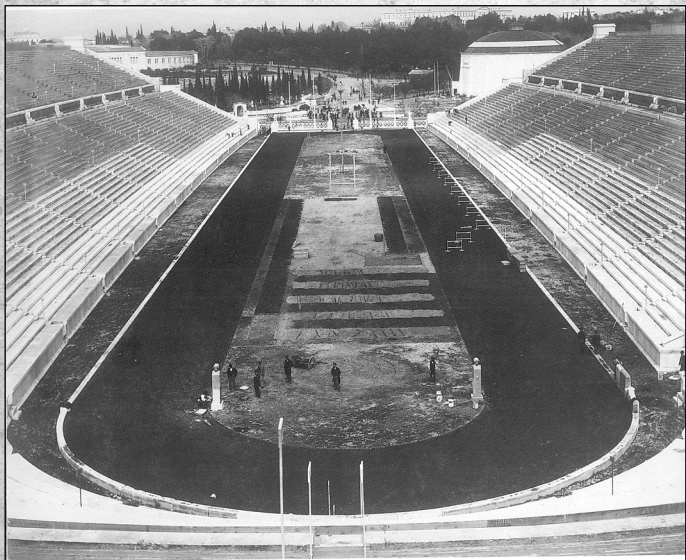
Прибывавшие атлеты записывались в бюро комитета, с представлением удостоверения, что они не профессиональные исполнители упражнений. И здесь греческий элемент был господствующим; но это и понятно, так как греки находились в гораздо лучших условиях тренировки сравнительно с приезжими: они



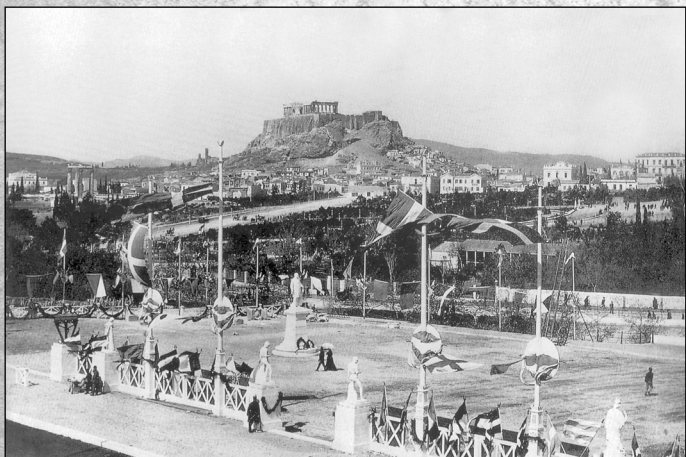
Доминиканский пастор
отец Анри Мартин Дидон
(1840–1900), покровитель
и друг П. де Кубертена,
автор олимпийского девиза
"Citius. Altius. Fortius",
утвержденного в 1894 г.



Открытие
памятника меценату
Георгию Аверову,
пожертвовавшему
миллион драм
на восстановление
Панафинского
мраморного
стадиона



Панафинский стадион перед открытием Олимпийских игр.
Мраморные сидения удалось установить лишь частично



Главный вход на Панафинский олимпийский стадион

могли подготавливаться на самих местах состязаний. Безусловно точных сведений о числе атлетов я не имею, но, насколько можно доверять ежедневным программам состязаний и другим случайным сведениям, они распределяются по национальностям таким образом: американцев — 22, англичан — 13 (в том числе один из Австралии), французов — 15, немцев — 22, австро-венгров — 20, датчан — 4, шведов — 3, швейцарцев — 1, болгар — 5, итальянцев — 3, русских — 1, греков — 110. Таким образом, всех изъявивших желание участвовать в состязаниях я насчитываю 219 человек; из них, однако же, до 10 % не появлялись на арене, в том числе все три итальянца и наш русский атлет.

В числе именитых иностранцев, прибывших на Игры, пресса отметила известного французского проповедника, pere Didon. В первый день праздника он говорил проповедь в афинской католической церкви и коснулся в ней предстоящих празднеств. Вот как определил он их значение: “Сопутствуя нескольким молодым людям французской школы Albert le Grand, прибывших на это торжественное празднование Олимпийских игр, я хотел, почему же мне не признаться в том здесь, в храме, воздать должное древнему гению Греции, потомками которого мы, жители запада и латины, всегда охотно себя признавали. Мне хотелось также быть причастным к этому развитию физической силы, столь совершенный пример которого дала нам Греция и который должен все более и более входить в воспитание человека как необходимый элемент. Наконец, я хотел ввести вверенное мне юношество в это движение к международному единению, которое представляется мне первым шагом к братству народов и к тому нравственному единству, которое Христос впервые формулировал, как великую цель духовного царства...” Слова эти были как бы первым откликом того действительного миролюбивого и даже несколько повышенного настроения, каким отличались афинские торжества.

Прологом к Олимпийским играм было открытие статуи Аверова, пожертвовавшего миллион драхм на возобновление Панафинейского стадиона. Статуя поставлена у входа в стадион. Открытие состоялось в первый день праздника, 24 марта. Сам Аверов, человек старый и скромный, не прибыл из Александрии, своего постоянного местопребывания, но в эти дни имя этого патриота было, без сомнения, одним из популярней-

ших имен в Афинах. Везде, в эстампных и книжных магазинах, на каждом перекрестке, вам предлагались его портреты и биография. В периодической прессе вы постоянно наталкивались на заметки и статьи, имеющие к нему отношение.

Открытие статуи произошло с подобающей торжественностью. Народа было много. Были члены всех комитетов и комиссий, как греки, так и иностранцы. Секретарь греческого комитета Игр, Тимолеон Филимон, произнес похвальную речь, сам королевич, председатель комитета, сдернул покров с этой бело-мраморной статуи во весь рост. Несколько депутатов положили к подножию статуи лавровые венки. К концу церемонии пошел проливной дождь и заставил, было, опасаться за успех следующего дня — первого дня Игр. Но к вечеру погода прояснилась, зажгли иллюминацию, народ высыпал на улицы, в скверах заиграла музыка. Иностранцам представился первый случай для знакомства с афинским населением. Чувствовалось обоюдное любопытство и то легкое напряжение, которым оно обыкновенно сопровождается. Город весело начал серию праздничных дней...

❧ П ❧

За несколько дней до открытия Игр греческий комитет издал программу всех предложенных торжеств с распределением их по дням. Привожу эту программу целиком:

1-й день. Понедельник, 25 марта.

3 ч. дня. Стадион. Открытие Олимпийских игр. (Предварительные состязания в беге на 200, 400 и 800 метров; тройной прыжок; метание диска).

Вечером. Заря военной музыки и оркестров филармонических обществ. Шествие с факелами городских корпораций.

2-й день. Вторник, 26 марта.

10 ч. у. Цаппион. Фехтование.

3 ч. д. Стадион. Атлетические игры (бег на 110 м с препятствиями; прыжок в длину; окончательный бег на 400 м; кидание и поднимание тяжестей; бег на 1.500 м).

Вечером. Иллюминация Акрополя.

PREMIERS JEUX OLYMPIQUES INTERNATIONAUX

ATHÈNES 1896

SOUS LA PRÉSIDENCE

DE S. A. R. LE PRINCE HÉRITIÈRE DE GRÈCE

PROGRAMME

PREMIÈRE JOURNÉE

LUNDI 6 AVRIL

3 heures P. M.

STADE. OUVERTURE DES JEUX OLYMPIQUES.
Jeux Athlétiques.

LE SOIR

Retraite des Musiques Militaires et des bandes des Sociétés Philharmoniques.
Retraite aux flambeaux par les Corporations de la Ville.

DEUXIÈME JOURNÉE

MARDI 7 AVRIL

10 heures A. M. ZAPPION. Assauts: fleuret abré. et épée.
3 heures P.M. STADE-Jeux Athlétiques.

LE SOIR

Illumination de l'Acropole.

TROISIÈME JOURNÉE

MERCREDI 8 AVRIL

10 h. 7/8. A. M. Inauguration des Salles du Tir. Commencement du Tir.

(Le tir sera continué les jours suivants.)

1 heure P.M. VELODROME. Course de 100 kilomètres. Lawn-Tennis.

QUATRIÈME JOURNÉE

JEUDI 9 AVRIL

3 heures P. M. STADE. Gymnastique.
STADE-Grand Concert des Sociétés Philharmoniques réunies.

CINQUIÈME JOURNÉE

VENREDI 10 AVRIL

3 heures P. M. STADE-Jeux Athlétiques. Course de Marathon.

LE SOIR

AU PIRÉE FÊTE VENTRIÈRE DANS LE PORT

9 h. 1/2. P. M. Illumination de la Ville, du Port et des collines environnantes.

10 heures P. M. Retraite aux flambeaux.

10 h. 1/2. P. M. Feux d'artifice dans le port.

SIXIÈME JOURNÉE

SAMEDI 11 AVRIL

10 h. 1/2. A. M. Concours de natation dans le port de Zea.

3 heures P. M. VELODROME-Courses de 2 et 10 kilomètres.

VELODROME-Continuation du Lawn-Tennis.

SEPTIÈME JOURNÉE

DIMANCHE 12 AVRIL

3 heures P. M. N. PHALERE. Grand Concert. Yachting. Course de Marathon des Cyclistes. Arrivée au Velodrome.

LE SOIR

Retraite aux flambeaux.

HUITIÈME JOURNÉE

LUNDI 13 AVRIL

10 heures A. M. N. PHALERE. Regates. Embarements des Sociétés

3 heures P. M. Embarements des navires de guerre.

LE SOIR

Illumination des Monuments de l'Acropole.

NEUVIÈME JOURNÉE

MARDI 14 AVRIL

3 heures P. M. STADE. Clôture des Jeux et proclamation des vainqueurs.

Tous les soirs illumination de la ville et Musiques sur les Places.

Le Comité se réserve le droit de modifier le Programme en cas de besoin.

Athènes le 1 Avril 1896.

Par ordre de S. A. R. le Prince Héritier.

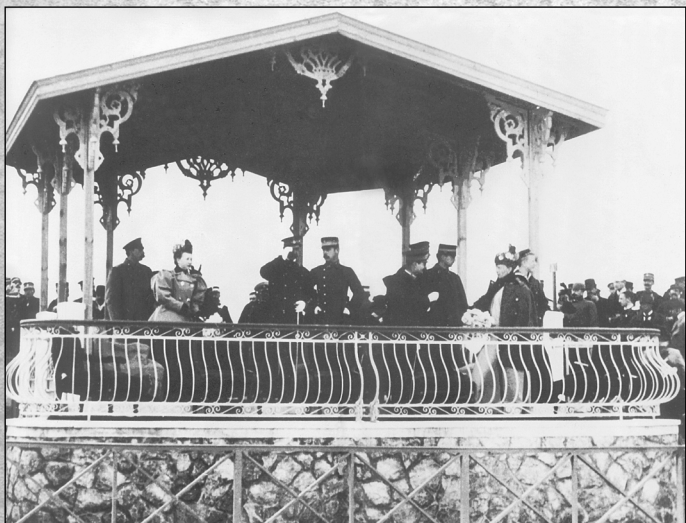
Le secrétaire général

TIMOLEON PHILIMON

Программа Первых Международных Олимпийских игр (Афины, 1896 г.)



Первый день Первых Международных Олимпийских игр.
Прибытие королевской семьи на Олимпийский стадион в Афинах



Королевская ложа на Олимпийском стадионе в Афинах

- 3-й день. *Среда, 27 марта.*
10½ ч. у. *Открытие стрельбища.* Состязания в стрельбе.
1 ч. д. *Велодром.* Состязание на 100 километров. Лаун-теннис.
- 4-й день. *Четверг, 28 марта.*
3 ч. д. *Стадион.* Гимнастика. Окончательный бег на 800 м. Большой концерт соединенных филармонических обществ.
- 5-й день. *Пятница, 29 марта.*
3 ч. д. *Стадион.* Атлетические игры (окончательный бег на 100 м; прыжок в высоту; окончательный бег на 110 м с препятствиями; прыжок с шестом; борьба). Прибытие состязающихся в марафонском беге.
Вечером. В Пирее. Венецианский праздник в порту: 9½ ч. иллюминация города и окружающих высот; 10 ч. шествие с факелами; 10½ ч. фейерверк в порту.
- 6-й день. *Суббота, 30 марта.*
10½ ч. у. Состязание в плавании в порту *Зеа*.
3 ч. д. *Велодром.* Состязание на 2 и 10 километров. Продолжение лаун-теннис.
- 7-й день. *Воскресенье, 31 марта.*
3 ч. д. *Фалерон.* Большой концерт. Гребная гонка. Марафонское состязание циклистов: прибытие в велодром.
Вечером. Шествие с факелами.
- 8-й день. *Понедельник, 1 апреля.*
10 ч. у. *Фалерон.* Парусная гонка. Частные суда.
3 ч. д. Военные суда.
Вечером. Иллюминация памятников Акрополя.
- 9-й день. *Вторник, 2 апреля.*
3 ч. д. *Стадион.* Закрытие Игр и провозглашение победителей.

Каждый вечер иллюминация города и музыка на площадях.

Под конец программа эта была изменена, но несущественно. Так, парусная и гребная гонки совсем не состоялись по случаю сильного ветра; закрытие Игр последовало не во вторник,

а в среду, тоже по случаю погоды. Все остальное было исполнено по предположению.

День открытия Игр, понедельник Светлой недели, совпал с празднованием 75-летней годовщины освобождения Греции от турецкого ига. Утром королевская семья была в соборе на торжественном богослужении, был парад, но это прошло как-то без особенной связи с Играми. За несколько минут до срока, назначенного для открытия игр, у входа в стадион, или для встречи короля собрались лица, имеющие отношение к организации Игр. Члены международного комитета (нас приехало в Афины 7 из 14) прибыли к стадиону все вместе, прямо с первого заседания, и глазам нашим представилось чудесное, невиданное в наше время зрелище. Надо составить себе понятие о том, что такое стадион. Представьте себе естественную продолговатую котловину, открытую на одном из своих концов. Дно этой котловины — почти правильный эллипсис, это арена. По окружности арены идет путь для состязаний в беге. Внутреннее ее пространство предназначено для других атлетических состязаний: прыжков, метания, борьбы, гимнастических упражнений. В глубокой древности зрители так и сидели по склонам этих гор, на голой земле. Но потом эти склоны стали одевать мраморной одеждой, непрерывно окружающей арену в виде необъятной воронки, состоящей из расположенных друг над другом ярусов сидений. Все это — под открытым небом. Таков именно Панафинейский стадион (у самого города, с юго-восточной его стороны), одно из величайших сооружений в этом роде. Арена его имела около 200 метров длины и до 50 метров ширины. Выходом своим он открывается к городу, на берег речки Иллисса. И вот, этот амфитеатр стадиона, вмещающий на своих ступенях до 50 тысяч зрителей (при необходимости даже до 70), был переполнен народом. Не только внутренние места, но и вся окружающая местность, покатоности и холмы над амфитеатром, кишели густо сплоченной массой. Весь город и окрестности переселились на это время к стадиону. Было что-то подавляющее в этой сплошной массе народа, как пеленой покрывшей и белые ступени амфитеатра, и зеленые окрестности. Как-то сразу стало понятно, что один уже этот интерес толпы, добровольно сюда собравшейся, способен возвести это новое дело, все равно, как бы

оно низменно ни было задумано и исполнено, на степень настоящего, серьезного события. Впечатление было захватывающее. Люди с несколько восторженным складом мыслей, отдаваясь впечатлению этой грандиозной картины, говорили, что сегодня, здесь, они переживают знаменательный момент, долженствующий обусловить собой новое направление в культурной жизни народов.

Ровно в назначенный час музыка почетного караула у входа в стадион возвестила о прибытии королевского семейства. Стотысячная толпа примолкла, встала, головы обнажились. Король, с выражением благодушия и благоволения, раскланиваясь направо и налево, в сопровождении королевы, принцев, принцессы Марии и ее нареченного жениха, Великого Князя Георгия Михайловича, сопровождаемый высшими сановниками государства, дипломатическим корпусом и комитетом Игр, греческим и международным, при звуках народного гимна медленно прошел по арене, по всей ее длине, и занял место в головном почетном закруглении амфитеатра. Все взоры с ожиданием обратились к этому головному пункту. Королевич Константин, стоявший во главе греческого комитета Игр, вышел к центру закругления и внятным, громким голосом произнес краткую речь, в которой, упомянув о том, что греческому народу выпала счастливая судьба возобновления учреждения, имевшего такое высокое и благородное значение в жизни его предков, засвидетельствовав, что все приготовления к предстоящему торжеству окончены и что собравшийся народ и иностранные гости ждут только санкции Его Величества для начала первых возобновленных Олимпийских игр. В словах его прозвучала прочувствованная патриотическая нота и еще раз, теперь уже с большой высоты и перед народом, была высказана надежда на объединяющее международное значение совершающегося торжества.

— Дай Бог, о, король, — сказал он с большой искренностью в выражении, — чтобы возрождение Олимпийских игр скрепило узы взаимной дружбы эллинского народа с другими народами, представителей которых мы имеем счастье принимать здесь... Дай Бог, чтобы оно подняло телесные упражнения и народное чувство и чтобы оно способствовало образованию нового греческого поколения, достойного своих предков.

При общих восторженных криках многотысячной толпы король провозгласил открытие “Первых Международных Олимпийских игр в Афинах”.

Немедленно за тем соединенными оркестрами, военными и филармоническими обществами, расположенными в самой середине стадиона, была исполнена торжественная кантата, написанная именно по этому случаю греческим композитором Самарой.

Кантату по требованию публики повторили. Когда все замолкло, раздалась призывная труба вестника Игр; вышли первые атлеты и начались состязания первого дня.

Еще два слова о стадионе. Огромные размеры амфитеатра, многочисленность покрывающей его толпы, которую ни в каком случае нельзя назвать публикой, так как это целый народ, все это так противоречит обычной обстановке наших зрелищ, что, на первый взгляд, не понимаешь, какого же рода зрелище, какого рода представление может отвечать этой обстановке. Музыка, если она хоть немного рассчитана на акустические эффекты концертной залы, теряет тут все свое значение. Человек на этой арене кажется слишком малым и незначительным и едва ли достойным напряженного внимания двухсот тысяч сосредоточенных на нем глаз. Но это только до тех пор, пока он находится в бездействии. С первого раза, как вам приходится видеть тут бодрую, исполненную мужества и силы молодежь, вы начинаете понимать, что нет арены, более отвечающей тому крайнему, иногда невероятному напряжению нравственной и физической энергии, какое мы видим в атлетическом состязании. Древние не ошибались в архитектуре своих цирков. Я не говорю уже, что простор нужен для таких упражнений, как бег, метание, что он нужен для большого числа участников; он требуется самым характером атлетических игр: замкните вы атлетическое состязание со всеми его перипетиями в нашу современную зрительную залу — оно непременно представится вам несоразмерным, преувеличенным, грубым. Ему нужен простор. И если это состязание не профессиональное, если на него выходит наша лучшая молодежь, будущие деятели на всех поприщах общественной жизни, то оно достойно несметного числа зрителей, достойно того энтузиазма, который по временам охватывает эту толпу, так как служит ей свидетельством здорового и мужественного воспитания этой молодежи.

 III 

Я не буду утомлять читателей подробным описанием хода всех поименованных в программе состязаний. Техническая сторона устройства различных конкурсов достаточно известна даже и нашим спортсменам, а потому на ней нечего останавливаться. Отмечу лишь некоторые характерные особенности и замечательнейшие моменты Игр с целью восстановления общей картины этого международного празднества.

Как видно из программы, не все роды (виды) Игр имели место в стадионе. Тут производились только состязания чисто гимнастического характера. Для дополнительных состязаний были назначены другие, более соответствующие им места. Так, для фехтования выбрали светлую ротонду в великолепном здании постоянной выставки, Цаппионе, построенном также одним из общественных благотворителей, чужестранным греком Цаппа; для стрельбы было специально устроено по случаю Игр особое стрельбище, по дороге в Фалерон; для состязаний на велосипеде был сооружен велодром в Фалероне; плавание, гребля и парусная гонка были назначены в малом Пирейском порту и в бухте Фалерона. Таким образом, в некоторые дни стадион оставался свободным по случаю переселения публики в Фалерон или в Пирей.

Король и его семейство ежедневно присутствовали на всех состязаниях, где бы они не происходили, открывая их и с видимым интересом следя за ними до самого их конца¹. На третий день праздника в Афины прибыл сербский король и в течение всей недели своего пребывания неизменно появлялся на состязаниях вместе с королевской семьей. Несколько дней прожили здесь и тоже посещали Игры австрийский эрцгерцог Карл-Людвиг и эрцгерцогиня Мария-Терезия с двумя дочерьми. На раздаче призов был брат египетского хедива.

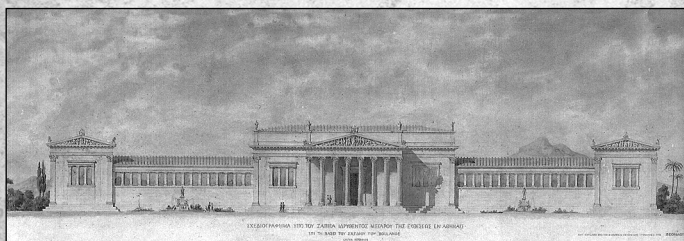
Королевич Константин как председатель греческого комитета Игр и принц Георг, второй сын короля Георга, в звании председателя всех экспертных комиссий (жюри), обыкновенно все время находились на арене, среди экспертов и атлетов.

¹ Королева, с третьего дня праздника, по болезни, в публике не показывалась.

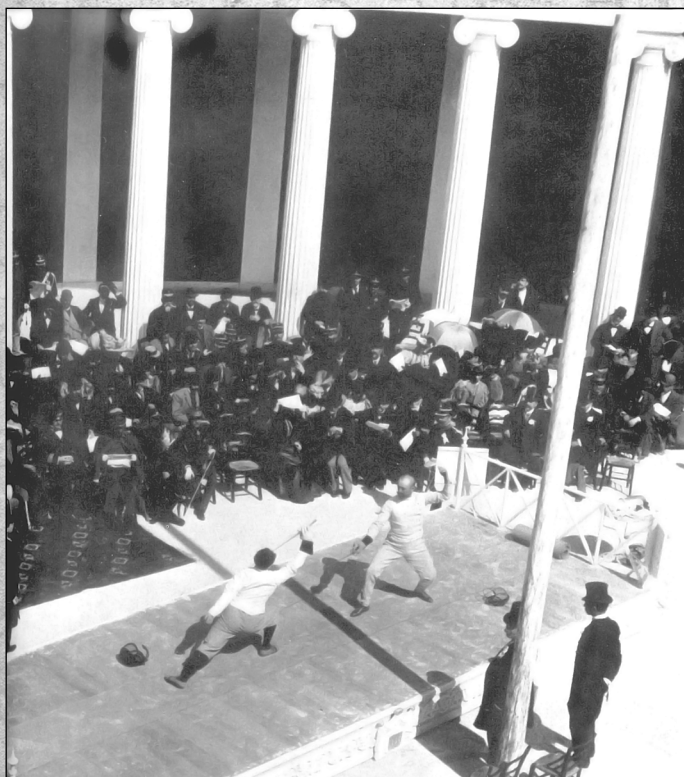
Принц Николай, третий сын короля, самостоятельно заведовал состязаниями в стрельбе. Приветливое и открытое обращение этих трех великолепных принцев со всеми, кто имел к ним какое-либо отношение, прекрасное знание ими иностранных языков, позволявшее им говорить почти с каждым на его родном наречии, все это с первого же дня привлекло к ним всеобщее расположение.

Я думаю, что верно передам общее впечатление всех бывших на Играх, если скажу, что благодаря именно душевному интересу королевского семейства ко всему этому торжеству это последнее, во-первых, получило неожиданный для него блеск, во-вторых, все время носило на себе характер известного единодушия, характер общего дела всего собравшегося народа, дела, успеху которого каждый, и зритель, и участник, и распорядитель, без различия национальностей и общественно-го положения, готов был содействовать, насколько это от него зависит. Все симпатии были обращены к центру, и все умиротворялось тем благодушием и тактом, которые из него исходили. Прекрасно держали себя также и представители афинского общества. Они сделали все возможное, чтобы пребывание в Греции оставило добрые воспоминания у иностранцев. Это было поставлено как бы в патриотический долг и много способствовало тому впечатлению полного удовлетворения, какое действительно вынесли иностранцы из этого первого празднования Олимпийских игр.

Следует указать также и на то, что иностранцам с первого же дня бросилась в глаза известность рода порядочность афинской толпы. Стадион не каждый день бывал в такой же степени переполнен народом, как в день Игр. Но вообще народу было всегда много, так много, что приходилось удивляться неустанному его интересу к состязаниям. В день же марафонского бега стечение народа так же велико, как и в день открытия, и многим тысячам любопытных пришлось смотреть сверху, с гор, за полным отсутствием мест в амфитеатре. Множество народа толпилось по соседству, на берегах Иллисса и в скверах Цаппиона. Но замечательно, что при всем этом многолюдстве ни при входе в стадион, ни при выходе из него — никакой давки, никакого замешательства. Отчасти это можно приписать отлично организованному надзору за порядком: 40 офицеров



Выставочная галерея, где проходили соревнования по греко-римской борьбе и фехтованию – Цаппион



Соревнования фехтовальщиков проводились в присутствии членов королевской семьи



Команда легкоатлетов из Принстонского университета (США): Фрэнсис Лейн (бег 100 м), Альберт Тайлер (прыжок с шестом), Роберт Гэррет (прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, метание диска), Херберт Джеймисон (бег 400 м)



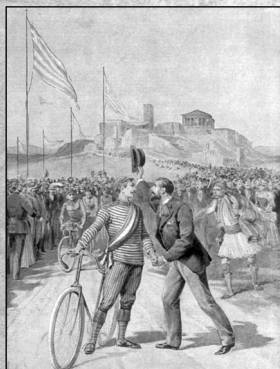
Первый день Игр I Олимпиады. Первый вид соревнований: старт забега на 100 м



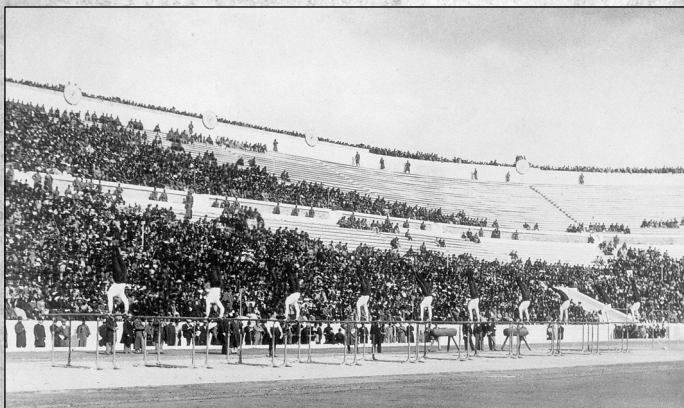
Велодром в Нео Фалеро



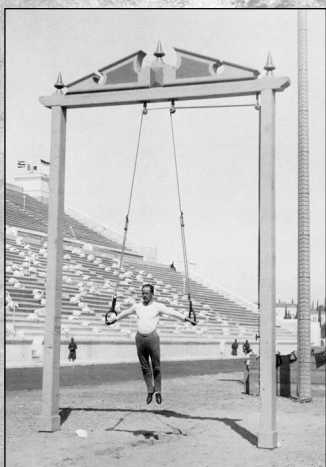
Старт 100-километровой велосипедной гонки



Француз Поль Мессон –
трехкратный олимпийский чемпион
в велосипедном спорте
(с лентой через плечо)



Групповое упражнение на параллельных брусьях команды гимнастов Германии – победителей Олимпиады



Упражнения на кольцах выполняет греческий гимнаст Иоаннис Митропулос – победитель Игр I Олимпиады



Упражнения на брусьях

из наиболее образованных и владеющих иностранными языками и 200 нижних чинов под командой почтенного полковника Метакса, директора афинской военной школы, составляли полицию стадиона и других мест зрелищ. Офицеры распоряжались прекрасно, но многое надо отнести к характеру самого населения.

Результат каждого состязания возвещался народу флагом той национальности, к которой принадлежал победитель. Флаг этот поднимался на высокую мачту у входного конца стадиона, и появление его, каких бы он ни был цветов, всегда вызывало сенсацию во всей массе зрителей. Южный темперамент, конечно, сказывался тут теми быстрыми взрывами оживления, какими сопровождалась различные перипетии состязаний. Успех соотечественника, грека, приводит эту массу в восторг, выражающийся жестикуляцией, громкими возгласами (греки вообще крикливы); неудача отражается на ней видимым упадком настроения; то там, то здесь слышатся возгласы обманутого ожидания; но и за состязующимися других национальностей она следила также с большим интересом. Всякий успех приветствуется ею очень радушно. Вообще, несмотря на живость и демонстративность в выражении чувств, эта греческая масса, по общему замечанию, имеет редкую способность держать себя в границах и веселиться миролюбиво. Так же точно и по вечерам на улицах во время иллюминаций и факельных шествий в густой толпе нет ни одного пьяного. Веселье самое добродушное. Гуляющие не рискуют натолкнуться ни на какую неприятность. Полиции не заметно, да ей тут нечего и делать.

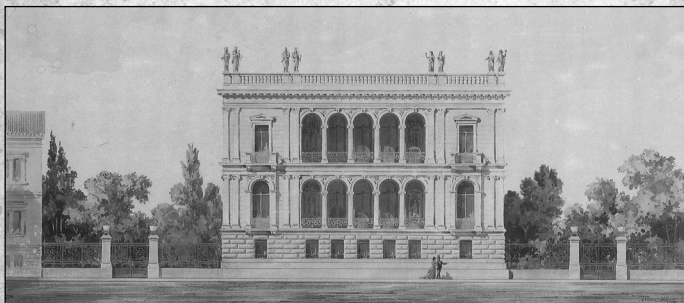
Зрители других национальностей тоже громко выражали иногда симпатии своим соотечественникам и с шумной радостью приветствовали свой флаг. Было тут и немецкое hoch, и английское hurra, и vive la France... Особенно обращало на себя внимание оригинальное приветствие американцев. Вначале эти ритмические вскрикивания резали ухо и вызывали веселый смех, но полное равнодушие американцев к возбуждаемому ими волнению скоро помирило толпу с этими странными звуками.

До меня доходили слухи, будто бы в наших газетах говорилось о тотализаторах на Олимпийских играх. Странно, что такие известия могли распространиться тут, у нас, тогда как

там, на самом месте, ни о каких тотализаторах не было даже и речи, да они были и немислимы при том редком в наше время настроении истинной порядочности, каким отличались афинские празднества.

IV

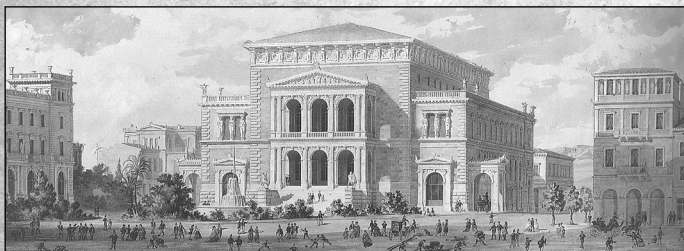
Теперь следует поговорить о главных деятелях торжества, об атлетах. Кто бывал в этом обществе, тот знает, что оно отличается вообще весьма характерными и симпатичными чертами. Прежде всего, это молодежь. Она собралась сюда отовсюду, чтобы всенародно и добровольно проявить такие акты нравственной и физической энергии, какие в практической жизни, даже человеку обреченному на физический труд, приходится проявлять разве случайно, в самые критические минуты жизни. Она прибыла готовая к этому, тренированная. Вот почему обыкновенно это народ бодрый, закаленный, с тем оттенком уверенности в своих силах, который дает возможность спокойно и жизнерадостно смотреть на мелочные и прозаические явления повседневной жизни. Все они всецело поглощены интересами предстоящего состязания, а потому это народ деловитый, не расточающий запаса своих сил на какие-нибудь шумные и беспорядочные развлечения и удовольствия. Многие ради тренировки ведут строго размеренный и скромный образ жизни. Вообще это люди спокойные и в общественных своих отношениях очень уживчивые. Наконец, что, может быть, важнее всего, это не профессиональные атлеты, а любители. Атлетизм для них не ремесло, а любимое дело, которому они посвящают свои досуги. Они не только не смотрят на него как на занятие, дающее какую-нибудь материальную выгоду, но, напротив, сами приносят ради него материальные жертвы, обставяя его известными требованиями удобства и изящества в костюме, в снарядах, в обстановке своих клубов и обществ, и наконец, расходуясь на отдаленные путешествия. Аматеризм, как называют это англичане, в отличие от профессиональных занятий упражнениями, стоял капитальным условием для допущения к участию в Олимпийских играх. Поэтому в огром-



Дворец легендарной Трои – дом немецкого археолога –
исследователя античной культуры – Генрика Шлимана (1822–1890)



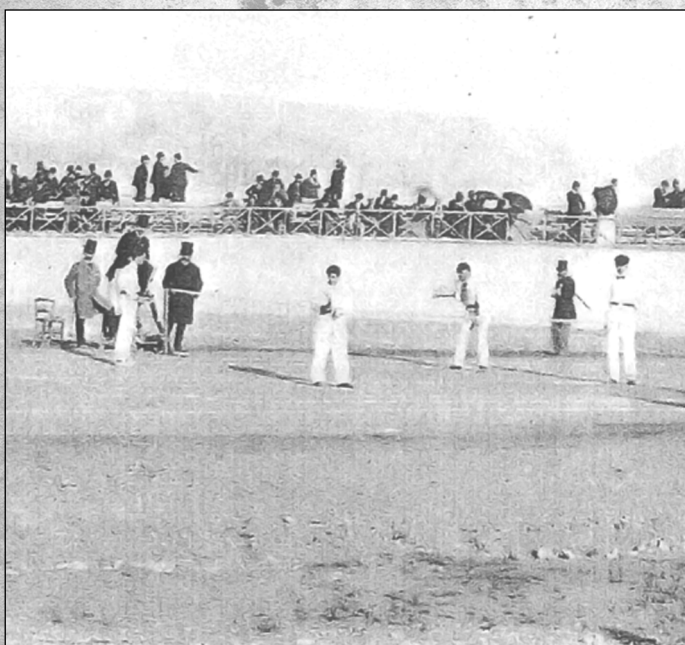
Дворец музыки (Афины, 1896 г.)



Городской театр (Афины, 1896 г.)



Состязания в плавании в порту Зеа



Лаун-теннис

ном большинстве — это люди хорошего общества, хорошего воспитания и образования.

Есть у них также и национальные черты, и известные особенности, налагаемые самим видом практикуемого спорта. Лучше всего это можно было наблюдать в Афинах, при небывалом еще в наше время разнообразии национальностей прибывших атлетов и спорта. Особенно заметно выделялись тут американцы, немцы и греки. Американцы, по большей части, — члены спортивных ассоциаций североамериканских университетов, следовательно, люди высшего образования, имеющие в перспективе и умственную деятельность, и выдающееся общественное положение. Но в настоящее время — это спортсмены в самом полном значении этого слова. Держат себя с достоинством, как джентльмены. На арене всегда безукоризненны в костюме, с отличительными знаками и шифрами своих ассоциаций, как на регламентарном трико, так и на верхнем плаще, в который они завертывают себя во время антрактов. Единственный признаваемый ими на арене авторитет — это жюри. Публика их не волнует и не стесняет. Между двумя упражнениями они без стеснения ложатся отдыхать на песке арены. Отзывчивы на приятельское обращение и в ответ на доброе слово не прочь похлопать по плечу самое высокопоставленное лицо. Виды спорта, в которых они по преимуществу тренированы, — это бег, прыжки, метание и кидание тяжестей. Во всех упражнениях они дали победителей. Вообще это молодежь, хорошо сложенная, видная, сухощавая. Едва ли старший из них перешел за 25-летний возраст.

Совсем иное впечатление производят германские атлеты, в особенности же члены той *equipe allemande*, которая в день гимнастики проделывала общие индивидуальные упражнения на немецких снарядах. Это народ коренастый, не рослый, совсем не гибкий, широкоплечий, может быть даже сутуловатый. Тоже молодые люди, но есть между ними и такие, которые перешли уже за 30-летний возраст, по крайней мере, если судить по наружности. Атлетическая школа их не в аматерском тренировании к тому или другому роду естественнейшего для человека упражнения, а в регулярном посещении *Turnhalle*, с его *Reck* и *Barren*, с *Hang-* и *Stemmubungen*, с *Reigen*, с песнями и с картинными атлетическими группами. Костюм их изяществом

не отличается; незатейливое одноцветное трико с рукавами во всю руку и обыкновенные панталоны. Если немец вообще человек коммерша, ферейна и патриотической исключительности, то немецкий турнер обладает этими качествами в высшей степени. Turnen для немца — дело народной гордости.

Вышли они на свои общие упражнения строем, бодрым немецким маршем, в пунктуальном порядке, и шли, как будто священнодействовали. Упражнения под общей командой фортурнера Гофмана — очень замысловатые и в окончательном результате бьющие на общий картинный эффект. Очевидно, они давали зрителям Vorstellung, к которому так наклонны немцы в своих турнферейнах и даже в школе. Ужасно много цепкости: руки, как клещи, лица краснеют от напряжения, но, вместе с тем, чрезвычайная точность, согласие и добросовестность. Все это производит большую сенсацию в немецком элементе зрителей (а таковой есть в Афинах и в высших сферах и отчасти в обществе); говорят даже, германскому императору была послана по этому случаю телеграмма.

Упражнения турнерского характера, без сомнения, впервые еще продельваются при обстановке древнегреческих игр. Warren, Reck и пр. впервые еще фигурируют на грандиозной арене стадиона и, пожалуй, что они больше на своем месте в Turnhalle, и именно в немецком Turnhalle, чем здесь. Букет турнерских упражнений здесь не требуется. Состязание принимает слишком серьезную форму, и вовсе нет места для той интимности ферейнов, с их сигарами и пивом, с их патриархальными турнвартами и лихими фортурнерами, которая так содействовала развитию этих упражнений. Но хорошо, что они здесь появились. Это, во всяком случае, шаг к согласованию и к объединению различных направлений в физическом образовании молодого поколения.

Некоторые немцы-турнеры участвовали и в других состязаниях: бег, прыжки, метание диска, кидание тяжестей. Один из них остался даже победителем в борьбе. Трудно судить, насколько Warren и Reck способствовали искусству этого последнего в единоборстве. Вероятно, способствовали, что касается собственно сильного обхвата руками (seinture). Но далеко не всякий турнер будет непременно ловок в беге, свободном прыжке или борьбе. Для этого нужна специальная



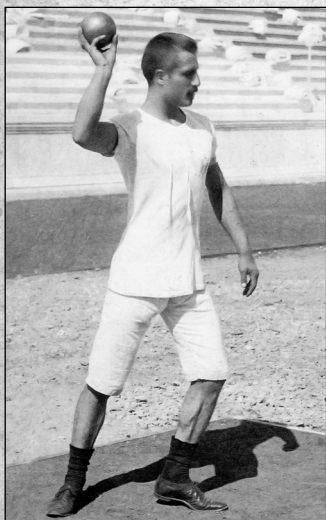
Джеймс Конноли (США) –
первый олимпийский чемпион
в тройном прыжке



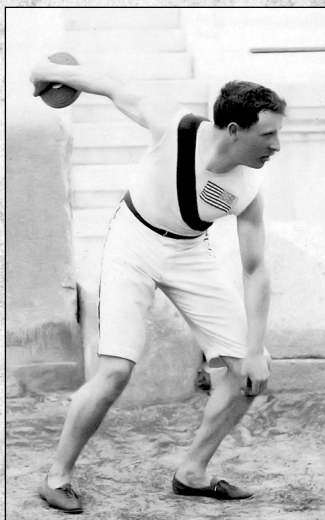
Эллери Кларк (США) –
первый олимпийский чемпион
в прыжках в длину



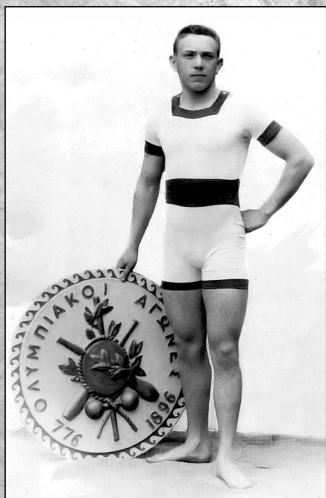
Победитель Игр I Олимпиады в опорном прыжке немецкий гимнаст Карл Шуман



Серебряный призёр Игр I Олимпиады в толкании ядра Милтиадис Гоускос



Американский легкоатлет Роберт Гэррет – чемпион в метании диска



Венгерский пловец Альфред Хайош – победитель в плавании на дистанциях 100 и 1200 м вольным стилем



Герой Игр I Олимпиады греческий атлет Спиридон Луис

и прилежная тренировка. Удивительная тренировка Шумана, победителя в борьбе, возбудила даже сомнение, не профессиональный ли он боец. По справкам оказалось однако же, что он любитель.

Что касается греческих атлетов, то прежде всего следует обратить внимание на то обстоятельство, что всего лишь два года тому назад в Греции почти не знали ни спорта, ни гимнастики и что весь этот подъем в пользу телесных упражнений совершился, как говорят, именно в ожидании Олимпийских игр. Если это так, то согласие греческого правительства на устройство первых Олимпийских игр в Афинах сослужило для Греции хорошую службу. Греческие атлеты численностью своей, как уже сказано, превосходили всех остальных вместе взятых. Они принимали участие, в большем или меньшем числе, решительно во всех упражнениях. Даже в общих турнирных упражнениях одни только они вышли рядом с немцами, причем представили не одну *equipe*, а целых две. С самого начала Игр они стали обращать на себя внимание хорошей тренировкой и правильными, красивыми положениями во время упражнений. Относительно тренировки оно и не мудрено: они были в лучших условиях. Что же касается известной дилетантской свободы исполнения, то, может быть, это наследственность (греки очень хотят, чтобы за ними она была признана), но вернее, что это новая нарождающаяся школа и отсутствие рутины. В первые дни состязаний (бег на обыкновенные спортивные дистанции, различные роды прыжка, работа с тяжестями и пр.) они оставались, однако же, за флагом. Их побеждали по преимуществу американцы. Между иностранцами стали даже высказываться сожаления, что греки, хозяева, ничего не выигрывают. Стали с интересом ждать того случая, когда, наконец, они покажут себя. Первые взятые греками призы, кроме стрельбы и фехтования, состязаний, производившихся при скромных условиях, были призы за некоторые индивидуальные гимнастические упражнения (кольца, гладкий канат). Надо было видеть, как это оживило народ. Они выказали себя также сильными атлетами и в общих турнирных упражнениях. Хотя немцы и взяли приз, но многие находили, что греческие *equipes* делали свои упражнения если не с такой серьезной добросовестностью, то, во всяком случае, свободнее и грациоз-

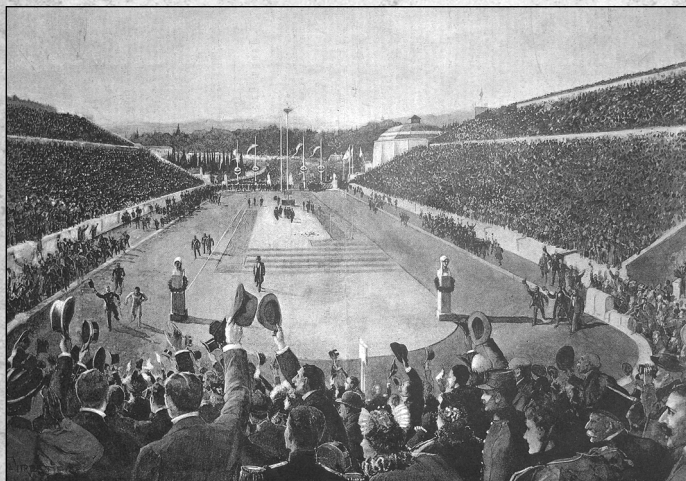
нее. Но настоящее, единственное в своем роде торжество греков — была победа в марафонском беге, о котором мы скажем сейчас подробнее.

Атлеты других национальностей — французы, австро-венгры и пр. — имели тоже свои моменты торжества на Играх. Я не описываю этих моментов, так как это завело бы нас слишком далеко. Не могу, однако же, не отметить французской черты в спортивных состязаниях. Велосипедная гонка на сто километров в велодроме. Пробежали уже более 50 километров. За выбытием всех других конкурентов, на арене остаются только француз Фламань (Flameng) и грек Коллетис, юноша, не достигший еще 18-летнего возраста. В самом разгаре состязания в велосипеде Коллетиса замечается какая-то неисправность. Фламань останавливается, изысканно приподнимает свою шапочку и с возгласом: *vive la Grece* дает время противнику привести в порядок свой инструмент. Понятно, гром рукоплесканий и взрыв одобрительных возгласов. По окончании гонки, в которой Фламань побеждает своего юного противника, публика торжественно выносит их обоих на руках из велодрома.



Перебег из Марафона в Афины, тот перебег, который совершил когда-то молодой греческий гонец с известием о победе Мильтиада над персами, считался, по справедливости, самым капитальным номером программы Олимпийских игр. Расстояние между Марафоном и Афинами — 42 километра (то есть около 40 верст); дорога неровная и иногда неудобная, и пробежать такой путь вразмахи, действительно, огромный, невероятный подвиг. За несколько дней уже гадали, кто то будет победителем в этом беге. В программе под рубрикой марафонского бега стоит 18 имен. Из них 13 греков, один француз, один американец, один англичанин (из Виктории), один венгерец и один немец (берлинский спортсмен).

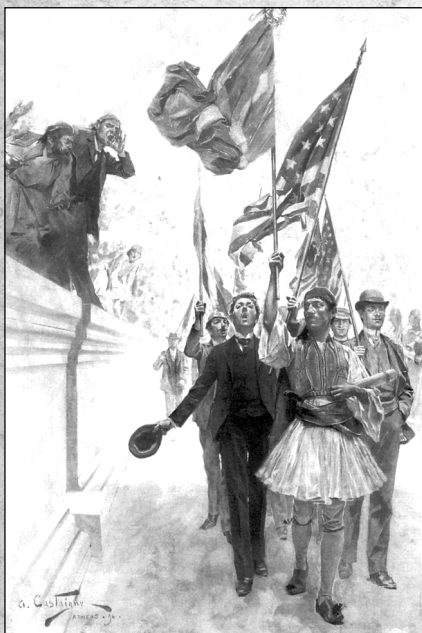
Здесь следует сказать, что именно для этого состязания из числа греков записались не одни только члены спортивных ассоциаций, но и лица, по-видимому, вовсе не принадлежащие



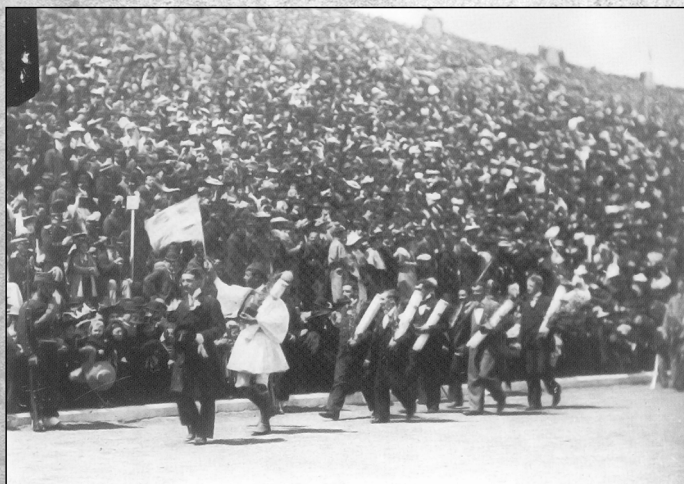
Марафонскую дистанцию завершает Спиридон Луис (результат 2:58.50.0).
Свидетелями этой триумфальной победы были члены МОК
А. Д. Бутовский и В. Бальк



Победители Игр I Олимпиады



Парад победителей
на церемонии закрытия
Игр I Олимпиады



Спиридон Луис на параде

формальным образом к спорту, а решившиеся на этот исключительный подвиг, движимые уверенностью в своих силах. Конечно, они предварительно не раз испытывали себя на этой пробежке. Бегуны других национальностей были все спортсмены; некоторые из них состязались уже в стадионе на малые дистанции. Конечный пункт марафонского бега был назначен в стадионе, перед трибуной королевского семейства.

В день марафонского бега в стадионе шли и другие состязания, но весь интерес был поглощен предстоящим результатом бега. Все другое отошло на второй план. На бег и прыжки смотрели одобрительно, но, видимо, занимались главным образом не ими. Было даже обидно за прелестных американцев, бесподобно прыгавших с шестом. Какое-нибудь случайное движение у входа в стадион — и вся толпа мгновенно обращает туда взоры. Иные в нетерпении встают, и их надо просить садиться. Ясно, что вся эта несметная толпа народа душой находится на пути из Марафона в Афины и мысленно переживает все случайности и крайности этого гигантского состязания. Но вот на арене появляется запыхавшийся и запыленный офицер. Он только что с коня; он оставил бегунов в 7-ми верстах от Афин. О решительном результате еще ничего нельзя сказать. Идет борьба между французом и греком. Весть эта мгновенно облетает всю толпу. Состязание в прыжках продолжается, и состязание достойное внимания, но им уже совсем никто не интересуется; то и дело поднимаются смотреть, не видно ли бегущих. Через несколько минут пушечный выстрел — и новый конный гонец; бегуны уже у городской черты и... впереди грек! Все встают со своих мест как один человек, несколько восторженных возгласов, все напряженно вглядываются, как будто можно уже что-нибудь видеть, и затем полное безмолвие самого напряженного ожидания. Наконец, сверху увидели, где-то еще вдали: грек! грек! Неудержимые крики восторга волной расплываются по всему амфитеатру и в окрестностях; маханье шапками, зонтиками, флагами, платками, все это растет *crescendo* и вдруг, точно что-нибудь прорвалось, точно были закрыты какие-то двери, за которыми слышался только гул, а тут внезапно их открыли настезь... По арене бежит небыстрым бегом сухощавый человек — причина этого невероятного восторга. Он, очевидно, ничего не

слышит; для него есть один только предмет в мире — это конец его бега. От усталости или от пыли смуглое лицо его кажется совсем черным. Король со своей трибуны приветливо махает ему шапкой; но, по-видимому, он и сам взволнован: шапка выпадает у него из рук. Едва этот черномазый человек в запыленном белом трико с голубыми разводами (греческие цвета) приблизился к центру головного закругления, два принца, Константин и Георг, заключили его в свои объятия, расцеловали и подвели к королю. Потом потянулись к нему сотни объятий королевской свиты и других, но мигом откуда то появляется пальто, в которое его тотчас же закутывают сами принцы и ведут в вестибюль. Обратившись с восторгом к одному из греческих офицеров, спрашивая об имени этого человека, мы видим, что по лицу его текут слезы. И плакал не один только этот офицер. Потрясение было всеобщее. Многие сосредоточенно утирали свои лица платками. “C'est un spectacle que la vie moderne n'a pas encore vu” говорит мне взволнованным голосом мой уважаемый друг майор Виктор Балк, профессор гимнастического института в Стокгольме...

Этот человек — Луис, крестьянин, наемный работник на винограднике в деревне Амарусси, близ Афин. Но отныне он — народный герой. Он доставил своей стране первенство на Олимпийских играх, первенство, справедливость и необходимость которого признавалась всеми иностранцами, хотя бы уже потому, что Греция была первой страной, давшей у себя место возобновленным Олимпийским играм. Ему в настоящее время 24 года; он отбыл уже воинскую повинность.

Он сделал эти 40 верст марафонского бега в 2 часа 58 мин. 50 сек. Невероятная скорость. Но надо сказать, что и другие, одолевшие этот перебег (1 венгерец и 7 греков) собрались на арене не позже как через час после первого прибывшего. Между ними был один врач, грек Лагудаки, практикующий в Париже.

После всех этих волнений наступила реакция. Все были довольны, но на этот раз уже пресыщены. Началось состязание в борьбе, но за ним следили вяло. Послышались сначала робкие, а потом и более настойчивые голоса: аврионъ! аврионъ! (завтра!) Время склонялось к вечеру, и борьба была отложена на следующий день.

Относительно различных обстоятельств, сопровождавших марафонское состязание в беге, рассказывали следующее. Большую часть пути впереди других бежал француз Лермюзио, очень сильный бегун. Казалось, он обладал большим еще запасом сил, но когда увидел, что Луис решительно его обгоняет, то это так на него подействовало, что он почувствовал себя дурно, обессилил и совсем отказался от продолжения бега. На 23-м километре упал американец; потом стали изнемогать также и другие. Их подбирали расставленные по пути амбулаторные экипажи с врачами и фельдшерами.

Везде в придорожных деревнях народ высыпал на шоссе с напитками для бегущих. Один священник, видя, что впереди бежит иностранец, бросился было на Лермюзио; только силой удержали его от безумной вспышки. Заметили деревенскую женщину, которая, в виду бегущих, кинулась на колени и с воздетыми руками молила Богородицу, чтобы Она даровала победу грекам.

О Луисе говорили, что, готовясь к состязанию, он говел с соблюдением самого строгого поста, накануне причастился и, уходя, сказал своему отцу, что его увидят или победителем или мертвым. В публике ходили разговоры, за несколько дней еще до состязания, что на случай, если победителем окажется грек, между греческими торговцами состоялось соглашение кормить его, одевать и брить безвозмездно в течение года. Общество афинских негоциантов решило купить Луису поле близ его родной деревни Амарусси, а жители этой деревни хотят воздвигнуть колонну в память его победы. В самом стадионе одна гречанка из Смирны подарила ему бывшие на ней золотые часы с цепочкой. Потом на другой день к этому прибавляли, что одна американка предложила ему свою руку и свое состояние и пр.

В течение всех следующих дней он был предметом внимания и попечения патриотически настроенных афинских жителей. Его одевали в греческий национальный костюм (фустанелла), катали, возили в театр, устраивали ему обеды, завтраки. И надо отдать ему справедливость, это нисколько (по крайней мере, в следующие дни Игр) не выбило его из колеи. Нигде и ничем он не старался выделиться. Не знаящим его в лицо его надо было показывать и, не будь он в фустанелле, многие не признали бы в нем марафонского победителя.

VI

Для полной характеристики современного атлета-любителя его недостаточно видеть только на арене; надо познакомиться с ним в обществе. В Афинах было для этого много случаев, так как, по почину самого короля, эта молодежь была приглашаема нарасхват. Самыми выдающимися собраниями были: завтрак во дворце для всех участников в состязаниях; бал у г-жи Шлиман, вдовы известного археолога, и прощальный вечер в день раздачи призов в Hotel de la grande Bretangne. Трудно передать то впечатление, какое испытываешь среди этой оригинальной и очень симпатичной молодежи. Я сказал уже, что в большинстве случаев это люди, привыкшие к обществу. В этой среде даже более скромные по общественному положению, как Луис (который в таких случаях всегда был в национальном костюме), чувствуют себя как бы среди своих людей и не ощущают никакой неловкости. Потом, еще раз повторяю, ничто так не сближает людей, как известные физические упражнения. В этом отношении международные игры — воспитательное учреждение. Тут сглаживаются все племенные, национальные и партийные различия, тут все обращаются друг к другу с открытой и благорасположенной душой.

Останавливаюсь на завтраке во дворце, потому что здесь словами самого короля было выражено то настроение, в котором находились тогда все участники в афинских празднествах. “Позвольте мне, господа, — сказал он по-французски, — высказать вам все то удовольствие, какое все мы испытали, видя вас в Греции участниками в Олимпийских играх. По тому приему, какой сделало вам население, вы сами могли убедиться, как рад был эллинский народ, принимая вас как своих гостей. Пользуюсь также этим случаем, чтобы выразить победителям мои самые горячие поздравления.

Через несколько дней вы нас оставите и возвратитесь каждый в свое отечество. Я не прощаюсь с вами, я говорю вам: “До свидания, еще раз, здесь” (Громкие возгласы “Да здравствует король!”).

Сохраните, прошу вас, доброе о нас воспоминание и не забывайте того энтузиазма и волнения, какие все мы испытали в день прибытия в стадий марафонского победителя. Королева,

к несчастью, больна; она сожалеет, что не могла быть сегодня, и поручает мне высказывать всем ее приветствия. Пью за ваше здоровье, еще раз принося вам мою искреннюю благодарность”.

Через несколько минут король снова встал и на этот раз произнес слово на греческом языке. Он засвидетельствовал блестящий успех Игр, благодарил королевича за его труды в комитете Игр, принцев Георга и Николая за их содействие успеху этого предприятия; тепло поблагодарил секретаря комитета Филимона и всех греческих и иностранных атлетов, возвысивших блеск Игр своим присутствием. В заключение он развил ту мысль, которую вкратце и так изящно высказал раньше по-французски: “Мать и кормилица гимнастических игр в древности, Греция, предприняв празднование их в наше время перед глазами Европы и Нового Света, имеет право надеяться теперь, когда успех превзошел все ожидания, что иностранцы, почтившие ее своим присутствием, укажут на нашу страну как на место мирного соединения народов, как на твердое и постоянное место празднования Олимпийских игр”.

Потом, ко всеобщему восторгу, он нашел еще приветственное слово для атлетов почти каждой национальности на их родном языке. После завтрака король и принцы провели около полутора часа с молодежью, положительно очарованной таким приемом.

Но особенно интересны были атлеты на блестящем балу у г-жи Шлиман.

Видеть этих молодых людей, которые за несколько часов перед тем на арене всенародно проявляли чудеса энергии, ловкости и силы, которые почти что перед самим отправлением на бал в своих спортсменских костюмах железными руками охватывали друг друга в борьбе и до ссадин катались в обоюдном сопротивлении по крупному гравию арены, видеть их теперь в роскошных покоях, где совмещено все, что только могла дать древняя и новая культура для удобства и изящества жизни, видеть их развязными светскими молодыми людьми, изысканно одетыми по-бальному, ловко танцующими и любезными в самом избранном и утонченном женском обществе, это такое новое, такое неожиданное впечатление, которое надолго не изглаживается из памяти. Невольно приходит на мысль, что, может быть, здесь-то именно, в этих чуждых нашему времени, но когда-то обычных и поэтических переходах от актов высокой

энергии к умиротворяющим и облагораживающим явлениям культурной общественной жизни, и лежит разгадка той полноты жизненного содержания, к которой так страшно стремится современный человек и которой не находит, что в этих условиях более, чем где-нибудь, надо искать залога того духовного и физического равновесия, которого так должны желать в наше время родители своим детям. Я убежден, что высказываю здесь не одни только свои личные впечатления и мысли; так думали и чувствовали все бывшие в то время в Афинах.

Собрание в Hôtel de la Grande Bretagne было прощальное и очень сердечное. Сколько горячих пожатий таких рук, которые при других условиях даже не протянулись бы друг к другу, сколько обещаний встретиться на будущих Играх, сколько искренних, из души вылившихся тостов!

И вот, русский элемент отсутствовал на этих международных празднествах. Приехавший из России г. Ф. Р., рекомендовавший себя страстным спортсменом и записавшийся, было, даже на борьбу, в решительный момент, по причинам мне совершенно неизвестным, не вышел на арену. Лучше было бы, конечно, если б он и не записывался, так как этим он только лишний раз обратил всеобщее внимание на отсутствие русских. Был тут и еще один молодой человек из России; он был избран даже в состав жюри по велосипедному спорту. Но по происхождению своему он не русский, а грек из Одессы. Фамилия этого симпатичного знатока велосипедной езды — Маврокордато. Других приезжих соотечественников, привлеченных сюда собственно интересом к Играм, за все время пребывания моего в Афинах я не встречал.

❧ VII ❧

Закрытие Игр состоялось в стадионе, в среду 3 апреля, с такой же торжественностью, как и открытие. У королевской трибуны на двух столах были приготовлены призы для победителей. Вокруг трибуны — атлеты, члены обоих комитетов и все, имевшие какое-либо участие в организации Игр. На ступенях амфитеатра — народ, в таком же множестве, как и в самые интересные дни состязаний. Торжество открывается одой на древ-

негреческом языке, сочиненной для этого случая и произнесенной самим автором г. Робертсоном, англичанином, живущим в Афинах в качестве педагога (г. Робертсон жил когда-то в Москве и недурно говорит по-русски). Имена победителей выкликаются громким голосом офицером, исполняющим роль герольда. Призы раздает им сам король: диплом, серебряная медаль и масличная ветвь из священной когда-то олимпийской рощи. Дипломы и медали, по идее и исполнению, представляют собой настоящие художественные произведения. Некоторым из победителей были выданы тут же ценные предметы, поднесенные обществами их соотечественников и отдельными лицами. В числе этих предметов заслуживает упоминания серебряный кубок, присланный из Парижа членом института Мишелем Бреалем, одним из самых ревностных распространителей идеи об Олимпийских играх, марафонскому победителю в беге. «Я не знаю, — писал Мишель Бреаль г. Бикела¹, греческому члену международного комитета, — к какой нации принадлежит победитель. Но, какова бы ни была его национальность, приветствую в нем представителя эллинской традиции». Имевшие первенство в нескольких родах состязаний получили приз за каждый род состязаний отдельно. Каждый провозглашаемый радушно приветствуется толпой. При произнесении его имени музыка играет туш. После раздачи призов опять речи, между которыми особенно тепло была произнесена немецкая речь, обращенная к наследному принцу членом международного комитета от Германии доктором Гебгардтом². «Вашему высочеству известно, — сказал он между прочим, — о разладе, произошедшем у нас по вопросу об участии Германии в Олимпийских играх. Нам трудно было бороться, но нас поддерживало убеждение, что мы боремся за идею истинного и прекрасного. Может быть, нам предстоит еще борьба и по возвращении, но, под впечатлением этих идей, мы поведем ее с большим энтузиазмом за идею единства Олимпийских игр. Мы никому не уступим радости этих прекрасных дней. Рассказывая то, что мы видели, мы надеемся всех привлечь к вашим идеям и обеспечить более значительное число немецких ат-

¹ Фамилия первого президента МОК по Бутовскому — Димитрий Бикела; в современных литературных источниках — Димитриос Викалос.

² Так у Бутовского — В. Гебгардт; в современных олимпийских справочниках — Гебхардт.

летов на торжествах второй Олимпиады. Мы скажем в Германии много хорошего о греках. Дай Бог, чтобы греки тоже сохранили дружеские чувства к немцам”. При этом доктор Гебгардт поднес наследному принцу венок с греческими и немецкими цветами.

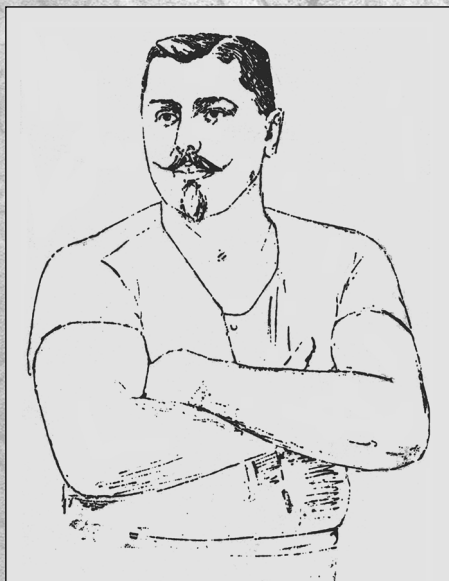
После речей состоялось торжественное шествие победителей вокруг арены, как бы последнее представление их народу, который в течение полуторы недели следил за их состязаниями и которому они решительно стали близкими людьми без различия национальностей.

В заключение король обнял наследника, поздравил его с блестящим результатом его трудов и, когда все успокоилось, торжественно провозгласил “заккрытие первой Олимпиады”.

Всех призов было роздано 44. Получили их 34 атлета (16 % всего числа участников). По национальностям и по родам состязаний призы распределяются таким образом: американцы — 8 человек (36 % всего числа американских атлетов), 11 призов (бег, прыжки, метание диска, кидание тяжестей, стрельба); греки, 10 человек (9 %), 10 призов (марафонский бег, упражнения на гимнастических кольцах, лазанье по гладкому канату, плавание, стрельба, фехтование, марафонское состязание на велосипедах); немцы — 5 человек (23 %), 7 призов (фуртурнер общих гимнастических упражнений, упражнения на параллельных брусьях, на горизонтальной перекладине, на деревянной лошади, борьба, лаун-теннис); французы — 3 человека (20 %), 5 призов (фехтование, велосипедные состязания); англичане — 3 человека (23 %), 5 призов (бег, поднимание тяжестей, лаун-теннис); венгерец 1 человек, 2 приза (плавание); австрийцы — 2 человека, 2 приза (плавание, велосипедные состязания); датчанин 1 человек, 1 приз (поднимание тяжестей обеими руками); швейцарец 1 человек, 1 приз (прыжок на деревянной лошади с седельными луками).

Несмотря на случайность, которой неминуемо обуславливается всякое состязание, несмотря также на неравномерное число участников различных национальностей, полученные призы все-таки свидетельствуют до известной степени о тех родах упражнений, которые с особенным успехом практикуются в той или другой стране, тем или другим народом. Так, нельзя не обратить внимания, что атлеты англосаксонской расы (американцы, англичане, австралиец) получили призы главным

Король Греции
Георг I
(1845–1913)



Киевлянин Николай
Риттер – участник
предварительных
соревнований
по стрельбе и борьбе
на Играх I Олимпиады
(1896 г.),
работавший в качестве
корреспондента газеты
"Киевлянин"



Иллюстрированный
каталог
Греции времен
проведения
Олимпийских игр,
1896 г.



Сертификат участника Первых Международных Олимпийских игр 1896 г.
Автор разработки Николаос Гизис

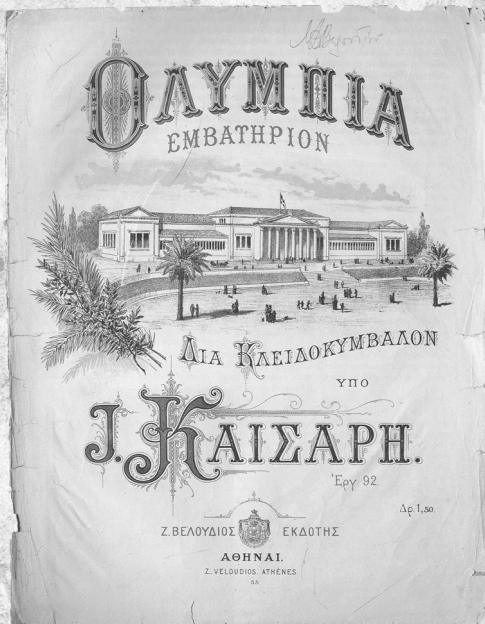


Коллекция марок, выпущенная в честь Первых Международных Олимпийских игр (1896 г.)



- а) Серебряная медаль, которой награждались чемпионы Игр Олимпиады (1896 г.). На лицевой стороне медали изображение Зевса, держащего в руке статую богини победы Ники с оливковой ветвью в руках; на оборотной стороне – изображение Акрополя;
- б) Памятная позолоченная бронзовая медаль (лицевая и оборотная стороны), которой награждались лица, способствующие организации и проведению Олимпийских игр 1896 г.

Олимпийский
марш.
Обложка
к партитуре
олимпийского
марша,
написанного
И. Кайсарисом для
Олимпийских игр



Οлимпийский гимн: музыка Спироса Самараса, слова Костиса Паламаса

образом за основные упражнения атлетического спорта: бег, разнообразные прыжки, метание, работа с тяжестями; немцы отличились в турнерских упражнениях и в борьбе; французы выказали себя сильными в фехтовании и на велосипеде; австрийцы и венгерцы — в плавании. Одни только греки дали победителей почти во всех видах атлетического спорта, без сомнения, потому, что они новички и не успели еще специализироваться. Они одинаково охотно практикуют и турнен, и атлетический спорт, и фехтование, и велосипед, и плавание, и стрельбу. Потом, их было несоразмерно много и, как уже было сказано, они имели возможность тренироваться при гораздо более благоприятных условиях, чем иностранцы.

❧ VIII ❧

Идея возобновления Олимпийских игр принадлежит, как известно, французскому барону Пьеру де Кубертену. Он выдвинул эту идею на международном атлетическом конгрессе в Париже летом 1894 г. Конгресс принял ее единодушно, утвердил возобновление Олимпийских игр и, по предложению одного из своих членов, известного греческого писателя Бикела, вошел в сношение с греческим правительством о том, чтобы первые возобновленные Игры праздновались в Греции. Таким образом, весенние афинские празднества были последствием решения международного атлетического конгресса. Представителями этого конгресса на Играх были члены международного комитета Игр. Деятельного участия в ходе афинских торжеств они не принимали. Дело было сделано, Игры состоялись, надо было предоставить полную самостоятельность греческому комитету. Не могу, однако же, умолчать здесь о том, что само пребывание членов международного комитета в Афинах заставляло членов греческого комитета, даже без всяких к тому поводов, очень ревниво относиться к независимости своих действий. Эта преувеличенная мнительность вносила даже в общее настроение некоторый хотя и не резкий, но все-таки нежелательный диссонанс. Барона Кубертена, присутствовавшего в Афинах, как будто забыли, так что на это обратила внимание даже местная пресса.

“Одно обстоятельство удивило нас в этой стране, где нет недостатка в памяти сердца, это то, — говорит Messenger d'Athenes, — что по поводу успеха Олимпийских игр благодарности и поздравления высказывались всем, кроме того, кто был их провозвестником... Воздание должного г. Кубертену, как начинателю дела, нисколько не умалило бы заслуг ни г. Филимона, бывшего правой рукой наследного принца, ни других сотрудников Его Королевского Высочества”.

Тем не менее, международный комитет, в составе семи членов, собирался ежедневно, во-первых, для обсуждения в своей среде, в какой степени совершающиеся Игры отвечают намерениям и предложениям международного конгресса; во-вторых, для определения программы своих будущих действий, в особенности по образованию международного союза атлетических обществ, наконец, для определения тех центров, в которых должны иметь место предстоящие Олимпийские игры. Председательствовал в комитете (как это предначертано было на конгрессе) член от Греции г. Бикела; в день же окончания афинских Игр председательство принял на себя член от той страны, в которой предназначены следующие Игры, т. е. от Франции, барон Пьер де Кубертен.

Подобный отчет комитета об афинских Играх предполагается издать в Париже, вместе с отдельными мнениями и частными отчетами всех его членов. Привожу здесь, с некоторыми сокращениями, протокол решений, принятых комитетом в сессию весенних афинских заседаний:

Международный комитет, исходя из того, что решение, состоявшееся на парижском конгрессе, праздновать Олимпийские игры последовательно во всех столицах мира, есть основание того дела, которое ему поручено, поставил предложить на голосование своих членов для празднования Олимпийских игр 1904 г., согласно поступившим к нему просьбам, *Нью-Йорк, Берлин* или *Стокгольм*. Комитет принимает также во внимание предложение г. Кемени (одного из его членов) относительно устройства в будущем Олимпийских игр в *Будапеште*.

Д-ру Гебгардту поручена редакция общего отчета об Олимпийских играх 1896 г.

Международный комитет отныне будет иметь место своего пребывания в городе, где должны праздноваться будущие



Первый президент Международного
олимпийского комитета
Димитриос Викалас



Инициатор
возрождения
Олимпийских
игр, основатель
современного
олимпийского
движения
Пьер де
Кюбертен



Виктор Бальк



Георгий Дюперрон –
известный теоретик
и практик в области
физического
воспитания и спорта
(по рекомендации
А. Д. Бутовского
член МОК с 1913 г.)

Олимпийские игры. Он будет издавать бюллетень, по возможности, на трех языках: французском, английском и немецком.

Будут считаться выбывшими из состава международного комитета такие его члены, которые не доставили председателю по крайней мере одного отчета в течение года или же, без уважительных причин, отсутствовали или не прислали своих представителей на Олимпийские игры. Комитет пополняется сам собой, замещая тех из своих членов, которые из него выбывают. Он имеет право контроля над общими решениями национальных комитетов, могущими нанести ущерб учреждению Игр.

Каждый член международного комитета старается, со своей стороны, прийти на помощь посредством сбора объявлений и группировки спортивных обществ, издания бюллетеня и документов комитета.

Председатель имеет право созывать международный комитет на заседания, когда он найдет это возможным и желательным.

Афины, 31 марта 1896. Председатель Д. Бикела. Главный секретарь Пьер де Кубертен”.

Оставляю этот протокол без комментариев и помещаю его здесь только как свидетельство, что организация международного центрального правления Олимпийских игр принимает постепенно более законченную форму.

Я не исполнил бы своего долга, если б не посвятил здесь несколько строк нашему уважаемому председателю г. Дмитрию Бикела. Человек очень популярный в своем отечестве, он живет, однако же, постоянно в Париже и приехал в Афины только по случаю Игр. Ему обязана Греция тем, что первые Олимпийские игры состоялись в Афинах. Предложение его было принято сначала неохотно. Тогдашний первый министр Трикупис (умерший в Каннах как раз во время афинских празднеств) был решительно против Игр, и, пока существовало сомнение в благоприятном их исходе, Бикела нередко приходилось выслушивать упреки в том, что он навязал своему отечеству неблагоприятную и рискованную задачу. Но теперь, когда Игры прошли с таким успехом, авторитет и популярность его еще более возвысились.

Человек высокой светской культуры, он был очаровательным председателем и употребил все свои старания, чтобы и Афины, и вся Греция представились наилучшими своими сто-

ронами его сочленам. И он вполне успел в этом. Каждый из нас, вспоминая об афинских днях, наверное, свяжет их с воспоминаниями о симпатичной личности г. Бикела. Никто из нас не забудет также, что главным образом благодаря ему международный комитет как корпорация сразу занял почетное положение среди съехавшихся в Афины гостей, а членам его широко открылись гостеприимные двери афинского общества. Наконец, всякий из нас с удовольствием припомнит и радушный дом г. Бикела в Университетской улице, где происходили наши собрания и где, благодаря именно задушевности хозяина, мы так легко соединились в дружеский кружок.

Рядом с г. Бикела как лицо, сделавшее все от него зависящее для того, чтобы Игры прошли с подобающим им блеском, должен быть поставлен г. Тимолеон Филимон, секретарь греческого комитета Игр. Необыкновенно деятельный, выдающийся администратор, высокоталантливый оратор, он был как бы той основной пружиной, которая все приводила в движение и без которой весь механизм пришел бы в расстройство. И надо отдать ему справедливость, во всем этом им руководило, по видимому, не личное самолюбие, а горячий патриотизм.

— Тебя видели везде спешащим, действующим, убеждающим, советующим, поощряющим для успеха дела, — сказал ему всенародно один из городских сановников во время заключительного шествия после закрытия Игр, — мы знаем также твою деятельность в комиссиях под председательством нашего популярного наследника престола... Теперь, взволнованные и растроганные, мы выражаем тебе, присутствующие и отсутствующие, искреннюю и горячую благодарность.

К этой благодарности, без сомнения, мысленно присоединяются и все иностранцы, видевшие плоды неутомимой работы г. Тимолеона Филимона.

IX

Игры кончились. Гости уехали, унося с собой хорошие воспоминания об этом новом для нашего времени торжестве, настоящем празднике молодости, об этих светлых весенних днях

под южным небом, о гостеприимстве и радушии хозяев. Город принял свой будничный вид. Площади и улицы опустели; только дети продолжают еще забавляться на них воспроизведением марафонского бега и метания диска.

Но и хозяева остались вполне удовлетворенными. Возобновленные Олимпийские игры являлись для Греции как бы откровением. По географическому своему положению и по другим условиям это маленькое государство стояло до сих пор почти в стороне от международных интересов цивилизованного мира. И вот теперь, впервые со времени своей независимости, оно выполнило (хотя и в небольшом деле) международную роль, и выполнило ее с блестящим успехом. Оно сумело достойно принять международных гостей; оно воздвигло для этого торжества монументальные сооружения, классические формы которых сами по себе заставляют соединять в одно представление эти возобновленные Игры со славными Играми Древней Греции; наконец, эта маленькая страна дала такое число атлетов, какого не дало ни одно государство, и эти атлеты оказались победителями в самых трудных и рискованных упражнениях. Понятно, какое это должно было вызвать удовлетворение, какой подъем патриотического чувства. Потом, эти международные Игры сделали и еще одно дело. Они дали возможность народу воочию видеть, с каким сердечным интересом, с каким участием трудились для этого народного дела члены королевской семьи. Во все продолжение Игр лица эти были постоянно на виду у народа, жили одной с ним жизнью. Понятно, как это должно было способствовать сближению королевского дома с народом, способствовать подъему популярности королевских принципов и самого главы королевского дома.

Но Игры кончились. Стадион остается пустым. Когда-то он вновь наполнится теми десятками тысяч ликующего народа, которые вчера еще густо покрывали его ступени, да и наполнится ли вновь когда-нибудь? Эти десять дней международной жизни, так поднявшие греков в их собственном самостоятельном знании, возвратятся ли они когда-нибудь для Афин? Слабый отголосок этих не вполне еще формулированных вопросов начал слышаться за несколько дней еще до окончания Игр. И наконец, он вылился в определенную фор-

му: почему бы Игры не устраивать и на будущее время в Афинах? Здесь уже все для них готово, и готово в таких размерах, до каких, без сомнения, никогда не могут прийти приспособления в других странах. Где вы найдете возобновленные остатки грандиозных древних памятников, предназначавшихся в свое время именно для этого дела? Где в финансовом мире найдется другой идеалист, подобный Аверову, способный жертвовать на такое неустановившееся еще в общественном мнении дело миллионы? В других странах все приготовления могут иметь, в лучшем случае, только временный, выставочный характер; здесь же Аверов вновь гарантировал правительству все необходимые средства для окончания стадиона. Где вы найдете, наконец, центр, как Афины, чуждый каких бы то ни было политических пристрастий и антипатий, и народ, с таким единодушным и бескорыстным интересом следящий за ходом состязаний?

Мы слышали уже эту идею в прекрасных речах короля за завтраком атлетов. “Я не прощаю с вами, я говорю вам: до свиданья, еще раз, здесь!” Но замечательно, что это было выражением не одних его личных чувств, а горячего желания всей греческой интеллигенции, присутствовавшей на Играх.

Международный комитет по необходимости должен был относиться с большой сдержанностью ко всему этому движению. Он только исполнитель предначертаний конгресса и не может изменять его решения относительно передвижного характера международных Игр. Тогда у греков сложилась такая комбинация: они хотят праздновать у себя международные Игры в промежутки между Играми в других государствах. Именно, они предполагают праздновать у себя будущие Игры в 1898 году, потом в 1902 году и т. д., словом, так, чтобы международные собрания повторялись через каждые два года, раз в Афинах и раз в одном из других центров, по назначению конгресса. В древности Пифийские игры таким же образом чередовались с Олимпийскими, но греки настойчиво хотят сохранить название Олимпийских игр именно за теми, которые будут праздноваться в Афинах. Говорят, что греческое правительство решительно примкнуло к общественному мнению и готовит уже проект закона об учреждении периодических курсов в стадионе, открытых также и для иностранцев.

Как это все упрямится в будущем, теперь еще трудно сказать. Но и то удовольствие, какое вынесли иностранцы из Афин, и тот подъем духа, какой вызвали Игры в самой Греции, и это желание греков удержать Игры на будущее время у себя, все это показывает, что идея международных Олимпийских игр была не такой уже пустой и праздной идеей, какой ее старались выставить иные господа, щекотливые к новым словам и тугие на новое дело.

Периодическое повторение международных Игр на будущее время обеспечено. Если бы даже, по политическим причинам или по другим обстоятельствам, которых в настоящее время нельзя и предвидеть, эти Игры стали в будущем утрачивать свой широкий международный характер, то ведь Панафинский стадион останется стоять во всем своем величии многие столетия, воспоминание о весеннем торжестве 1896 г. надолго останется жить в памяти греков, путь в Грецию со всех концов мира теперь уже известен атлетам, что же помешает этому маленькому государству вновь сделаться постоянным всемирным центром, гостеприимно собирающим у себя, для мирных состязаний, такие международные элементы, соединение которых на другой почве и при других условиях было бы невыносимо? В Греции только об этом и мечтают. Но так ли это будет или иначе, идея международных Игр была счастливой идеей. Она ответила насущной потребности современного человечества, потребности физического и нравственного возрождения молодого поколения.

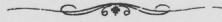
Признаем же долю заслуги на пользу этого дела и за молодым французским деятелем, бароном де Кубертенем, который первый выдвинул идею международных состязаний на парижском конгрессе 1894 г., и за конгрессом, который единодушно принял эту идею, и наконец, за греческим правительством, которое взяло на себя трудную задачу осуществления этой непопулярной еще в то время идеи и выполнило эту задачу с таким выдающимся успехом.



НОВЫЕ МЕТОДЫ
ВЪ
ВОСПИТАНІИ

(New Methods in Education, by J. Liberty Tadd)

А. Д. БУТОВСКІЙ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28
1902

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ВОСПИТАНИИ

(New Methods in Education, by J. Liberty Tadd)



В 1898 г. под этим заглавием появилось в Америке (Orange Judd Co) роскошно изданное сочинение, обратившее на себя внимание североамериканских педагогов. В течение двух лет оно выдержало несколько изданий и было переведено на немецкий язык. В 1901 г. вышло сокращенное и удешевленное его издание (“для учащихся”).

Автор этой книги, Либерти Тадд, состоит директором Публичной школы промышленного искусства в Филадельфии. Мысль о несостоятельности рутинных приемов обучения и о неудовлетворительности самого содержания учебного курса в низшей и средней школе занимает его уже давно. Его книга есть результат двадцатилетней педагогической деятельности.



“Эта книга, — говорит Л. Тадд в предисловии (полное издание), — есть прежде всего протест против существующих методов воспитания. Старое воспитание зависит слишком много от книги. Книги — только пособия; они не непосредственные источники воспитания и обучения, а искусственные, дающие сведения из вторых рук. Природа и опыт — лучшие учителя, и при непосредственном знакомстве с ними, и при прямом упражнении над мириадами форм жизни мы получаем наилучшее наставление. Детям слишком много говорят; они не вырабатывают истины самостоятельно. Чтение, письмо, арифметика стали главными фактами вместо прикладных. Некоторые ученики становятся особенно сильными в этих отраслях в

ущерб существенному знанию. Я ставлю себе задачей показать, что значительная часть школьной работы должна и может быть произведена с большей выгодой в отношении учеников, учителей, экономии и обстановки, при изложенном здесь методе, чем при обыкновенной системе”.

Далее Л. Тадд ставит в упрек теперешнему воспитанию, что оно не развивает в детях любви к природе и не возбуждает расположения к энергическому действию в ответ на зарождающуюся мысль. “Одно книжное учение, — говорит он, — создает только желание или стремление к добру, без существования в организме достаточного импульса для его выполнения”. Между тем, “ничто не дает большего достоинства человеку, как полное осуществление способности к действию. Нет высшей и более стойкой радости, чем та, которую испытывает человек, умея хорошо работать всем своим существом, — мозгом, глазами, руками, волею и суждением, — всеми орудиями, данными Богом для того, чтобы их воспитывали и пользовались ими”. Очевидно также, — продолжает он, — что старые методы воспитания дают факты в ущерб здоровью. Даже сильные дети часто вянут в школах и выходят из них совершенно неспособными физически к тем запросам жизни, с которыми им впоследствии приходится считаться годами тяжелого опыта”.

Для устранения этих слабых сторон современного воспитания Л. Тадд находит действительно нужным ввести в число общеобразовательных учебных предметов такие упражнения и занятия, которые, во-первых, ставили бы воспитанников в условия, благоприятные для непосредственного наблюдения и изучения природы, во-вторых, вносили бы в воспитание эстетический элемент, основанный на любви к природе и на художественном понимании явлений видимого мира, наконец (и это самое необходимое условие), делали бы из ученика работника, давали бы ему техническую умелость, пользуясь которой, он без колебания мог бы осуществлять свою мысль в действии, в работе (action work). “Я стараюсь показать на основании действительных результатов, — говорит он, — что художественное образование, надлежащая тренировка руки и изучение природы, правильно проводимые и согласованные должным образом с другими учебными занятиями, должны начинаться с нежного возраста и продолжаться через элементарную и выс-

шую ступень воспитания”. “Правильная тренировка в работе, — продолжает он, — оказывая бесспорное и благотворное влияние на физическое и умственное развитие, помогает также и известному подъему моральной тренировки; она имеет ясный этический эффект”.

Всем этим условиям, по его убеждению, удовлетворяет выработанный им метод упражнений в рисовании, черчении, лепке из глины и воска, резьбе по дереву и, наконец, в более или менее сложных конструктивных работах из дерева, металла и других строительных материалов.

Основная идея метода заключается в следующем: способность к работе обуславливается упражнением и тренировкой рабочих орудий организма — руки, глаза и мозга. Это — первые, непосредственные орудия, и умение владеть ими должно составлять первую и главную задачу воспитания. “Всякая работа руки и глаза вызывает работу мозга, а потому установление различия между работой руки и мозга неправильно”. Надо выработать сознательный взаимный контроль между этими факторами и стремиться к тому, чтобы по мере упражнения он обратился в бессознательный автоматический контроль. Рука должна быть послушным орудием глаз и мозга, должна научиться верно и свободно воспроизводить линиями, красками или посредством пластического материала все предметы и явления видимого мира, должна освоиться со всем разнообразием естественных и художественных форм. Рука и глаз, под контролем мозга, должны упражняться в наблюдении отличительных особенностей этих предметов, явлений и форм, запоминать их и воспроизводить на память. Таким образом, с одной стороны, у воспитанника накапливается богатый запас непосредственно добытых сведений, с другой, — рука и глаз приобретают необходимую дисциплину для точного, понятного и художественного графического или пластического воспроизведения наблюдаемых явлений и форм, и не только их одних, но и всякой самостоятельной мысли, допускающей, конечно, графическое или пластическое выражение. Наконец, по мере накопления зрительных представлений и усвоения навыка в их воспроизведении посредством рисунка или в трех измерениях, “рисование должно обратиться в способ выражения мыслей, такой же обыкновенный, как разговор и письмо, ибо по мере

того, как ученики приобретают точность восприятия, в них вырабатывается также и легкость выражения, — тут есть взаимодействие”.

Развитию этих качеств Л. Тадд придает первостепенную важность и считает их основой всякого правильно поставленного воспитания. “Я твердо верю, — замечает он, — что в наше время мы нуждаемся в тренированных и искусных руках более, чем в гибких языках. Но вместе с тем я смотрю на защищаемый мною метод и как на самое существенное средство для развития истинного красноречия языка. Верные идеи и должные дела суть первые вдохновители обоих способов выражения”.

Нельзя не видеть, что в самой своей основе этот метод включает больше условий для подъема художественного и технического образования, чем для удовлетворения тем общим требованиям воспитания, на которые автор указывает в предисловии. Но Л. Тадд именно и считает правильно поставленное художественное и техническое образование одной из главных задач общего образования и воспитания. Он утверждает, что красота и высокое качество продуктов слишком часто отсутствуют как в механической промышленности, так и в мире литературы и изящных искусств, и приписывает все это ошибочным методам воспитания. По его словам, североамериканская производительность отличается количеством продуктов, но не их качеством. “Для того чтобы они могли соперничать с настоящим искусством, так сильно характеризующим изящные продукты Древнего мира и Востока, идея художества должна больше выдвигаться в воспитании. Художественное образование должно быть согласовано с другими методами как средство исправления указанных выше ошибок. Если это будет сделано правильно, то подрастающее поколение достигнет в массе того развития, которое до сих пор выпадает на долю только немногим. Наше юношество станет оканчивать свое воспитание здоровым телом и душой, сильным в замыслах, положительным в их выполнении, тренированным в пользовании рукой и глазом, с развитой самобытностью и зрелым суждением, с ловкостью и способностью в применении этих качеств, что само собой скажется во всяком искусстве и промышленности”. Вот почему и на эту книгу, по словам ее автора, следует смотреть не как на одно только техническое руководство к черчению, рисованию,

моделированию, резьбе, постройке из дерева и металла или как на руководство собственно к художественному образованию. “Она назначена доказать замечательную воспитательную силу нового метода, когда он правильно применяется, экономию его всеобщего приложения и благодетельный его эффект как пособия для развития самостоятельности”.

Таким образом, воспитательный вопрос сводится у Л. Тагда к подъему художественно-промышленного образования. Здесь, в этой области, он видит разрешение всех своих сомнений. Тут только человек приобретает все те средства для полного пользования жизнью, которые не дает ему теперешнее воспитание. Эта идея и есть, в сущности, основная идея всей книги и даже основная идея всей двадцатилетней деятельности ее автора.

II

Принятые в настоящее время методы обучения рисованию и разного рода мастерствам и в общеобразовательных, и в профессиональных школах он считает ошибочными в самом их основании.

Шведскую систему ручного труда (slöjd) он готов признать лучшей из всех любительских столярных систем, но он удивляется ее претензиям на значение воспитательной системы. Она обучает владеть инструментами, т. е. искусственными орудиями; но на абсолютное развитие глаза, руки и ума как основных и естественных орудий в ней мало обращено внимания. Главный недостаток этой системы он видит в том, что в течение всего курса она требует непрямого употребления орудий точности — линейки, циркуля, наугольника, аршина. Этого-то именно и не нужно. Таким путем глаз и ум никогда не приобретают автоматической способности оценивать величины и пропорции, способности, развитие которой в высшей степени необходимо в период воспитания.

Для надлежащего развития рук надо выбирать такое дело и вести его таким способом, чтобы в дополнение к мышечной деятельности оно давало также упражнение органам чувств. Раз-

личие между воспитанием руки, в том смысле, как его понимает Л. Тадд, и обучением мастерству состоит в том, что первое, т. е. воспитание руки, должно предшествовать второму совершенно так же, как чтение, письмо и арифметика предшествуют изучению специальных и высших отраслей знания.

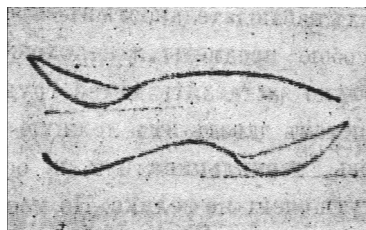
Еще менее доволен Л. Тадд постановкой рисования. Он рассказывает, что на выставке в Чикаго в 1893 г. он занимался исследованием направления способностей детей и взрослых различных состояний. Для этого он приглашал их рисовать на черной доске. “Не более четырех процентов учителей рисования, подвергшихся испытанию, умели рисовать. Я имею в виду, — поясняет он, — рисование как способ выражения: изобразить линиями то, что думаешь. Все остальные находились в зависимости исключительно от модели. Постоянно выражалось удивление, когда просили именно нарисовать что-нибудь просто, без модели. Было только восемь случаев из нескольких сотен, что я нашел свободу руки, т. е. тот род элементарной свободы, который требуется от детей в этой книге. Испытания были предлагаемы учителям многих больших учреждений, нормальных художественных школ, коллегий и дипломированным техникам. Почти неизменно замечался недостаток мастерства в органическом рисовании, а принимая во внимание количество времени, которое они посвятили этому делу, их подражательное рисование было слабо ниже всякого выражения”.

Конечно, не умеющий рисовать не может и научить рисованию. Но Л. Тадд кладет ответственность за такое положение дел не столько на учителей, сколько на принятую “систему” обучения рисованию. “Дети, — говорит он, — упражняются в воспроизведении серии последовательно расположенных упражнений, состоящих обыкновенно из “геометрических форм” и “предметов, основанных на геометрических формах”. Они принуждены работать с типических форм, пока они им не опротивеют, и предполагается, что они научаются подмечать сходство с этими типическими формами в чрезвычайно различных предметах. Я считаю, что это в корне ошибочно. Мы должны обучать детей обращать внимание на несходство. Мы должны изошрять их наблюдательность в определении, насколько различны между собой предметы и непохожи друг на

друга. По-моему, очень глупо заставлять детей трудиться, например, над конусом и потом давать им ложную идею, что колпак на лампе и морковь, чернильница и т. п. основаны на этом конусе; сходство тут очень невелико. По-моему, они выглядят совсем не одинаково, и мне не приходилось видеть умного ребенка, который сам по себе стал бы ассоциировать их в своем уме в одну группу. Заметьте, я верю и в типические формы и в геометрические формы на должном месте, но это абстракция. Детям нечего делать с абстракциями. Прежде чем давать им идею о типических формах, надо обогатить их ум серией естественных форм, из которых мы получаем идею о типе. Когда дитя освоилось с яблоком и мраморными шариками, мыльными пузырями и другими круглыми предметами, тогда только может быть воспринята им отвлеченная идея о сфере”.

Рисование и ручная тренировка, как их понимает Л. Тадд, “не имеют ничего общего с традициями и традиционными заблуждениями воспитания. Это способы выражения мыслей, так же точно, как разговор и письмо суть способы выражения мыслей. Рисование есть универсальный язык. Оно побуждает к наблюдению, к размышлению, к анализу и к обобщению”. Если дети должны познавать предметы, приобретать сведения (а они приходят в школу именно для этого), то они не знают ничего другого, что могло бы занять место правильного способа обучения рисованию, ибо оно возбуждает внимание детей к предметам, когда они правильно им предлагаются.

Возвращаясь неоднократно к значению рисования и вообще изобразительных искусств как средства для приобретения реального знания, Л. Тадд утверждает, между прочим, что “смотрение на предметы и даже обращение с ними в



Фиг. 1

течение всей жизни не приводит некоторых людей к познанию особенностей самых обыкновенных форм. Возьмем, например, обыкновенную ложку. Ни один из пятидесяти не даст уверенного ответа, как загибается ее рукоятка, вверх или вниз (фиг. 1).

Я не имею в виду, — замечает он, — что они должны уметь изобразить это рисунком; я говорю просто о знании, как она погибает. На основании представления, которое они имеют или имели в своем уме о ложке, ни один из пятидесяти не ответит на это правильно. Сделайте опыт и увидите. То же самое верно и относительно вида самых обычных орудий. Я могу взять людей и доказать, что у них нет даже приблизительного знания образца собственного их всегда употребляемого молотка или рукоятки пилы”.

“Способность точного наблюдения может быть сделана автоматической и полезной только посредством метода художественного образования, посредством практической эстетики, посредством организованных впечатлений, повторительно и систематически воспринимаемых, пока ум не освоится с восприятием различий и с объединением их в понятие... Все экскурсии, прогулки и беседы десяти учителей, все смотрение на предметы и обхождение с ними бесполезны в смысле изучения природы, если впечатления и сведения не делаются органическими посредством исполнения работы, возбуждающей систематическую реакцию некоторых центров к производству продукта, который был бы внешним, конкретным знаком внутренней структуры или мысленной работы... Есть что-то сопротивляющееся в среднем ребенке, что должно быть пересилено этой систематической работой. Есть умственная инерция, если хотите, или то, что может быть названо немощью намерения, что должно быть побеждено раньше, чем союз мысли и действия может быть сделан автоматическим и полным. Поэтому простое рассматривание предметов не дает наилучших желаемых результатов в изучении природы. Это убедительно доказывается школьным преподаванием всех наблюдательных учебных предметов. Но методы, намеченные в этом сочинении, дают желаемый результат во всяком случае. Дети научаются любовно распознавать предметы, и это возбуждает то энергическое расположение к исполнению соответствующих действий, которое есть естественное состояние живого и деятельного нормального ребенка”.

Таковы идеи, лежащие в основании “нового метода”. Посмотрим теперь, в чем состоит самый метод.

 III 

Л. Тадд требует, чтобы все дети школьного возраста, начиная приблизительно с 6 лет, рядом с другой учебной работой, занимались рисованием, лепкой из глины и воска и резьбой по дереву. Эти работы ведутся параллельно, взаимно дополняя одна другую. Ученики не проходят одного только курса рисования или одной лепки, чтобы потом переходить на курс другого отдела занятий, а на всякой ступени, начиная с самых маленьких детей, работают по всем трем отделам. Л. Тадд считает такое требование одной из радикальных черт своего метода. “При начертании всех форм, сначала на бумаге, потом на мягкой глине, потом на твердом дереве, приобретаются все возможные физические координации, вызываемые разнообразием материала. Лепная работа подкрепляет рисование, резьба по дереву подкрепляет лепку. Образование форм из глины и дерева, так же точно, как и на бумаге, вызывает оригинальность и изобретение и дает упражнение созидательной способности на каждой ступени работы. Метод или система чередования изменяются в различных школах. В некоторых ученики переходят от одного отдела к другому на каждом уроке; в других — каждый четвертый урок; в иных, наконец, кончают начатую работу по одному отделу и переходят на другой. Этот метод заключает побудительную силу для учеников и в особенности показывает, к чему они наиболее способны. Упражнение разнообразных способностей дает им возможность работать в тех отделах, для которых они не имеют больших задатков. Исключения не делается ни для одного ученика. Все — на элементарных курсах — должны работать на различных средах, если только у них нет конституциональных недостатков”.

За этим элементарным курсом следуют специальные работы: столярная, штучная, металлическая, а также черчение, механическое и архитектурное рисование, рисование и живопись с натуры и пр. Все эти упражнения тоже рекомендуются для общеобразовательной школы; но всякой специальной работе должна непременно предшествовать элементарная ручная тренировка в рисовании, лепке и резьбе.

Другая капитальная особенность метода состоит в том, что Л. Тадд требует во всех родах преподаваемых им работ одинакового развития обеих рук. Это требование он подкрепляет и физиологическими, и практическими соображениями. “Биология учит, что чем более чувства координированы в индивидууме для гармонической работы, тем лучше. Работая правой рукой, я пользуюсь левой стороной мозга; при работе левой я ввожу в действие правую сторону мозга. В сущности, я упражняю некоторые специальные области или центры мозга в каждом производимом мной сознательном движении, и при всяком изменении движения я вовлекаю в работу некоторые другие центры. Если при производстве какого-либо такого действия с энергией и точностью я помогаю развитию соответствующего центра, я усвершенствую мозговой организм, устраивая для самого себя лучшую и более симметрическую умственную машину. Кажется ли это неосновательным? Мы пользуемся обеими ногами, обоими глазами, обоими ушами. Я твердо убежден, что чем лучше и тверже союз каждой руки с соответствующим ей полушарием мозга и чем более мы имеем легкость в работе обеими руками вместе и каждой отдельно, тем совершеннее работа нашего мозга, тем лучше функционируют наш ум, рассудок и воображение”.

Переходя к практическим соображениям, Л. Тадд говорит, что в 240 ремеслах или искусствах требуется употребление обеих рук, а в некоторых занятиях, как резьба, гравирование, лепка и чеканка, левая рука работает так же много, как и правая. Поэтому мышечная координация и свобода работы, одинаковые для левой и для правой руки, очень важны и имеют широкое практическое применение, независимо от физиологического и психического значения обоюдосторонности. Наконец замечено, — добавляет он, — что при обоюдостороннем развитии правая рука работает обыкновенно гораздо лучше, чем в том случае, когда левая рука остается без развития.

Третье условие метода заключается в решительном восприятии пользоваться какими бы то ни было орудиями точности: циркулем, линейкой, наугольником, аршином. Ученики рисуют, лепят, занимаются резьбой только от руки и на глаз. Это требование вытекает из самой сущности “нового метода”. Дело идет об установлении координации между работой руки, глаза и мозга. Глаз, под контролем мозга, должен упражняться в самостоя-

тельном определении и сравнении величин, направлений и форм; рука, под контролем глаза и мозга, должна упражняться в непосредственном, свободном и безошибочном воспроизведении этих величин, направлений и форм, и притом в различных средах. “Надо сделать искусной самую руку, прежде чем учить ее управляться с инструментами. Мастер, по выражению Микель Анджело, должен иметь свой циркуль в глазе, а не в руке”.

На свободную, уверенную и безошибочную работу руки, а также на безошибочную оценку на глаз величин и направлений в этом методе обращено очень большое внимание. Судя по фотографиям, в обилии помещенным в книге, новый метод дает в этом отношении удивительные результаты. Даже маленькие дети приобретают невероятную свободу руки и уверенную точность в воспроизведении довольно сложных форм.

Инструменты точности берутся в руки впервые только по окончании элементарного курса рисования, лепки и резьбы, при переходе к геометрическому черчению и к сложным деревянным, металлическим и другим работам.

К особенностям “нового метода” надо также отнести требование, чтобы работы исполнялись в большом масштабе, в особенности рисунки. Элементарные упражнения в рисовании делаются на больших листах бумаги; главным же образом на больших классных досках, во весь размах руки. Лепные и резные орнаменты даются тоже таких размеров, чтобы рука имела простор для движения. Тут имеется в виду и развитие свободы движения руки с профессионально-художественной целью, и общее гимнастическое значение энергического и широкого движения. “В рисовании на черной доске, — говорит Л. Тадд, — дети имеют телесное упражнение... Кроме того, они отучаются присматриваться к линии. Эта вредная привычка слишком часто наблюдается в школах при рисовании, чтении и письме. Это портит зрение. Слишком много детей носит очки в наше время”.



Мы не имеем возможности следить за автором в его подробном изложении приемов обучения рисованию, лепке и резьбе по дереву. Это главная, наиболее разработанная и самая

обширная часть его книги. Но приемы эти до такой степени своеобразны, что о них следует сказать несколько слов. Останемся главным образом на рисовании.

При обучении рисованию Л. Тадд преследует две задачи. Одна из них заключается в том, чтобы “дать основательное искусство и ловкость руке как орудию”. Это — чисто техническое упражнение, *drill work*, дрессировка. Другая задача — рисование с натуры и рисование на память. “Значение механического упражнения руки (*manual training, drill work*) для правильного и хорошего рисования, — по его словам, — недостаточно определялось в прошедшем. Различие, обыкновенно делаемое между идеей механического развития руки и художественной работой, неверно. Это две стороны одного и того же факта, одинаково важные и одинаково достойные возможной заботы и внимания”. Один только курс этого *drill work* есть глупость; но сопровождаемый другими формами художественной работы и связанный с изучением природы, он имеет неоцененное воспитательное значение.

В чем заключается это механическое развитие руки? “Надо образовать привычку проводить требуемые черты одним движением, без изменения”. Поэтому при рисовании на бумаге — никакой резины, при рисовании на доске — никаких стираний. Таким способом достигается больше свободы и точности, чем когда делаются слабые попытки черт, с мыслью, что они должны быть изменены несколько раз, прежде чем получится верный рисунок”.

“Ученик должен учиться рисовать так же автоматически, как он учится писать”. Когда ученик желает выразить свои мысли письменно, он не обязан “слегка намечать” равные начертания букв. Его ум занят идеей, которую он желает выразить на бумаге, и рука его движется автоматически, безо всякой мысли о различных положениях, необходимых для образования прямых и кривых линий. То же самое должно быть и при обучении рисованию. Не требуется никакого специального таланта или гения, чтобы хорошо выводить слова. Так же точно и в рисовании, при простом упражнении в механической части работы. Талант и гений нужны для высших ступеней рисования и творчества, как они необходимы и для выражения великих мыслей писанным словом.

Учитель должен понять, однако, что на drill work не следует тратить слишком много времени; около 10 минут каждый урок. Столько же времени отдается на это дело и в лепке и в резьбе. С начинающими придется, может быть, заниматься и несколько больше.



Последовательность механических упражнений для развития рук такая: начертание круга, прямой линии, петли в виде цифры 8; разнообразные сочетания петель: розетка, трилистник, серии непрерывных 8-образных петель; спиральная линия и различные сочетания спиралей (завитки) (фиг. 2).

Далее идут элементарные единицы орнамента: простая форма листа и сочетание простых форм в розетку; сложная форма листа (с тремя основными жилками) и стилизованные сочетания сложных листьев. Единицы рисунка, основанные на спирали (начертание волюта). Еще далее даются комбинации единиц в стилизованные формы: греческий антемион и его сочетания; разнообразные формы стилизованных листьев в условных поворотах; акантовый лист и превращение его в акантовую почку; наконец, единицы рисунка в мавританском стиле.

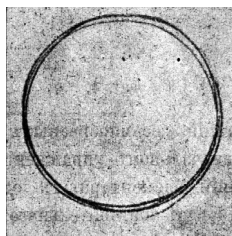
По поводу первоначальных механических упражнений Л. Тадд дает, между прочим, такие объяснения: “Двадцатилетняя опытность привела меня к установлению размеров рисунков. При рисовании на классной доске круг должен быть не менее 6 дюймов в диаметре. Впоследствии размер увеличивается или уменьшается. Круг надо рисовать прямо перед собой,



Фиг. 2

на уровне глаза. Дети имеют склонность делать его над головою и тянутся вверх; взрослые люди, никогда не упражнявшиеся, обыкновенно делают свои круги на доске слишком низко, а пожилые люди рисуют их совсем низко, — факт очень интересный для

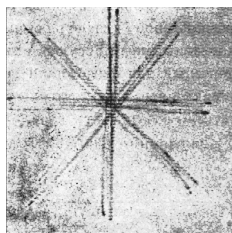
физиолога и психолога. Не позволяйте ученику наклоняться и делать посторонние движения; рука должна двигаться свободно, от плеча, по кругу, повторяя несколько раз его начертание (фиг. 3). Не следует сжимать мел и вообще надо тщательно избегать напряжения мускулов. Потом начертите другой круг в стороне от первого левой рукой и практикуйтесь свободно водить эту руку, пока линии не пойдут правильно. Когда эти движения сделаются автоматическими, дайте ученику по куску мела в каждую руку и пусть он чертит сразу обеими руками по соответствующим кругам, сначала вправо, потом влево, потом в противоположных направлениях. Такие упражнения надо повторять постоянно, совершенно так, как упражняются для развития пальцев на фортепьяно. Не обращайтесь большого внимания на точность круга. Неважно, если он выйдет неправильным вначале, так как тут главная задача — легкость движения. Многие дети в очень короткое время начинают свободно чертить прекрасные круги и той и другой рукой”.



Фиг. 3

Подобные же упражнения делаются при начертании прямых линий (вертикальных, горизонтальных и наклонных, фиг. 4) и различных сочетаний 8-образных петель. Длина линий и петель, при первоначальном упражнении, от 8 до 12 дюймов. При начертании элементарных единиц орнамента не требуется уже всякий раз повторительного упражнения по одной и той же линии, но ученики рисуют симметрические части орнамента по большей части обеими руками сразу. Тут обращается внимание на точную передачу определяемых на глаз размеров. Книга изобилует образцами широких, симметрически расположенных орнаментов во всю доску.

Вообще для начальных упражнений к доскам вызываются все ученики класса. Не все формы повторяются каждый раз. Неоднократно Л. Тада останавливается на важном значении автоматиче-



Фиг. 4



Фиг. 5

кистью и тушью или красками (фиг. 5). Рисование орнаментальных форм одною кистью, безо всякого вспомогательного контура, считается очень важным упражнением, и если судить по образцам ученических упражнений, приведенных в книге, ученики достигают в этом способе рисования поразительных результатов”.

Вообще Л. Тадд восстает против употребления каких бы то ни было вспомогательных линий или директрис при исполнении рисунка. Его метод есть протест против механических или искусственных пособий, помогающих руке в ущерб развитию суждения и глазомера. Чем более вспомогательные линии употребляются, тем более в них потом нуждаются. “Уничтожьте их с самого начала. Приучайте руку и глаз слушаться ума и изыскивать пропорции и точность без искусственных пособий. Эта способность так желательна, так ценна в течение всей жизни, что тяжело видеть, когда эти костыли не только дозволяются, но даже предписываются, как это принято в большинстве рисовальных систем”.

“Но не ожидайте, — предупреждает автор, — чтобы все эти формы были точны с самого начала. Годы опыта показывают, что одно копирование и рисование на плоской поверхности не дают ученикам свободных и плавных движений, столь существенных для исполнения артистических кривых и штрихов. Руке всегда как будто недостает известной легкости, которой иногда не дают даже многие годы работы. Но когда рука приобретает способность двигаться в мягкой глине и в твердом дереве, когда она привыкнет следить за ли-

ской работы. “Пока движение делается сознательно, рука не может работать с желаемой ловкостью. Только при автоматическом движении, допускающем сосредоточение мысли на предполагаемом результате, может быть исполнена хорошая и ловкая работа”.

Когда ученики свободно делают контуры на доске и на бумаге, им дается работа

ниями и поверхностями в этих средах, то удивительно, как скоро она начинает исполнять самые тонкие и сложные кривые уверенными и плавно идущими линиями и штрихами... Кроме того, опыт показывает, что когда ученики работают в различных средах, то это дает им более глубокое и прочное впечатление формы. Рука становится, по-видимому, сильнее и энергичнее”.



Не менее оригинальна в этом руководстве постановка рисования с натуры и рисования на память. И то и другое идет рядом с механическими упражнениями. И тут ученики рисуют на классных досках и на бумаге, мелом, углем, карандашами, красками. Так же, как и при механических упражнениях, никаких орудий точности, никаких вспомогательных линий, никаких поправок и стираний. Кроме того, тут не должно быть никаких формальных уроков перспективы, надо только обращать внимание детей при самом рисовании на очевидные факты. Таким образом, отвлеченная часть дела постепенно выясняется для них естественным путем. Ничто так не вредно, как чтение о перспективе с рассуждениями об “углах зрения”, о “сходящихся линиях”, о “картинных плоскостях” и пр., когда дети еще к этому не приготовлены. Это до такой степени затемняет предмет, что иногда очень умные мальчики совершенно запутываются в этих понятиях. Перспектива занимает в рисовании такое же место, как синтаксис в языкознании: самая трудная вещь, когда законы даются прежде слов.

Для начинающих главное — форма, потом уже свет, тени и краски. Большой помощью не только для изучения форм, но также света и тени служат упражнения в лепке.

Дети рисуют все видимые формы; тут нет никаких ограничений, — и предметы обстановки, и другие неодушевленные предметы видимого мира, и растения, и животных. Но, верный своей идее художественно-промышленного образования, Л. Тадд останавливается главным образом на формах, могущих иметь орнаментальное значение. Так, он отводит большое место упражнениям над формами рыб, раковин, над особенно

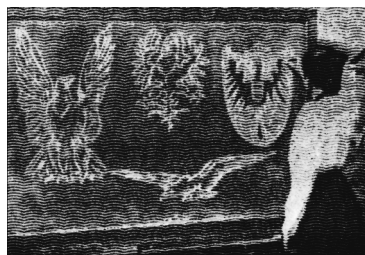
типичными формами птиц, животных и в особенности над растительными формами. Венец всех этих упражнений — так называемые условные и символические формы, дельфины, грифоны, декоративные и геральдические формы птиц и животных, архитектурные орнаменты различных стилей (фиг. 6 и 7).

Для изучения этих форм Л. Тада широко пользуется гипсовыми моделями, которые, по его мысли, должны быть постоянно

на виду у учеников.



Фиг. 6



Фиг. 7



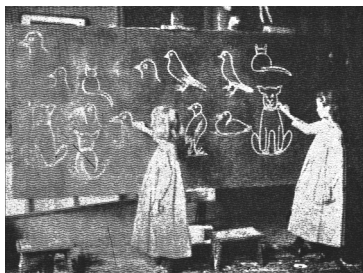
Фиг. 8

Приводим очень интересное замечание Л. Тада относительно рисования с подвижных форм. Фототипия в его книге изображает девочку, рисующую курицу на классной доске (фиг. 8).

Курица двигается в загород. “Сначала, — говорит он, — результат получается плачевный. Птица не хочет держаться спокойно, ученица жалуется. Но после небольшой практики оказывается, что нет надобности, чтобы курица держалась неподвижно, что ее фигуру можно наблюдать даже когда она движется. Заметьте, что девушка нарисовала ту же самую курицу в пяти различных положениях”. Повторение и постоянное упражнение над разнообразными формами имеют в этом случае огромное значение. “Когда достаточное число впечатлений от различных частей курицы было получено умом через руку, тогда рука начинает быть послушной уму и становится способной

воспроизводить улавливаемые формы птицы с должной быстротой. Это желаемая ступень, и она доступна почти всякому, кто практикуется прилежно. Главное — работать, а не падать духом от неудачи первых опытов”.

Большое значение придает Л. Тадд рисованию на память. Обыкновенно на этом мало настаивают, между тем занесение на память всех форм и идей есть одно из самых плодотворных упражнений для развития ума и для приобретения артистической умелости, столь желательной в воспитании. Надо упражняться в запоминании не одних только живых форм; важно приобретение способности обдумывать сочинения и рисунки и мысленно изменять их, совершенно так, как изменяется характер нашей речи или течение мыслей по мере того, как мы их обдумываем. Эскизы на память надо делать постоянно; надо повторять их подобно упражнениям на фортепьяно. Лучше посвятить на это 15 минут или полчаса ежедневно, чем пять или шесть часов в день с большими промежутками (фиг. 9).



Фиг. 9



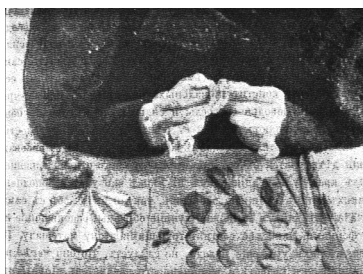
Та же идея художественной умелости, с одной стороны, и наблюдения природы — с другой, преследуется и при упражнениях в лепке и резьбе. По словам автора, “есть один только путь знать форму, это сделать ее, а не просто нарисовать”. Если мы хотим дать знание предметов в их истинном виде и, в то же время, культивировать энергическое расположение к исполнению дела, то лепка, лепка из глины, должна получить законное место в воспитании. Лепка требует постоянной работы обеих рук. Чем больше мы работаем руками, тем больше мы приобретаем контроля над этими органами и тем более становится жизненной связью между руками и мозгом. При лепке мы пользуемся различными проводниками впечатлений: зрением, осязанием и мускульным чувством.

Скульпторы приобретают удивительное чувство формы посредством осязания. Самые художественные кривые и самые тонкие части статуй делаются одними пальцами... То, что называется способностью видения, есть отчасти результат получаемых умом осязательных впечатлений. Многие знания, приписываемые чувству зрения, приобретаются одним только осязанием.

В резьбе по дереву автор видит одно из изящнейших искусств. Это прямое дополнение к упражнениям в лепке. Ученик завершает тут свое знакомство с формами посредством стойких или продолжительных впечатлений. Поэтому, как только достигнут известный навык в рисовании на черной доске и на бумаге, а также в лепке из глины, надо приступать к приобретению навыка в резьбе по дереву. Это упражнение можно начинать, как только дети достаточно подросли, чтобы свободно работать руками на столе или на верстаке. Резьба требует известного подъема энергии, но это работа нетрудная. Женщины неохотно приступают к ней, думая, что она им не по силам. Но это неверно. Подобно работе по мрамору, резьба по дереву облегчается употреблением деревянного молотка (фиг. 13). Если стамеска не идет свободно в дерево, берут молоток, и всякий, у кого довольно силы, чтобы вбить в дерево гвоздик, может обрабатывать самое твердое дерево. Поэтому восьми- или девятилетние дети, если они не имеют конституциональных недостатков или не чрезмерно слабы, довольно взрослые и сильны для резьбы, обыкновенно приступают к ней с большой энергией и радостью.

“Совершенно так же, — замечает автор, — как в рисовании наши дети учатся начертанию форм лучшего стиля, воплощающих красоту и грацию, как в лепке они учатся исполнению тонких форм лучших периодов, так и в резьбе с самого начала им даются возможно лучшие образцы, осваивающие их с формами, наиболее соответствующими этому материалу. Из того, что их ум еще молод, не следует, что они менее восприимчивы к красоте и законченности предметов. Давать им, потому только, что они молоды, слабые и ничтожные формы в лепке и резьбе так же нецелесообразно, как говорить с ними детским лепетом, имея ввиду научить их выражаться ясно и точно”.

Оставляем в стороне последовательность обучения лепке и резьбе. Это предмет слишком специальный. Скажем только, что и здесь механические упражнения (drill work) занимают такое же важное место, как и в рисовании. И при лепке и при резьбе пользуются только самыми необходимыми инструментами и приспособлениями. Лепят сначала просто пальцами (фиг. 10), потом вводят в употребление две или три стеки. Для лепки на плоскости пользуются дюймовыми досками не менее 12 × 14-дюймового размера (фиг. 11). Для резьбы — набор стамесок, деревянный молоток и струбцинка (фиг. 13). Начальные упражнения на плоскости делаются на досках такого же размера, как и для лепки (фиг. 12). Автор предупреждает, чтобы детям не давали для резьбы, с самого начала, мягкого дерева, как сосна или тополь. Правда, в школах поступают как раз наоборот, но это ошибка. Дети должны сразу приучаться к наиболее пригодному для резьбы строению дерева. «Они режут у нас по



Фиг. 10



Фиг. 11



Фиг. 12



Фиг. 13

дубу, ореху, красному и вишневому дереву и только случайно употребляют мягкое дерево. Работая по мягкому дереву, неопытные ученики неожиданно делают ненужные для практики промахи, зарезывая или расчепливая работу. На твердом дереве для начинающего работа хотя и трудная, но поучительная”.

И в лепке и в резьбе, как и в рисовании, ученики проходят через орнаментальные единицы, лепят с натуры, лепят и режут с избранных образцов растительных и животных форм и заканчивают работами не только трудными в техническом отношении, но и имеющими художественное значение.



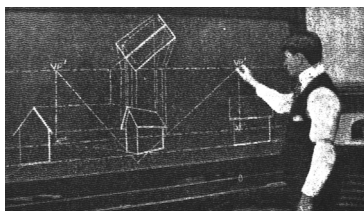
Последняя часть сочинения (книга V) посвящена разнообразным применениям предшествовавшего курса рисования, лепки и резьбы. Ученики, прошедшие основательный курс художественно-промышленной дрессировки, с хорошо развитыми для дела руками и глазами, берут в руки орудия точности и инструменты, знакомятся со всеми способами обработки дерева и соединения его частей, как для столярного дела, так и для строительных работ, проходят курс работ по металлу и получают теоретическое основание того дела, которым до сих пор занимались только практически.

Задача состоит в том, чтобы дать глубокую и разумную тренировку, а не законченное и одностороннее механическое мастерство. Так, в работах по дереву не входят в подробности каждого процесса и не изучают работы каждым инструментом, но основательно знакомятся с принципами и учатся владеть наиболее употребительными инструментами. Каждый ученик должен понять, что владение инструментом само по себе не представляет цели, а является только средством для выражения идеи или замысла. Механическое черчение в этом курсе не имеет целью образовать чертежника или архитектора. Это один из видов тренировки рук человеческих, который должен быть одинаково пригоден как для желающих посвятить себя изящным искусствам, так и для тех, которые захотят быть инженерами, техниками, чертежниками, фермерами и т. п. (см. фиг. 14 — перспективные упражнения и фиг. 15 — модель деревянной постройки).

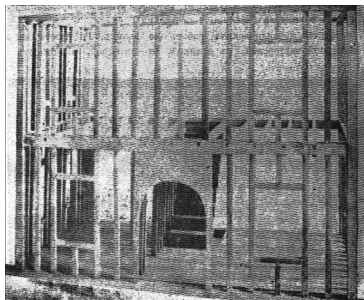
Курс металлических работ невелик. Работают в слесарной мастерской, в кузнице, в литейной, исполняют орнаментальные вещи литья и кования и делают части машин. За немногими исключениями, говорит Л. Тада, это работы чисто механические. Многолетний опыт приводит его к заключению, что настоящее место большинства металлических работ — в ремесленной, а не в общеобразовательной школе.

Автор и здесь верен своему основному принципу — развитию рабочей способности человека. Отличительная черта этого курса конструктивных работ состоит, по его

словам, в полном отсутствии машин, пара, токарных станков и пр. Даже круглые формы и их модификация исполняются от руки, а не на токарном станке. Методы машинного производства никогда не давали и не дадут работников, равных в механическом и артистическом отношении людям лучших периодов истории. Конечно, мы живем в промышленный век, и наш материальный прогресс до сих пор много зависит от порабощенной силы пара, электричества и пр., но в известной мере это было в ущерб развития индивидуальности. Нет такой системы воспитания или прогресса, которую мы имели бы право поставить выше уроков великих периодов мастерства, когда индивидуальные работники клали свою душу, чувства и волнения в дело своих рук из камня, металла и дерева.



Фиг. 14



Фиг. 15

В большом издании последняя часть включает несколько дополнительных глав, в которых автор говорит об отношении

рисования к другим отраслям знания, о различных применениях его метода, — между прочим, в вечерних школах, на летних курсах, с детьми ненормального духовного развития и пр. — и, в заключение, дает советы молодым людям, посвящающим себя искусству.

IV

Книга Либерти Тадда представляет большой интерес как со стороны взглядов автора на общие задачи воспитания, так и, в особенности, со стороны совершенно новой методической разработки таких отделов упражнений и занятий, которые, без сомнения, могут иметь образовательное и воспитательное значение, но которые занимают в учебных планах современной школы слишком ничтожное место, а иногда и вовсе его не занимают. Она включает в себе обширный материал для воспитателя, придающего значение эстетическому образованию учеников и развитию в них способности наблюдения, запоминания и воспроизведения форм и явлений видимого мира. Для учителей рисования, черчения, ручного труда и вообще всяких технических навыков — это полезное пособие, богатое идеями, формами, а иногда и очень верными указаниями методического и технического характера. Следует прибавить, что книга написана с большим убеждением в важном значении “Нового метода”, как дела уже установившегося и принесшего свои плоды, хотя не чужда преувеличений и даже некоторой склонности к рекламе: тут нет сомнений в универсальном и спасительном значении этого дела, нет колебаний, нет ошибок. Издатели громко заявляют, что “Новый метод” произвел сенсацию во всем образованном мире. В числе стран, в которых он обратил на себя внимание правительственной власти, упоминается также и Россия.

Но, рассматривая “Новый метод” в его целом, трудно согласиться, что он в состоянии удовлетворить всем тем насущным потребностям воспитания и обучения, на которых так энергически настаивает автор в своем предисловии (к полному изданию) и во вступительной главе своей книги.

Л. Тадда, очевидно, принадлежит к числу специалистов, увлекающихся излюбленным делом и придающих ему преувеличенное значение. По специальности он техник и художник. Много лет он состоит руководителем художественно-промышленных школ и классов и постепенно выработал общий приготовительный курс упражнений и занятий, одинаково пригодный для перехода впоследствии на различного рода технические и художественные специальности. Четыре пятых его книги посвящены детальному изложению этого курса. Это свод заметок и мыслей, заносившихся, как видно, у самого дела и в разное время и не особенно тщательно обработанных в литературном отношении. В них много повторений, есть недомолвки и встречаются даже не вполне согласованные друг с другом положения. В общем, как сказано, это, во всяком случае, составляет и интересное и содержательное целое. Но ближайшее знакомство с этим отделом книги не оставляет никакого сомнения, что при разработке своего метода автор имел в виду только потребности технического и художественного образования.

Мысль о возможном значении этого метода для выполнения общих задач воспитания и обучения сложилась у него, несомненно, позднее, когда метод в общих основаниях был уже готов, и сложилась под влиянием одностороннего, чисто профессионального понимания этих общих задач. Он жалуется на отсутствие у молодежи подготовки к практической деятельности (work, action). Но эту деятельность он понимает почти исключительно как деятельность техническую, ремесленную и художественную. Все усилия современного воспитания, по его мнению, должны быть направлены к подъему художественно-промышленной производительности, к увеличению количества и усовершенствованию качества продуктов материального порядка. Все остальное, не материальное, придет само собою, как необходимое последствие правильного развития общих технических навыков и склонности к работе. Понятно, что с этой точки зрения выработанный им “Новый метод” должен представляться ему своего рода откровением, способным преобразовать всю современную педагогическую систему.

В этом преувеличенном представлении о значении “Нового метода” именно и заключается существенная слабая сторона книги Л. Тадда.

Рассмотрим этот метод с точки зрения профессионального его назначения. Упражнения, к которым он прилагается, не новы. И рисование, и лепка, и резьба по дереву всегда в большей или меньшей степени входят в методический курс художественно-промышленного образования. Новое в этом методе — это, во-первых, общий пропедевтический характер этих упражнений и их тесная взаимная связь, тогда как при заурядном обучении они по большей части стоят как независимые друг от друга упражнения; во-вторых, вполне определенное и направленное к одной цели назначение этих упражнений: развитие технической ловкости руки, глазомера и суждения, или, как он говорит, развитие координации в работе рук, глаза и мозга.

Он много думал о влиянии упражнения на приобретение навыка в работе и, очевидно, тщательно изучал этот вопрос и на практике и в теории. В его книге встречаются цитаты из Маудсли, Чарльза Белля и других авторитетов по вопросу о психофизиологическом влиянии упражнения. Вообще вопрос об упражнении, в применении не только к тем отраслям, которые входят в его пропедевтический курс, но и ко всякой работе, принадлежит к наиболее разработанным частям его книги. Тут есть идеи и наблюдения, которые можно рекомендовать для сведения руководителям и учителям всякого рода упражнений и физического и духовного порядка. Установление параллельных, друг друга дополняющих и подкрепляющих занятий по рисованию, лепке и резьбе является прямым последствием этой вдумчивости в вопросе о влиянии упражнения. Одновременная и однородная работа в различных по сопротивлению и по консистенции средах, без сомнения, представляет наиболее благоприятное условие для выработки того автоматизма и той дисциплины в движениях руки, которые Л. Тадд считает основным условием настоящей художественной и ремесленной работы.

Он много думал также и об условиях эстетического развития своих учеников, как в области формы и красок, так и в приемах исполнения работы. О требованиях его со стороны исполнения мы скажем ниже. Что же касается образцов для упражнений, то, группируя их по степени их поучительности для развития техники, он всегда имеет ввиду и их художествен-

ное значение. Постепенно он раскрывает перед учениками широкую область орнаментальных форм, обнаруживая, однако, видимое пристрастие к условным, симметрическим и плавным формам греческого орнамента и эпохи Возрождения и пользуясь сравнительно очень умеренно своеобразными и иногда высокоизящными формами средневекового и восточного искусства.

Непосредственному знакомству с природой, на недостаток которого он так горько жалуется в своем предисловии, отведено в его методе довольно скромное место. Правда, ученики его рисуют с натуры, даже, как мы видели, со свободно движущихся живых экземпляров, к концу курса они составляют даже схематические таблицы добытых ими наблюдений, но все это делается в ограниченном круге единиц и элементов, могущих дать материал для орнаментных форм.

Они во множестве воспроизводят на бумаге, из глины и из дерева разнообразные формы листьев, раковин, насекомых, рыб, птиц и пр., но, по-видимому, никогда никто из них не пытается воспроизводить того дерева, на котором растут эти листья, тех условий видимой обстановки, в которых живут и движутся эти живые формы. В течение всего курса ни одного упражнения, в котором ученик мог бы в выгодных условиях наблюдать и воспроизводить явления линейной и воздушной перспективы. Ни одного домика, ни одной открытой двери, ни одного кустика зелени, ни одного местного акцидента, хотя бы как случайной обстановки к зачерчиваемой особи. Все это тем более бросается в глаза, что в основание своего метода автор кладет развитие глазомера. Конечно, это — слишком ограниченное понимание общения с природой и слишком профессиональное, почти ремесленное развитие наблюдательности. В этом отношении метод Л. Тадда недалеко ушел вперед от заурядного метода обучения рисованию; но ведь последний пока еще и не претендует на ознакомление учеников с природой.

Все это еще более подтверждает, что “Новый метод” выработывался исключительно как метод художественно-промышленного образования и что общеобразовательное его значение понимается автором в очень узком смысле.

Заметим, что почти во всех своих методических положениях Л. Тадд несвободен от некоторых крайностей и преуве-

личений. Одна из таких крайностей заключается в требовании одинаковой ловкости обеих рук. Считаем не бесполезным остановиться на этом требовании. Когда задача упражнения состоит исключительно в правильном развитии самого человека, тогда вопрос о симметрическом и тождественном развитии правой и левой руки (ambidexterity) может еще иметь свое значение. В свое время этот вопрос был поднят знаменитым шведским гимназиархом П. Г. Лингом, и с тех пор принцип обоюдосторонности довольно последовательно проводится в шведской гимнастике¹. Но когда упражнение выполняется с целью выработки ловкости руки для какой-нибудь ремесленной или художественной работы, то вопрос об одинаковой способности к тождественным манипуляциям и правой и левой руки отпадает сам собой. Во-первых, сколько бы мы ни развивали в ученике эту способность, мы не достигнем идеального уравнения обеих его рук, а потому после перехода на самостоятельное дело он роковым образом будет работать только той рукой, в которой работа лучше спорится. Во-вторых, чтобы ни говорил Л. Тада, стремление заставлять при обучении мастерству делать одинаковую работу и правою и левою рукою непременно приведет к огромной трате времени, а главное — к несовершенному усвоению самого мастерства. Едва ли мы научились бы, за весь период нашего учения, четкому и скорому письму, если бы нас заставляли писать и правой и левой рукою; едва ли можно образовать порядочного скрипача, обучая его играть и с правой и с левой руки. Тут можно привести бесконечное число убедительных примеров.



Вопрос об обоюдосторонней работе в последнее время довольно часто поднимается при обучении физическим упражнениям и мастерствам. Мы должны заметить по этому поводу, что понятие обоюдосторонности совсем не такое простое, каким оно представляется при поверхностном к нему отношении. Что значит, например, научить человека писать левой рукою

¹ См. мою книгу: "Система шведской педагогической и военной гимнастики" (1889) и мою статью в Пед. Сб. в.-уч. зав. 1895: "Ручной труд и телесное развитие".

так же, как он пишет правой? Значит ли это, что он должен научиться писать левой рукой в ту же сторону, в какую он пишет и правой? Но в таком ведь случае не будет симметрического и тождественного развития обеих рук. Если же мы станем учить его писать левой рукой справа налево, то для кого же нужны такие его рукописи? Эти вопросы имеют значение для всякой профессиональной работы, и господам ревнителям обоюдосторонности следовало бы о них очень подумать. Л. Тадд тоже совсем не тверд в этом вопросе. Устанавливая аналогию между развитием рук и развитием ног, глаз и ушей, он, по-видимому, хочет именно симметрического и тождественного развития обеих рук, между тем, в подтверждение своего положения, он ссылается на большое число таких ремесел, в которых одна рука служит только необходимой помощницей для другой. Это уже совсем другое дело: никто и не станет работать одной рукой, когда работать обеими и удобнее и скорее.

Без сомнения, есть такие тяжелые виды профессиональной работы, которые заметным образом деформируют человека вследствие того, что вся тягость работы падает на одну сторону тела. Но помочь этому делу посредством введения в работу поочередно и той и другой стороны тела по большей части невозможно без нанесения большого ущерба самому мастерству. Оно только и может стоять высоко в том случае, когда человек работает наиболее упражненными и, по внутреннему его сознанию, наиболее приспособленными для того частями своего тела. Вопрос, чем должно жертвовать в период воспитания: навыком ли к профессиональной работе ради сохранения за человеком известных физических преимуществ или же этими преимуществами ради практически полезного навыка. История колебаний в ту или в другую сторону принадлежит к интереснейшим страницам истории так называемых физических упражнений. Мы на этом останавливаться не будем; скажем только, что одним из самых целесообразных коррективов против профессиональных деформаций в период воспитания служат правильно применяемые обоюдосторонние свободные гимнастические упражнения.

Есть много преувеличения и в настойчивой дрессировке руки с целью выработки автоматической свободы исполнения. Л. Тадд достигает в этом отношении поразительных результа-

тов. Но имеет ли значение для художественного и технического образования такая виртуозность?

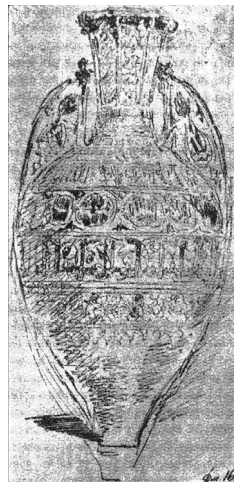
Тот род технической выучки, который в графических искусствах можно назвать каллиграфией, имеет, конечно, свое место в художественном образовании, но место очень подчиненное. Только искусной и хорошо упражненной рукой можно выразить именно то, что задумано, и именно так, как задумано. Но эта покорность человеческой руки всем оттенкам замысла совсем не одно и то же, что автоматическая ремесленная виртуозность, на приобретение которой в методе Л. Тадда тратится так много времени и так много сил. В искусстве и даже в ремеслах, поскольку они совместимы с творчеством, преобладание такой самонадеянной виртуозности не только не полезно, но даже вредно: ученик приучается ценить удачную чистоту ловко и с одного взмаха выведенной линии выше правильности начертания, и таким образом убивается другой, очень важный в художественном образовании элемент — именно элемент изыскания. Настоящая художественная графическая или пластическая работа основана всегда на эскизе, выражающем сначала общую мысль; эскиз подлежит не только детальной обработке, но нередко и переделке в главных чертах. Поэтому художественная ценность эскиза выражается не в безошибочных каллиграфических линиях, а в полном его соответствии замыслу художника. Очень часто в эскизах великих мастеров мы видим то, что называется *repentir* (переделка), и эти репантиры особенно поучительны как стремление к совершенному выражению мысли. В той же книге Л. Тадда помещен известный рафаэлевский набросок пером Мадонны со щегленком (*Madonna dell Cardellino*). Этот набросок очень далек от того каллиграфического щегольства, которым бьют в глаза рисунки по методу Л. Тадда, но этот набросок громко говорит о безусловном подчинении руки замыслу мастера. Прилагаем здесь случайно находящееся у нас под рукою факсимиле с рисунка мавританской вазы, сделанного Мариано Фортунни. Со стороны виртуозной чистоты линий этот рисунок не выдерживает никакого сравнения с рисунками на фиг. 6; он переполнен репантирами, а между тем, какой это драгоценный и поучительный набросок. Вы чувствуете, как проникновенно смотрел художник на свою модель, с какой тщательностью изыскивал он нужные ему про-

порции, и у вас не остается никакого сомнения, что он их нашел: вы испытываете полное эстетическое наслаждение.

Для воспитания руки и глаза, а вместе с тем для развития эстетического чувства эта последняя манера, манера настойчивого изыскания, конечно, имеет гораздо большее значение, чем достигаемая с таким трудом самоуверенная манера работы одним безошибочным взмахом по методу Л. Тадда.

Еще одна крайность, это — полное устранение орудий точности. Приготовительный курс по “Новому методу” намеренно построен так, что в нем нет ничего “конструктивного”, никаких соединений и прилаживаний частей работы. Идея этого курса — развитие естественных орудий человека, — руки, глаза и мозга — на простых элементах, при исполнении которых орудия точности — линейка, циркуль и наугольник — не могут и не должны иметь какого-либо утилитарного значения. Тем не менее, мы не видим основания для совершенного устранения этих орудий из употребления, особенно же при резьбе по дереву и при лепке. Допустим, что привычка постоянно пользоваться инструментами балует начинающего ученика, делает его беспомощным и отучает от самостоятельной оценки размеров и направлений и от уверенного начертания их от руки. Следует ли из этого, что учеников надо держать в течение всего подготовительного курса безо всякого пользования орудиями точности и даже без знакомства с ними? Очевидно, мы впадаем таким образом в другую крайность, мы совсем лишаем их возможности объективного удостоверения в непогрешимости их глазомера и суждения и приучаем их всегда удовлетворяться приблизительной точностью исполнения.

Есть благоразумная середина между воспитанием ученика в требованиях точности и развитием в нем глазомера и суждения. Л. Тадд в своем методе уклонился от этой середины очевидно в невыгодную сторону для воспитания точности.



Фиг. 16

То же самое можно сказать и об устранении из ручного труда всех рабочих инструментов (кроме стамески и молотка для резьбы и стеки для лепки).

Умение пользоваться инструментами есть тоже своего рода искусство рук и глаза, не менее важное, чем и умение работать без инструмента. Тут есть логическая ошибка, которая отразилась на всем построении курса.

Этими замечаниями мы закончим наш отзыв о книге Л. Тадда как об элементарном руководстве для профессионального образования. Несмотря на указанные нами крайности и увлечения, повторяем, что с точки зрения художественно-промышленного обучения эта книга и интересная, и поучительная. Она заставляет думать.

В другом свете представляется она как метод обучения рисованию и ручному труду в общеобразовательной школе.

Приготовительный курс в общеобразовательной школе мы признаем решительно ненужным. В самом деле, есть ли какое-либо основание держать учеников, не говорим уже о низшей, но и в средней школе, на продолжительном и требующем большой работы подготовительном курсе к такому делу, которое в лучшем случае может служить для них впоследствии разве предметом диетантского упражнения. Не будем забывать, что этот курс основан почти исключительно на механической дрессировке рук и глаза, что связь его с другими отраслями общеобразовательного знания очень слаба и очень искусственна и что он не дает ничего законченного, ничего такого, чем бы ученик мог воспользоваться, как он иногда пользуется теперь своими школьными приобретениями по рисованию и ручному труду. В рисовании по "Новому методу" он не получит никакого понятия о законах перспективы, о приемах изображения таких явлений видимого мира, которые выходят из области орнаментальных форм или обособленных единиц растительного и животного царства. Из курса ручного труда он выйдет безо всякого знакомства с орудиями точности и самыми употребительными инструментами; он не научится в этом курсе ни пилить, ни строгать, ни рубить, ни сверлить и, наконец, у него не будет никакого представления о способах соединения частей работы.

Автор мог бы возразить нам, что мы говорим только о подготовительном курсе; но, во-первых, его систематический

курс, по своему совершенно профессиональному характеру, совсем уже не пригоден для общеобразовательной школы; во-вторых, при том количестве времени, какое эта школа может уделять рисованию и ручному труду без ущерба для других учебных предметов, ученики ее не будут в состоянии дойти до систематического курса, пожалуй, даже и при семилетнем обучении и, следовательно, выйдут хотя и с тренированными в известном направлении руками, но, в сущности, и без рисования и без ручного труда, поскольку они нужны для непрофессионального обихода.

Мы не хотим сказать, что у Л. Тадда нет основательных идей об обучении рисованию. То, что он говорит, например, о влиянии рисования на развитие наблюдательности, очень верно. Но на практике он жертвует этими идеями для профессиональной цели. Замечательно, что в теоретических своих взглядах на рисование как на предмет общего образования он часто сходится с талантливым французским архитектором Виоле-ле-Дюком. Иногда у него встречаются почти дословные повторения мыслей из известной “Истории рисовальщика”, хотя, по-видимому, он и не знаком с этой книгой. Но в развитии своего метода он далеко уступает Виоле-ле-Дюку. Ему недостает той широты художественного понимания, того просвещенного взгляда на педагогические задачи рисования, которыми в особенности отличается популярная, мастерски написанная книга французского автора¹.

V

После всего сказанного притязание Л. Тадда на универсальное педагогическое значение “Нового метода” представляется, по меньшей мере, самонадеянным.

По сравнению с другими новаторами нашего времени, имеющими “свой” идеи о воспитании, ему можно отдать справедливость только в одном отношении: он не мечется в бессис-

¹ Виоле-ле-Дюк. История рисовальщика. Изд. журн. “Семья и Школа”. 1882 (Viollet-le-Duc. Histoire d'un dessinateur).

темном навязывании школе самых разнообразных, а иногда и очень эксцентрических родов занятий и времяпрепровождений, часто не имеющих ничего общего с серьезными задачами общего образования. Он предлагает, по крайней мере, определенное и разработанное на практике дело. Он только ошибочно обобщает его значение и из дела профессионального хочет возвести его в дело педагогическое.

Но по какому бы методу мы ни преподавали рисование и ручной труд, этими занятиями мы можем принести делу воспитания только частную пользу. Допустим, что наши дети выходят из школы без склонности и без способности к делу. Но разве же одной тренировкой руки, и притом тренировкой в специальном деле воспроизведения видимых форм, можно восполнить этот пробел современного воспитания? Неужели же все человеческое дело сводится только к графике и пластике? Ведь это только очень частный случай работы, и притом в частной области одних только зрительных представлений.

Все, что говорит Л. Тадд о недостатках рутинных приемов воспитания, было уже сказано раньше него великим ревнителем естественного воспитания и реального знания. В сущности, Л. Тадд только повторяет мысли Руссо. Но какая разница в понимании духовных и физических потребностей развивающегося человека и средств для удовлетворения этих потребностей. Руссо тоже придает значение рисованию как средству умственного развития, и если не говорит прямо об упражнениях над пластическим материалом, то очень определенно указывает на необходимость “сопоставлять зрение с осязанием, чтобы приучить глаз передавать нам верные сведения о формах и расстояниях”. Но он очень далек от того, чтобы придавать этим упражнениям такое исключительное значение, какое силится придать им Л. Тадд. Напротив, он именно настаивает на необходимости гармонического развития всех органов чувств и на развитии всесторонней способности выражения своих мыслей. Пусть, говорит он, — дитя сравнивает одно с другим единовременные впечатления зрения и слуха. Так, например, оно заметит, что всегда прежде видна молния, а затем слышен гром. Голос как активный орган отвечает пассивному — слуху; оба взаимно развивают друг друга. Приучайте воспитанника говорить без запинки, внятно, непринужденно и громко, так, что-

бы его понимали; научите его петь верно и благозвучно; обратуйте его слух для такта и гармонии. Далее Руссо настаивает на необходимости развития вкуса и обоняния, тоже в связи с другими внешними чувствами, и заключает так: “Из надлежащего употребления всех внешних чувств вытекает шестое, а именно общее чувство. Оно помещается в мозгу; его внутренние ощущения называются понятиями и идеями. Количеством этих идей определяется объем наших познаний; точность и ясность их называется человеческим разумом”.

С этой точки зрения “Новый метод” Л. Тадда, основанный на выработке координации только в работе рук, глаза и мозга, представляется методом чрезвычайно односторонним, гораздо более односторонним, чем это кажется при поверхностном знакомстве с его книгой. Не говорим уже, что тут все сосредоточено на развитии только глаза и осязания; но и самое развитие этих органов чувств замкнуто у него, как мы видели, в очень узкие рамки профессиональной тренировки. Все сводится к ограниченной по своему назначению работе рук над воспроизведением предметов из ограниченной по своему содержанию области видимых форм.

Мы остановились на разборе книги Л. Тадда, может быть, доле, чем это требовалось для общего знакомства с “Новым методом”. Но мы сочли это не бесполезным ввиду неустойчивости взглядов на задачи и значение рисования, ручного труда и других практических занятий в общем круге воспитательных и образовательных упражнений. Замечательно, что многие смотрят на эти занятия главным образом как на противовес книжному учению. Так на них смотрит и Л. Тадд. Руссо не хотел, чтобы Эмиль до 12-летнего возраста знал, что такое книга. Повторяя эту мысль и необдуманно преувеличивая ее настоящее значение, Л. Тадд горячо обрушивается на книгу. Здесь не место вдаваться в очень серьезный и сложный вопрос о значении книги в духовной жизни современного нам человечества. Но мы не можем не заметить, что книгоненавистничество принимает в наше время характер известного направления в педагогике и что иные добровольцы-педагоги способны доходить иногда до столбов в своем гонении на книгу. Припоминаем полную тонкой иронии тираду, вложенную в уста педагога-реформатора одним известным английским

романистом и государственным человеком: “То, что вы называете невежеством, — говорит реформатор, — есть наша сила. Под невежеством вы подразумеваете недостаток книжного знания. Книги пагубны; они — проклятие человеческого рода. Девять десятых существующих книг — бессмыслица, а умные книги суть опровержение этой бессмыслицы. Величайшим несчастьем, когда-либо выпавшим на долю человека, было изобретение книгопечатания. Книгопечатание погубило воспитание. Искусство — великое дело и наука — великое дело; но и искусство и наука могут быть раскрыты и преподаны человеком человеку непосредственно — голосом, рукой, глазом. Сущность воспитания состоит в воспитании тела. Красота и здоровье — главные источники счастья. Люди должны жить на воздухе; их упражнения должны быть правильны, разнообразны, научны. Первая обязанность человека — сделать свое тело сильным и гибким. Он должен развивать всю свою мышечную систему и совершенно овладеть ею. Чем я восхищаюсь в людях вашего класса общества (речь обращена к молодому лорду) — это тем, что они живут на воздухе; что они сильны в атлетическом спорте; что они могут говорить только на одном языке и что они никогда не читают. Это неполное воспитание, но это самое высокое воспитание со времени греков”¹.

Это совсем не так далеко от того, что проповедует нам Л. Тадд, предлагая свой “Новый метод” как универсальное педагогическое средство.

¹ Lotbair. By B. Disraeli. Т. I гл. XXIX.

А. Д. БУТОВСКИИ.

О ШКОЛЬНОМЪ
ТОВАРИЩЕСКОМЪ СУДѢ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. о., 5 л., 28.

1907.

О ШКОЛЬНОМ товарищеском суде



I

Представьте себе такой случай.

Во II классе на вечерних занятиях два кадета обращаются к воспитателю за помощью в учебных занятиях. Он берет к себе одного, а другого, до времени, посылает заниматься с кадетом Л. Но тот к кадету Л. не идет.

— Не хочу; я с ним не разговариваю. — Для воспитателя это новость. — Почему? — Мы все с ним не разговариваем, — заявляют кадеты. У воспитателя довольно такта. Он оставляет класс в покое и, выбрав время, подзывает к себе Л. Тот объясняет ему, что перед этим он взял из приемной комнаты чужое пирожное; товарищи сделали ему за это внушение и порешили не разговаривать с ним. — Почему же вы не сказали об этом мне? — спрашивает воспитатель у класса. — Если бы мы вам сказали, вы передали бы директору, а директор объявил, что при первом дурном поступке Л. будет удален из корпуса. Мы пожалели Л. и порешили сами с ним расправиться.

Этот случай, — докладывает воспитатель на комитете, — сильно повлиял на Л. Поведение его совершенно изменилось. Прошел уже год, а Л. не сделал ни одного проступка. Ему даже прибавлен балл за поведение.

Другой случай в том же корпусе, в старшей роте. Кадеты, возвращаясь из каникулярного отпуска в вагоне железной дороги, позволили себе пьянствовать, шуметь, вступили в брань с кондуктором, бросали из окна арбузные корки и вообще вели себя буйно. Были тут и благоразумные кадеты, пробовавшие уговорить их, но напрасно. Буяны продолжали безобразничать и обратили на себя общее внимание. Стороной дошло до

корпуса. Начальство взволновалось, но, опять-таки, с большим тактом воздержалось от розысков, а вместе с серьезным наставлением всей роты объявило, что этот случай вынудил его принять самую решительную меру, чтобы на будущее время такие безобразия не повторялись: по просьбе директора, командующий войсками сделал распоряжение, чтобы офицеры местного гарнизона строго следили за поведением отпускных кадет. Мера тяжелая для заведения, обидная для его доброго имени, но, ввиду случившегося, единственно необходимая и надежная. Лучшие элементы в роты живо почувствовали обиду, нанесенную буянами всему заведению, и виновные были потребованы к ответу. Состоялся товарищеский суд. Кто был привлечен к ответу, какой был вынесен приговор, — для начальства это осталось неизвестным. Наказания, — как докладывалось на комитете, — “кажется”, были очень строгие и состояли главным образом в лишении отпуска, для некоторых чуть ли не на целый год. Директор, по его словам, отнесся ко всему этому совершенно хладнокровно. Для него было важно, что принятые им меры пробудили в кадетях чувство корпоративной порядочности и заставили их по собственному почину выразить осуждение виновным товарищам. Можно надеяться, что такие безобразия повторяться не будут, и уже не из страха начальства, а из чувства товарищеского единения.

Еще один случай, в том же корпусе.

В первой роты стало замечаться брожение, от которого не легко уберечь в наше время юношей старших классов. Было основание думать, что некоторые кадеты увлечены превратными учениями и стараются распространить их среди товарищей. Можно было подметить страстные, хотя и тщательно скрывающиеся столкновения, очевидно, на партийной почве. Нетрудно было сделать расследование и удалить виновных по решению комитета. Но директор рассудил иначе. Удаление виновных по решению начальства не обеспечивает настроения остающихся в заведении, особенно, когда дело идет о политическом образе мыслей. Зараза может оставаться в их среде и незаметно продолжать свой разрушительный процесс. Надо было повести дело так, чтобы сама масса, как здоровый организм, выкинула из себя все болезненные образования и тем самым закалилась и окрепла для противодействия болезне-

творным началам. И вот, он обращается к первой роте с вескими словами, — тем более вескими, что кадеты очень верят в искренность и нравственную силу своего директора, — и предлагает им самим, своими собственными силами обсудить свои партийные дела, и если нужно, то привлечь агитаторов к ответственности перед товарищеским судом. “Участия нашего, — рассказывает потом директор на комитете, — в товарищеском суде не было; было, так сказать, наблюдение издали”. — В журнале комитета не выяснено, при каких условиях происходил этот товарищеский суд, но директор не ошибся в своих ожиданиях. Суд вынес строгий приговор заблудшим. Кадеты сами выдали имена их директору и присудили нескольких из них к удалению из корпуса. Приговор был настолько строг, что педагогический комитет не смог согласиться с постановлением товарищеского суда, и директору пришлось своей властью кассировать это постановление.



Эти и другие случаи, здесь не приведенные, естественно, должны были вызвать суждение о товарищеском суде в педагогическом комитете заведения. И действительно, этому вопросу было посвящено особое заседание.

Директор прямо поставил вопрос:

Признает ли педагогический комитет товарищеские суды в том их виде, в каком они до сих пор допускались в корпусе?

Говорили много и горячо и за, и против судов. Большинство высказалось за товарищеские суды. К большинству принадлежали почти все воспитатели и ротные командиры, люди, ближе других осведомленные о всех бывших случаях такого суда. Они твердо стояли на почве того, что было сделано. По их словам, к товарищескому суду в этом корпусе никогда не относились с опасением. За последнее время кадеты прибегали к нему как к средству, дозволенному в том случае, когда надлежало высказать осуждение какому-нибудь постыдному поступку, и, вообще говоря, случаи такого суда приводили в конце концов к хорошему результату. Замечалось в младших классах, два или три раза, что кадеты были склонны злоупотреблять правом товарищеского суда. Тогда воспитатель или ротный командир

брал это дело в свои руки и направлял его по справедливости. Ни один случай суда не прошел без ведома директора и, когда это требовалось обстоятельствами дела, он приходил на помощь воспитателю, беседовал с кадетами и высказывал свое верное заключение по поводу их отношения к поступку. При том направлении, какое дает товарищеским судам директор, возможность самостоятельного обсуждения в своей среде некоторых товарищеских дел представляет очень сильное средство для воспитания здорового общественного духа. От этого средства, по мнению говоривших, не только не приходится отказываться, но желательно было бы пользоваться им даже с самого младшего возраста, и в таком случае можно было бы сказать с уверенностью, что мы выпустим из корпуса надежно воспитанных молодых людей.

Противники идеи товарищеского суда, немногие, высказали опасение, что такие суды могут поставить воспитателей в тяжелое положение. Пока он будет на стороне судей, они, пожалуй, готовы будут хотя бы до некоторой степени подчиняться его руководству, но если, в силу справедливости, он найдет себя вынужденным стать на сторону пострадавших, то при той страстности, которая по большей части развивается в товарищеских распрях, его неминуемо заподозрят в лицепрятности, в посягательстве на товарищеские права, и это приведет к уменьшению его авторитета. Это до некоторой степени и случилось при товарищеском разборе дела о политическом образе мыслей. Вот почему к товарищескому суду, по мнению этих членов, надо относиться с большой осторожностью; во всяком случае, ему должна быть поставлена та грань, где он должен кончаться и где должно начинаться воздействие начальства.

Были члены, которых занимал и — пожалуй даже — волновал один только случай суда — по поводу политического образа мыслей. Они настаивали, что в этом деле на суд 17-летних юношей были отданы не проступки, так как комитет не признал виновными осужденных этим судом, а известный образ мыслей, в котором они по возрасту своему не могли разобрататься и к которому не могли отнестись с необходимым в таком деле беспристрастием. Страсти были уже возбуждены, а потому и этот суд не был судом товарищеским. Напротив, он шел вразрез с основными требованиями товарищества — не

выдавать виновных. Они были выданы начальству, и, следовательно, сам принцип товарищеского суда был нарушен. Но мало того, что судьи выдали товарищей, они вынесли приговор несправедливый и сами привели его в исполнение, потребовав, чтобы виновные немедленно удалились из корпуса. Приговор пришлось кассировать в комитете, и надо было улаживать дело, чтобы удаленные могли возвратиться в корпус. Такой суд не устанавливает, а портит товарищеские отношения и, следовательно, не воспитывает, а убивает общественное мнение.

На эти последние заявления был дан твердый ответ, что они основаны на неправильной точке зрения. Увлечение превратными идеями и попыткой к их распространению есть проступок, и большой проступок, особенно для воспитанников военных учебных заведений. Кадеты это понимали; они были возмущены попыткой образовать в их среде революционный очаг, а потому именно судьи и вынесли строгий приговор. Тут не было доноса. Виновные стали известны директору только после того, когда товарищи сами осудили их и потребовали, чтобы они немедленно удалились из заведения. Говорившие неправы, утверждая, что комитет не признал осужденных товарищеским судом виновными. Нет, они были признаны виновными; комитет только смягчил товарищеский приговор ввиду того, что виновные действовали не с полным пониманием. Особенно же ошибаются говорившие относительно того влияния, какое оказало это дело на товарищеские отношения в старшей роте. Директор все время наблюдал за ходом этого дела и может удостоверить, что, представив виновных товарищескому суду, он достиг именно того, чего желал: теперь в старшей роте есть единство настроения и образа мыслей, которое, конечно, не ослабляет, а укрепляет товарищеский дух.

Следует особо отметить, что во всех этих прениях чувствовалось больше доверия к директору и уважение к его педагогическому авторитету. Этим, конечно, объясняется и характерная особенность этих прений. Все члены комитета смотрели на это дело, как на дело домашнее, и приурочивали свои суждения к данным, конкретным случаям, доложенным на комитете. Вопрос о товарищеском суде, со стороны принципиального его значения, независимо от тех несомненно благоприятных условий, какими он обставлен именно в этом корпусе, почти

не обсуждался. Было два—три мнения принципиального характера, но они были высказаны как бы вскользь и с видимым намерением подкрепить значение товарищеского суда. Говорилось, между прочим, что товарищеские суды — явление не новое, что они существовали во все времена как выражение общественного мнения товарищеской среды. Указывалось на важное значение общественного мнения в том отношении, что оно устанавливает известную точку зрения на такие деяния и поступки, которые не предусматриваются никакими законами, и отсюда выводилось заключение, что с педагогической точки зрения уважение к товарищескому мнению и к товарищескому суду весьма полезно воспитывать в детях. Была сделана ссылка на Пирогова: он смотрел на товарищеские суды именно с этой точки зрения и ввел их в свое время не только в высших, но и в средних учебных заведениях для разбора проступков, кладущих пятно на товарищю или на заведение. Одним из членов было высказано пожелание, чтобы товарищеский суд, как это было и у Пирогова, происходил в присутствии воспитателя и чтобы судьи избирались не на каждый случай, а на известный продолжительный термин. Директор сочувственно отнесся к этому пожеланию, но оно не было предложено на обсуждение комитета.

В заключение, поставленный директором вопрос был подвергнут голосованию, и большинство высказалось за товарищеские суды.

II

Вынося такое решение, педагогический комитет обнаружил, с одной стороны, доверие к добрым нравственным чувствам воспитанников, с другой, — уверенность в собственных силах, т. е. в возможности всегда направить решение в желательную сторону. Но именно эта вера и в настроение воспитанников, и в значение своего авторитета, очевидно, и помешала почтенному собранию рассмотреть этот серьезный вопрос о школьном товарищеском суде с той осторожностью и вдумчивостью, какой он заслуживает.

Если бы в составе комитета находился чужой человек, ему, пожалуй, пришлось бы задуматься. Во всяком случае, у него родилось бы много таких вопросов, которые в комитете не были затронуты.

Ставлю себя в положение такого человека. Излагаю несколько мыслей как свое особое мнение.

Начну с того, что товарищеский суд — понятие неопределенное и что комитетские прения не способствовали его выяснению.

Во всех доложенных случаях не было собственно суда, как это понимается в английских *public schools*, где есть судьи, выбираемые на известный термин из старших воспитанников, утверждаемые ее директором и собирающиеся для произнесения своего суждения по особому рода товарищеским проступкам. На комитете о процедуре суда почти не было даже и речи. По поводу последнего случая, политического, был намек, что собственно для этого дела были выбраны судьи, но об остальных случаях мы знаем только, что воспитанники, класс или рота, недовольные поведением своих товарищей, произнесли над ними приговор и сами привели его в исполнение. Но если не было организованного суда, то, значит, судила масса, толпа, а это совсем другое дело, чем организованный суд, до того другое, что этого нельзя даже назвать судом. К этому мы еще возвратимся.

Дальше, хотя по поводу последнего (политического) случая в комитете и были особые разговоры, но в сущности комитет не обратил даже внимания на капитальную разницу между этим последним случаем и другими. Тут, в последнем случае, само начальство *отдало* дело на товарищеское решение. Во всех остальных случаях воспитанники привлекали своих товарищей к ответственности *сами*, по собственному почину. Начальство об этом суде знало, или узнавало потом, но держало себя совсем в стороне. Отношение его к этим судам заключалось только в том, что оно *допускало*, в уверенности, что воспитанники сумеют сами разобраться в своих товарищеских делах. Не нужно много говорить, что суд, производимый по распоряжению начальства, и по педагогическому, и по принципиальному своему значению, — нечто совсем другое, чем суд, право которого присваивают себе сами воспитанники.

Комитет этого не выяснил. Он положил свою санкцию на товарищеский суд в той неопределенной, пожалуй, случайной его форме, в какой он складывался в школьной среде, и признал одинаково допустимыми и суды по распоряжению начальства, и суды по почину самих воспитанников. Правда, было сделано предложение об избрании судей на некоторый продолжительный срок, но оно не обсуждалось и осталось без последствий.

При установлении товарищеского суда как меры воспитательной все такие вопросы получают капитальное значение. Над ними очень и очень можно подумать.



В комитете было замечено, что школьные товарищеские суды — явление не новое. Действительно, наклонность школьного юношества к самоуправлению и к самосуду так же стара, как и сама школа. Но одно обстоятельство, само по себе, равно ничего еще не говорит ни за, ни против суда. Несмотря на многовековое его существование, о нем до сих пор еще не сложилось определенного мнения, и всякий раз о нем приходится говорить как бы сначала.

По этому вопросу существуют диаметрально противоположные точки зрения. Педагоги в большинстве смотрят на наклонности школьников к самосуду как отрицательное явление школьной жизни, к которому надо относиться с осмотрительностью. Другие, напротив, видят в товарищеском самоуправлении вообще и в товарищеском суде воспитывающую силу большого значения.

Это — крайние точки зрения, и, как всегда, истина, вероятно, не в них. Но чтобы хоть до некоторой степени приблизиться к истине, надо обстоятельно разобраться в этих крайностях.

Недоверие к школьной товарищеской среде как к судебной инстанции имеет свое основание.

Все мы знаем, какое значение имеет для мальчика среда его школьных товарищей. Если с одной стороны он испытывает влияние воспитателя, то с другой — на него влияет с такой же, если еще не с большей силой, среда товарищей. Влияние товарищей — и педагогам это тоже хорошо известно — не всегда содействует влиянию воспитателя; напротив, бывают случаи, и

нередко, что товарищеское влияние идет совсем вразрез с влиянием воспитателя.

Вдумываясь в такие случаи, мы должны будем прийти к заключению, что противодействие товарищеской среде происходит иногда совсем не потому, что в ней есть элементы, враждебные воспитанию, а просто только потому, что это товарищеская среда, масса, имеющая коллективные психологические особенности и стремящаяся к самостоятельному их проявлению.

Школьная товарищеская среда (как, впрочем, и всякая другая) объединяется общностью интересов. Для школьников эти общие интересы особенно дороги потому, что по их возрасту они для них понятнее и ближе, чем все те другие интересы, которые взрослые люди стараются привить им путем воспитательного воздействия. Они могут не заключать в себе ничего такого, что могло бы подлежать осуждению воспитателя, и тем не менее, по закону стадности, товарищеская среда ревниво их оберегает. Воспитатель не товарищ, и этого довольно. Его могут уважать и любить, но в товарищеских делах он никогда не будет иметь полноправного авторитета. Другими словами, товарищеская среда, даже наилучшим образом настроенная, всегда стоит в некотором хроническом антагонизме к воспитателю. В ней свое особенное общественное мнение, свой особенный взгляд на все школьные дела, своя особенная оценка всех поступков своих сочленов. Все это может быть очень невинно, но всем этим создается известное скрытое напряжение, которое, при всяком посягательстве на товарищеские права, может обратиться в открытое противодействие. Все явления школьной жизни, от правила не выдавать товарищей до так называемых массовых беспорядков, кроются именно в этой постоянно скрытой энергии товарищеской массы.

Во внутренних своих делах масса, даже в спокойном состоянии, даже хорошо настроенная, деспотична и своевольна. Установившиеся в ней обычаи она возводит в закон и требует слепого его исполнения от каждого, входящего в ее состав. Нарушители считаются отщепенцами, и масса всегда стремится не только произвести над ними свой приговор, но и непременно самостоятельно, своими силами привести этот приговор в исполнение. В этом, собственно, и заключается товарищеский

суд в его простейшей, элементарной форме. Тут обыкновенно нет какой-либо особенной процедуры, нет судей, облеченных какими-либо полномочиями; все делается просто, по взаимному уговору, иногда даже по безмолвному соглашению. Товарищеская кара, в лучшем случае, имеет характер нравственного воздействия на виновного — с ним прекращают всякие отношения. Но если это человек непокорный, дело доходит и до насилия, и до создания для него невозможных условий жизни. Отличительная особенность товарищеского приговора — его безапелляционность. Прибегать к защите, жаловаться нельзя. Всякая попытка вмешаться в приговор, будь это не только воспитатель, но даже товарищи другого класса, другого возраста, неминуемо встречает противодействие. Это одна из очень обыкновенных причин ссоры между классами.

В этой элементарной форме товарищеский суд существует везде, где есть школьная среда. Его не изобретают; он складывается сам собой, вследствие присущего массе (коллективной единице) инстинкта подчинять себе всякую индивидуальную волю. В зачаточном состоянии он существует даже там, где у воспитанников нет сознания, что он у них есть.

Из сказанного видно, что, по существу, товарищеский суд — явление, не всегда содействующее воспитательной задаче школы.

Предвижу — скажут, что тут очень сгущены краски, что если нечто подобное и наблюдается, то редко. Но когда дело идет о санкции товарищеского суда как меры воспитательной, и к тому же в этой элементарной его форме, надо предвидеть даже и то, что составляет редкую случайность.

Допускаю, что иногда в некоторых заведениях, у некоторых воспитателей товарищеская среда охотно подчиняется авторитету школы и не обнаруживает наклонности к замкнутости, протесту и самосуду, но утверждаю, что именно эти последние явления очень редки и что даже в такой воспитанной и покорной среде инстинкты массы, инстинкты коллективизма живут бессознательно и могут пробудиться при первом неловком посягательстве на товарищеские права или же при замешательстве во внутренних товарищеских делах.

Эти свойства массы можно подметить даже и в тех случаях суда, которые были доложены на комитете. Они не вырази-

лись резко только благодаря большому такту воспитательского состава. Во II классе воспитатель поговорил сначала с самим осужденным и только тогда обратился к классу. Могло случиться, что если бы он сразу спросил у всех — почему они с ним не разговаривают? — то эти, несомненно, хорошие мальчики, решившиеся спасти товарища, ничего бы ему не ответили. Вышел бы неприятный инцидент. В первой роте начальство до сих пор не знает и не пытается узнавать, кого осудили за дурное поведение в отпуске и к чему их приговорили. Оно понимало, что любопытство было бы вторжением в товарищеские дела и, может быть, испортило бы все дело. Даже в последнем случае, когда суд происходил с разрешения директора, воспитанники самостоятельно постановили свой приговор и привели его в исполнение. Припомним, к тому же, предостережение одного из членов комитета, вынесенное из личного опыта, что к товарищеским судам надо относиться с осторожностью, так как они могут подрывать авторитет воспитателя. И это в заведении, в котором масса, очевидно, хорошо настроена.

Но ведь бывает, что дело обстоит и не так хорошо. Бывает, что товарищеская среда не связана доверием со своим воспитателем. Кому же не известно, что это действительно бывает и что это не всегда даже можно поставить в вину воспитателю. Дисциплинировать массу не так трудно, но для нравственного ее подчинения надо иметь особенный дар. И вот, когда этого нет, товарищеская среда может превратиться в толпу со всеми низменными психическими свойствами разнuzданного сборища: сознание безответственности, повышенная возбудимость, полная недоступность для доводов здравого смысла и слепая готовность подчиниться всякому случайному вожаку, умеющему льстить ее массовым инстинктам.

Неудобно ссылаться на авторов, писавших “в отместку” своим заведениям. Им не дано ни видеть, ни понимать светлых сторон жизни, но “гадости” они умеют хорошо подметить. Припомните товарищеский суд над мальчиком-фискалом в “Кадетах” Куприна, припомните возмутительное отношение “корнетов” к “зверям” в “Записках юнкера” Райского, откиньте то, что причитается на долю авторской “отместки”, и вы получите довольно верную характеристику выбившейся из рук товарищеской среды.

Впрочем, стоит только оглядеться в настоящее время вокруг нас на этот позорный всеобщий развал. Дальше, кажется, некуда идти.

С такими свойствами массы мы обращаться не всегда умеем.

Вот те соображения, которыми можно подтвердить мнение педагогов, высказывающихся против товарищеского суда как учреждения, допустимого при всяких обстоятельствах.

III

Есть и другая точка зрения.

Среда влияет, следовательно — среда воспитывает. Она воспитывает, может быть, не совсем так, как бы мы того хотели, но воспитывает и достигает в этом отношении более прочных, устойчивых результатов, чем воспитатель. Мы знаем, что товарищеская среда каждого заведения имеет свои отличительные свойства, свое лицо. Мало того, каждый класс, каждое отделение имеет свои особенности. Может быть, это зависит до некоторой степени от тех или других порядков заведения, но по большей части это слагается в самой среде и накладывает свой отпечаток на каждого ее члена, иногда на всю последующую его жизнь. Я воспитывался в таком-то заведении, — с гордостью говорят нам старые люди. И если господа Райские и Куприны брезгливо вспоминают о своей школьной среде, то это исключение. Большинство, даже сознавая ее слабые стороны, вспоминает о ней с теплым чувством, вспоминает иногда так, как не вспоминает о воспитателях.

Ввиду такого, несомненно, воспитывающего влияния среды школа, по мнению защитников товарищеского суда, должна была бы относиться с доверием к общественному мнению воспитанников. Может быть, это общественное мнение потому так часто и стоит в антагонизме с воспитательным режимом школы, что школа относится к нему недоверчиво и старается подавить всякое, даже невинное его проявление. Покажите, что вы придаете значение общественному мнению, и вы увидите, что оно охотно пойдет вам навстречу и подчинится вашему руководству. Доверие — большая сила, особенно по отноше-

нию к массе. Оно ее покоряет и, раз такое взаимное доверие установлено, вы можете без опасения отдавать товарищеские дела на обсуждение самих воспитанников. Они не обманут вашего доверия, и вы получите новое могущественное воспитательное средство, какого в настоящее время вы не имеете в своем распоряжении.

Так говорят защитники товарищеского суда. На этой точке зрения стоял, по-видимому, и начальник заведения, внесший вопрос о товарищеском суде на обсуждение педагогического комитета.

Мы должны признать, что воспитанники во всех случаях оправдали его ожидания. Товарищеский суд был воспитательной мерой не только для судимых, но и в особенности для самой среды. Вынося свое осуждение тому или другому проступку, масса, в свою очередь, утверждалась в известных нравственных принципах. В среде, которая осудила своих товарищей за дурное поведение в отпуске, конечно, слагается твердый и определенный взгляд на этот проступок и как на отступление от нравственной нормы, и как на свидетельство неуважения к заведению. Среда, осудившая своих товарищей за революционный образ мыслей, может считаться обеспеченной на будущее время от проникновения в нее политической заразы.

Все это было, и мы обязаны воздать полную дань уважения заведению, в котором масса, благодаря большой работе директора и воспитателей, стоит на таком высоком уровне нравственного воспитания.

Тем не менее, и эти выдающиеся случаи, и указания на воспитательное значение школьной среды не вносят никакой поправки в характеристику школьной массы.

Мы видели уже, что даже в этом заведении товарищеская среда, несмотря на оказываемое ей доверие, оставалась до некоторой степени замкнутой, следовательно, даже и при таких исключительно благоприятных для нее условиях не поступилась своими товарищескими правами.

Воспитательное влияние товарищеской среды действительно велико. Когда масса живет мирной жизнью, когда она не превращается под влиянием случайных возбудителей, внешних или внутренних, в толпу, в товарищеском общении есть свои светлые стороны, дорогие для мальчика. Среда живет по-

вышенным, юношеским настроением. В ней создаются теплые дружеские связи, она учит самоотречению, в ней воспитывается корпоративный дух, в ней закладываются зачатки гражданского мужества, пожалуй, — героизма... Школа должна бережно относиться к этим свойствам. Их нельзя подавлять, тем более, что одними приемами индивидуального воспитания их нельзя насадить в воспитанниках. Они развиваются только в товарищеском общении.

Но очень ошибочно думать, что такое влияние всегда обуславливается высотой нравственного идеала. Нет, это просто товарищеские инстинкты, которые под влиянием того же товарищества могут направляться и в ту, и в другую сторону. Товарищеская нравственность, как известно, очень условна. Мы видим, что интересы среды сосредоточиваются, главным образом, на обеспечении массовой объединенности и самостоятельности, и притом нередко они стоят в антагонизме именно с теми нравственными идеалами, об утверждении которых заботится школа. Ложь, например, в товарищеском кругу преследуется как бесчестный поступок, но обмануть воспитателя или учителя считается очень дозволенным. В английских школах, где ложь жестоко карается, есть даже особое выражение для обманов, жертвой которых бывают учителя, — это “белые обманы” (white lies), не идущие в счет. Но в товарищеском кругу смотрят так своеобразно не на одну только ложь... Повторяем, трудно найти такую очищенную товарищескую среду, в которой не было бы даже зачатков своеобразной корпоративной морали.

Если это так, а я думаю, что этого никто не станет отрицать, — то вопрос о товарищеском суде, — будет ли право такого суда представлено начальством или захвачено самими воспитанниками, — не разрешается этими ссылками на воспитательное влияние среды и ее общественного мнения.

То несомненное, что мы можем установить в этом вопросе, заключается лишь в следующем: товарищеский суд может представить иногда очень полезную воспитательную меру, но иногда он превращается в уродливое явление, решительно нетерпимое в благоустроенном воспитательном заведении. При этом надо в особенности отметить, что первое бывает, к сожалению, реже, чем последнее. С уклонением товарищеского

общественного мнения от элементарных требований порядка, общежитейской порядочности и даже нравственности приходится часто бороться; случаи товарищеского суда, на которые можно указать как на свидетельство известного нравственного подъема товарищеской среды, не очень обыкновенны. Довольно того, что мы отмечаем такие случаи и ставим их себе в заслугу.

Причины такого положения дел очень сложны. Они заключаются, с одной стороны, в психических свойствах товарищеской среды как массы, об этом мы уже много говорили в предыдущей главе, с другой — в нас самих, в нашем отношении к массе. Скажу несколько слов об этой последней причине.

Все мы, и по нашей педагогической подготовке, и по установившимся взглядам на воспитание, гораздо больше сведущи в вопросах индивидуального воспитания, чем воспитания массы. Мы склонны думать, что заботливое воспитание каждого отдельного ученика служит единственным залогом хорошего настроения массы. В этом, думаю, одна из крупных ошибок школьного воспитания вообще. Замечательно, что даже Инструкция по воспитательной части для кадетских корпусов не включает в себе почти никаких указаний относительно воспитания массы. Она придает значение установлению добрых и честных отношений между воспитанниками, дружеским связям в годы юности, влиянию товарищей друг на друга, благородному общественному духу и рекомендует ни под каким видом не терпеть доносов на товарищей, а напротив, поощрять воспитанников исполнять разумные требования доброго товарищества, отнюдь не прибегая, разумеется, ко лжи и обману (параграф 73). Но во всех подобных предписаниях имеется в виду преимущественно, даже исключительно, влияние отдельных личностей. Понятие товарищеской среды в ней не установлено. Вопрос о массе затронут в ней один только раз, по поводу наложения огульных взысканий: в случае нарушения порядка целой массой не надо налагать отдельных взысканий, а надо при помощи “уместных в данном случае воспитательных приемов открыть в массе воспитанников действительно виновных”. При этом еще раз подтверждается, что “отнюдь не следует вызывать явные, а тем более тайные показания товари-

щей друг на друга, в особенности же, когда общий проступок не представляется резко предосудительным в глазах самих воспитанников” (параграф 56). К числу общих воспитательных средств (следовательно, средств воспитания массы) Инструкция относит: “установление порядка в жизни кадет, производительное наполнение внеклассного времени, постоянный надзор над воспитанниками и неослабное поддержание школьной дисциплины” (параграф 42). Итак, надзор, дисциплина, педагогический розыск и некоторое, далеко не определенное, указание относительно ненарушимости товарищеского правила “не выдавать”, — вот все, что мы находим в нашей Инструкции по вопросу воспитания массы. Если же при соблюдении всех этих требований масса оказывается не в наших руках, дефект надо искать в индивидуальном воспитании.

Без сомнения, присутствие в товарищеской среде отдельных единиц, выдающихся по своим душевным свойствам в хорошую или дурную сторону, оказывает свою долю влияния на настроение массы. Поднимая значение хороших воспитанников и сдерживая дурных, воспитатель может до некоторой степени управлять этим настроением. Мы это и делаем, но практика показывает, что это не всегда удается. Кажется, в классе нет дурных воспитанников; кажется, хорошие мальчики, каждый в отдельности, доверчиво относятся к воспитателю, а между тем масса, в своих товарищеских делах, остается для него замкнутой¹. По этому поводу довольно уже было сказано: товарищеские обязательства для каждого воспитанника не менее дороги, чем отношения его к воспитателю. Из этого естественный вывод, что одного индивидуального воспитания недостаточно для подъема нравственного идеала массы.

Воспитывать массу можно только непосредственным на нее влиянием как на коллективное целое, и для этого надо дать себе ясный отчет в ее свойствах. Масса как целое, даже в спокойном состоянии, трудно поддается убеждениям и доводам. С этой “психологией непонимания”, отличительной особенностью массы, воспитателю часто приходится считаться. Но

¹ “La morale et la conduite de l’homme isolé sont fort différentes de celles du même home dès qu’il fait partie d’une collectivité”. *Gustave Le Bon*.

на массу очень можно действовать чувством, образами, примером; она очень чутка к проявлению искренности, доверия, великодушия, решимости и твердой воли. Когда воспитанники чувствуют присутствие этих качеств в воспитателе, они охотно, всей массой, подчиняются его влиянию.

При таком настроении массы вопрос о товарищеском суде разрешается просто: воспитатель может без опасения представлять некоторые товарищеские дела на обсуждение самих воспитанников, и если он действительно владеет массой, то ничего не помешает ему самому руководить такими совещаниями.

Высказываю твердое убеждение, что только при таких условиях товарищеский самосуд можно признать воспитательной мерой. В настоящем значении этого слова.

Возможно, что даже и в такой воспитательной среде останется негласный самосуд, независимый от почина воспитателя. Вывести его совсем из нравов школьной среды едва ли по силам современной школе; довольно, если товарищеские приговоры не будут подрывать ее влияния. Но, как бы ни была надежна среда, формальное предоставление ей права такого самосуда, по собственному ее почину, не вызывается никакими соображениями воспитательного свойства. Об этом уже довольно сказано.



Возвращаюсь к решению педагогического комитета. Он не разобрался в этих вопросах и наложил свою санкцию на товарищеский самосуд безразлично, во всех ее видах, в каких он имел место в заведении.

После всего сказанного мы имеем возможность дать достаточно обоснованное заключение по поводу этого решения.

Надо поставить совсем особо последний (политический) случай. Дело было отдано на товарищеское решение директором. На комитете нашли, что тут было нарушение правила — не выдавать товарищей. Но в этом-то и заключается чрезвычайно важное значение этого случая как педагогической меры. Воспитанники сами поняли, что бывают такие обстоятельства, когда нельзя покрывать виновных. Это была большая победа.

да над стремлением школьной среды к замкнутости, и следовательно, это был верный шаг в деле воспитания массы. Но это — совсем исключительный случай. Не у всякого достанет решимости отдать такое дело на суд самих воспитанников. Не везде среда воспитанников так твердо настроена, чтобы можно было бы без колебаний положиться на ее решение. А поэтому мы можем смотреть на такие случаи как на поучительные примеры. Они стоят вне сравнения с обыкновенным самосудом, но значение общепринятой педагогической меры они, конечно, иметь не могут.

Другие случаи, доложенные на комитете, представляют типичную форму самосуда по почину самих воспитанников.

Товарищеские решения соответствовали намерениям начальства, потому что это заведение живет в исключительно благоприятных для того условиях. Можно допустить, что пока масса находится в руках таких людей, и последующие случаи самосуда пройдут более или менее благополучно. Но даже и при таких условиях с товарищеским самосудом, устраиваемым самовольно, надо обращаться очень осмотрительно. Предоставляя воспитанникам право такого самосуда, даже просто — одобряя его безмолвно, воспитательная власть добровольно слагает с себя часть своих обязанностей и передает их той школьной среде, которая находится в заведении не для того, чтобы воспитывать, а чтобы быть воспитываемой, и в которой и без того живет скрытый инстинкт самосуда и самоуправления. При самых лучших условиях такое добровольное самоотречение заключает в себе опасные стороны. Предоставляя товарищеский самосуд на добрую волю самих воспитанников, заведение как бы внушает им мысль, что воспитательная власть может быть ограничена, и даже, пожалуй, — что она бессильна. Нынешний состав воспитателей этого не опасается, и воспитанники до сих пор не злоупотребляли этим расширением их товарищеских прав. Но обстоятельства меняются. На смену нынешнему составу придет другой, настроение воспитанников может измениться, и дело может принять совсем другой оборот. Кто же может поручиться, что нынешняя воспитательная мера не заключает в себе заразы разложения.

Дать права легко, но отнимать их очень трудно.

IV

В заключение следует сказать несколько слов о выбираемых судьях. В английских общественных школах (Гарроу, Регби и др.) всеми товарищескими делами ведают воспитанники старшего класса (Sixth form). Они же являются и верховными судьями во всех таких делах. Судят либо все, либо нарочно выбираемые судьи. Суд всегда происходит с ведома директора школы, но воспитанники имеют право не называть виновных. “Судьи наказывают сами, либо назначением штрафного урока (pensum), либо ударами трости, согласно уставу, по спине или по рукам. С этой целью они иногда, подобно римским центурионам, носят при себе трость — символ их власти. Юрисдикция их не безапелляционна. В хорошо организованных школах виновный, которому угрожает ее действие, может одним словом остановить удар, потребовав кассации приговора от собрания всех мониторов или начальника заведения. К апелляции иногда прибегают, но редко случается, чтобы приговор был кассирован, так как редко наказание бывает несправедливым”¹.

В свое время в статье “Старшие и младшие ученики в закрытой школе” (Разведчик, 1902, № 586) я старался выяснить, какое важное значение может иметь в закрытом заведении хорошо организованное влияние старших воспитанников на младших. Военно-учебные заведения, в которых принято назначать в младшие роты старших кадет, имели много случаев убедиться в целесообразности этой меры. Но предоставление старшим воспитанникам права суда и наказания во всех классах — это совсем другое дело. Прежде всего, это не в наших нравах и не в характере воспитания в наших заведениях. Создать такой суд — значит устанавливать деспотическую власть старших кадет над всем составом воспитанников заведения. Это будет тягостной мерой для младших классов, может привести к необузданному самоуправству и, без сомнения, очень подорвать авторитет воспитательской власти. “Англичане сами признают, — по словам только что цитированных авторов, — что такое возложение власти на воспитанников может иметь и

¹ Деможо и Монтуччи.

свои неудобства, и что оно требует со стороны учителей большого такта и усиленной бдительности. Отправление обязанностей власти может испортить характер юноши, породить в нем самодовольство, крутой нрав, тиранию... У него не хватит иногда спокойствия и терпения. Он придаст иногда наказанию характер раздражительности. Гнев порождает гнев; в раздраженном состоянии власть вызывает сопротивление и упорство. Наконец, власть, доверенная в недостойные руки, может стать источником самых значительных беспорядков”.

Такой организованный товарищеский суд (но без наказаний) мог бы, пожалуй, иметь некоторое значение только как средство разбора своих дел в среде воспитанников старших классов. Это могло бы приучить их к порядочности в товарищеских отношениях, и если бы судьи избирались при участии воспитателя, то, вероятно, это привело бы и к установлению правильного взгляда на требования заведения. Но в наших интернатах воспитанники, особенно в старших классах, живут такой сплоченной, тесной товарищеской массой, что учреждение института судей внесло бы в их среду несвойственный ей и тягостный формальный элемент. Дела все равно решались бы общими товарищескими соглашениями и судьи поневоле должны бы были присоединиться к общему решению. Это был бы мертвый институт, а между тем, по самому своему принципу, он все-таки ограничивал бы значение воспитателя.

О выбранных судьях в младших классах, из среды своих товарищей, едва ли даже нужно говорить. Ни сами они, ни их товарищи не в состоянии были бы даже понять, в чем, собственно, заключается их значение, и это внесло бы только большую путаницу в товарищеские отношения и без надобности затруднило бы и без того уже сложное дело воспитания массы.

17 марта 1907

А. Д. Бумовскій.

ОБУЧЕНІЕ ПИСЬМУ

и

ПОЧЕРКЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. остр., 5 лин., 28.
1913.

Обучение письму и почерк



I

1. Письмо имеет очень большое значение в жизни образованного человека, и надо удивляться, как мало обращается внимания на обучение письму.

В общеобразовательной школе это обучение ведется только на элементарных ступенях учителями, в большинстве мало понимающими важность выполняемого ими дела как в педагогическом, так и в физиологическом отношении. В среднеучебных заведениях после двух или трех лет обучения писанию, при двух или трех уроках в неделю, ученик в следующих классах выполняет свои многочисленные письменные работы, предоставленные, со стороны собственно письменной техники, самому себе. Он основательно забывает все то, что ему преподавалось на уроках чистописания и, сам того не замечая, усваивает себе такие приемы письма, которые к концу его школьного обучения по большей части очень безобразят его почерк, а иногда даже вредно отражаются на его зрении и на его телосложении. Если же затем он избирает себе деятельность, тоже сопряженную с большой письменной работой, то и дурной почерк, и близорукость, и искривление стана, зачатки которых наблюдались еще в школе, получают стойкий характер и являются тяжелой стороной всей его жизни.

Вместе с тем, надо в особенности отметить, что хороший почерк в общественном мнении не ставится в заслугу людям, не занимающимся специально каллиграфией. Для канцелярской и конторской письменной работы, для каллиграфической переписки разных адресов, рескриптов и т. п. существуют профессиональные писцы, иногда большие мастера своего дела.

Что же касается автографического письма какого бы то ни было назначения, то оно в огромном большинстве не отличается ни четкостью, ни красотой, ни даже простой опрятностью. Это считается в порядке вещей, и все до того с этим освоились, что если бы кто стал писать свои письма не то что каллиграфически, а просто необычно четко и красиво, то вызвал бы, скорее ироническую улыбку, чем сочувственный отзыв.

Таким равнодушием к качеству почерка и вообще к искусству письма объясняется и слабая постановка обучения письму.

Никто не верит в серьезность такого учебного предмета, как чистописание, и никто не понимает, какое большое значение должны иметь для человека, не чуждого письменной работы, разумно выработанные, целесообразные приемы письма.

Могут сказать, что это сетование напрасное и, во всяком случае, запоздалое. Если общественное мнение мирится с существующими почерками, то есть ли основательная причина требовать в этом отношении каких-либо улучшений? Наконец, недалеко уже то время, когда пишущие машины сведут до минимума письмо от руки, а для необходимых случаев автографического письма будет введено всеобщее обучение стенографии.

На это я отвечаю, что если есть возможность улучшить дело без обременения для учеников, а напротив, с облегчением для них и урочной работы и механизма письма на все последующее время, то об этом стоит позаботиться. Машинное письмо всегда будет служить главным образом для переписки набело, а до всеобщего обучения стенографии вместо буквенного письма нам придется еще слишком долго дожидаться.

2. Лет тридцать назад врачи-гигиенисты обратили внимание на некоторые стороны школьного и врачебного режима, вредные, по их мнению, для здоровья и развития детей. Между прочим, они остановились и на обучении письму. Они утверждают, что тот наклонный почерк, которым повсеместно заставляют писать детей в школах, решительно не пригоден ни как учебное упражнение, ни вообще как способ письма, так как именно писание этим почерком и ведет к неправильному положению тела при письме.

Эти приписываемые гигиенистами недостатки наклонного почерка требуют объяснения.

В нашей скорописи, при которой строки ведутся слева направо, начертание каждой буквы образуется двоякого рода чертами: *основными*, которые пишутся сверху вниз с некоторым нажимом пера, и *волосными*, проводимыми снизу вверх и служащими связью между основными чертами. По форме своей и те и другие черты очень разнообразны, и в выработке свободного и правильного их начертания заключается вся техника письма. Основные черты могут быть закругленные и острые (итальянский и готический шрифты); и те и другие можно ставить перпендикулярно к направлению строки или наклонно. В первом случае получается *прямое* письмо, во втором — *наклонное*, или косое. Наклон можно делать и вправо и влево.

Ministère d'état des Affaires

Nouveaux caractères d'Écriture

В нашей скорописи мы замечаем почти всегда более или менее определенный наклон букв вправо. Вся система обучения этому письму издавна основывалась на привитии навыка именно к правому наклону основных черт. Прямая постановка букв или наклон влево употребляются только как особенный каллиграфический прием; в скорописи такое положение букв встречается редко и является обыкновенно характерной индивидуальной особенностью пишущего.

Для проведения основных черт разного наклона требуется различная работа кисти руки, различное направление зрения, а вместе с тем и различные приспособления в положении всего тела. Привычка к некоторым из этих положений оказывает, по мнению гигиенистов, более или менее вредное влияние на зрение и на сложение учеников.

Положением наименее вредным при письме, говорят они, было бы такое, при котором пишущий, сидя с одинаковым упором на обоих седалищных буграх, мог бы все время держать линию своих плеч параллельно переднему краю крышки стола, не наклоняя головы и не поворачивая ее в стороны.



Косой почерк, по их словам, неудобен для сохранения такого положения. Если тетрадь положить нижним краем параллельно переднему краю стола, то письмо косым почерком окажется невозможным: “анатомическое строение ручной кисти мешает поворачивать ручку пера так, чтобы штрихи шли сверху и справа вниз и влево” (Кон. Гигиена глаз, стр. 189). Если тетрадь положить наклонно, то строки будут идти слева и снизу вправо и вверх. Это заставляет ученика невольно наклонять голову к левому плечу, пока линия глаз не станет параллельно направлению строки, а это неминуемо ведет к вредному положению всего тела. Положив правый локоть на стол, ученик, при таком письме, обыкновенно свешивает со стола левый локоть, следовательно, сидит с полуоборотом в пояснице влево и опирается больше на левую лямку. Кроме наклона головы налево, он наклоняет ее еще и вниз, над тетрадью, и приобретает таким образом вредные привычки, обращающиеся с течением времени в стойкую деформацию. Сохранить безвредную посадку, по заключению этих противников наклонного письма, можно только при письме прямым почерком, когда строка параллельна краю стола, а ученик ведет основные линии перпендикулярно фронтальной плоскости тела. Это единственный способ письма, не побуждающий к поворотам головы и туловища, к опусканию одного плеча ниже другого и всегда позволяющий держать линию глаз параллельно направлению строки. Поэтому гигиенисты горячо рекомендуют повсеместное введение прямого почерка при обучении письму.

Против наклонного письма было воздвигнуто настоящее гонение и без результата. Вооружились люди науки. Учителя чистописания возражали неуверенно и неубедительно. Многие переходили на сторону прямого письма из опасения прослыть людьми непросвещенными. В передовых учебных заведениях стали обучать письму прямым почерком и даже под верховным наблюдением врача. Появились фотографии с изображением пишущих учеников; на одних они поголовно сохраняют безукоризненную посадку, *потому* что пишут прямым почерком, на других все сидят уродливо, *потому* что пишут почерком наклонным. В назидание педагогам были исполнены даже скульптурные изображения пишущих нагих мальчиков в натуральную величину: один из них, опять-таки, и красив, и

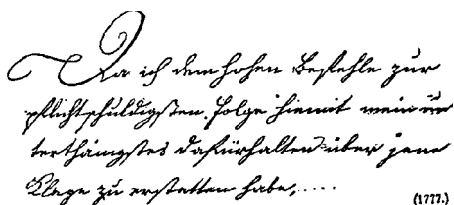
хорошо сложен, и сидит как следует, другой — и хиленький, и кривобокенький, и сидит дурно, и все это делается от прямого и косоного почерка.

Теперь это понемногу улеглось. Стали раздаваться веские голоса против увлечения прямым почерком. Правда, и теперь еще ученые комиссии готовы класть свой авторитетный запрет на косоный почерк как на научно признанную причину неправильного роста и развития детей в школе, но и там уже в наше время возможны разногласия.

На международном конгрессе по школьной гигиене в Париже в 1910 г. вопрос о прямом и наклонном письме был поставлен на голосование. Из 26 членов, принимавших участие в прениях, 12 отказались от голосования. Из остальных — 5 подали голос за наклонное письмо и 9 за прямое. Принимая во внимание те будто бы научные основания, с которыми сторонники прямого письма выступают для его насаждения, цифра 9 из 26-ти не представляется особенно внушительной.

3. За гигиенистами должна быть признана бесспорная заслуга в том, что они обратили внимание на обучение письму. Указание их на вредное влияние посадки при письме имеет основание. С этого времени начинают делаться попытки устранить это вредное влияние.

Но из этого вовсе не следует, что прямой почерк представляет собой панацею против всяких вредных влияний школьного обучения письму. Предложение отказаться от наклонного почерка и перейти к прямому делается на основании очень поверхностных наблюдений. Те опыты обучения прямому письму, которые предпринимаются в наше время, ничего еще не доказывают. Ученики сидят хорошо при прямом письме, потому что при этом *обращается внимание на посадку*, чего при обучении косоному письму обыкновенно почти не делается. Но имеет ли прямой почерк сам по себе коррективное влияние, и, с другой стороны, нельзя ли устранить вредное влияние наклонного почерка простым усовершенствованием приемов обучения — это вопросы, которые, в сущности, вовсе не подвергались еще серьезному исследованию. Врачи, выдвинувшие письмо прямым почерком и ревниво настаивающие на всеобщем его применении, видимо, мало знакомы и с техникой письма и с историей возникновения и развития нашей скорописи.



Связное письмо с наклоном вправо является, таким образом, типом скорописи на всех европейских языках.

Привожу здесь из книги Фаульмана (*Illustrierte Geschichte der Schrift*) примеры постепенного образования правильного наклонного письма в готическом шрифте.

Бывают, конечно, уклонения от такого типа: есть люди, пишущие и прямо, и с наклоном влево, и без связи между буквами, но, как уже сказано, это уклонения индивидуальные, составляющие исключение из общего правила.

У нас наклонный и связный почерк начал вырабатываться со времени установления гражданского алфавита. Наш русский почерк принадлежит к типу наклонного итальянского почерка. Этот почерк называется также английским, потому что лучшие прописи издавались в Англии в XVII—XVIII веке. Он стал до того общепотребительным, что даже в гравировании, где это ничем не вызывается, часто подражают связному письму с наклоном вправо. Даже в печати вошел в употребление так наз. курсив.

5. *Механизм письма.* Чем же объяснить образование этого наклона вправо в связном беглом письме и повсеместное распространение письма с таким наклоном? Замечательно, что этот вопрос как будто бы и до сих пор не очень ясен ни для гигиенистов, ни для каллиграфов. Сторонники прямого письма совсем не занимались этим вопросом. Для них наклонный почерк, как сказано, — просто вредная мода. Каллиграфы говорят иногда, что писать наклонно удобнее, и что наклонный почерк будто бы красивее прямого. Относительно красоты — это дело вкуса; но в чем тут именно удобство, этого, кажется, никто еще не объяснил обстоятельно, не сбиваясь на каллиграфическую рутину, которой обставлено обучение наклонному письму. Между тем, наклонное письмо действительно удобнее и быстрее, чем прямое. Это экономическое письмо. Рассмотрим ближе механизм письма.

Прямой почерк. Когда я пишу прямым почерком, я кладу лист бумаги так, чтобы нижний край его был параллелен переднему краю стола. Сам я сажусь у стола так, чтобы линия моих плеч (моя фронтальная плоскость) тоже была параллельна краю стола (а следовательно, и краю бумаги и направлению строки). Положив обе кисти рук на стол, я веду основные черты букв прямо к себе, т. е. перпендикулярно к фронтальной плоскости моего тела и к строке. По мере того как я подвигаюсь в строке, я должен *подвигать кисть руки, а вместе с ней и всю руку, от плеча. Но чтобы вместе с рукой не подвигаться и всей верхней частью тела, мне надо, начиная строку, держать локти довольно близко к телу и иметь их во все время письма несколько свешенными с края стола.*

Все эти условия выгодны для сохранения прямого положения тела, если строка не очень длинна. Но когда она заходит слишком много вправо от срединной плоскости тела, то пишущий, вместе с удалением локтя, по необходимости должен поворачивать голову и нагибать все туловище в направлении строки. Если, во избежание этого, он будет подвигать страницу влево пальцами левой руки, то при длинной строке ему придется нагибаться влево. Кроме того, проведение последовательных основных штрихов, перпендикулярных строке, идущей параллельно фронтальной плоскости тела, не очень удобно при нашем способе держания пера, особенно, если это штрихи, закругленные сверху или снизу. Вот почему прямым почерком очень редко кто пишет красиво.

Почерк с наклоном вправо: а) Сажусь за стол и, имея перед собой лист бумаги, кладу оба локтя на стол. Сохраняю такое положение во все время письма, не упираясь грудью о стол и не нагибая головы; б) При таком положении рук правое предплечье, с пером в пальцах, имея одну только неподвижную и постоянную точку опоры в локте, должно свободно описывать дугу кистью руки или, точнее, — ногтевым суставом мизинца, единственной подвижной точкой опоры кисти и всего предплечья на крышке стола. Лежащий передо мной лист бумаги наклоняю влево, пока хорда описываемой концом пера воображаемой дуги не придется у верхнего его края и не будет параллельна этому краю. Таким образом опреде-

ляется наклон листа, и этот наклон тоже должен оставаться неизменным во все время данной письменной работы. Лист, по мере его заполнения, подвигается левой рукой только понемногу *влево* и *вверх*. Начало той строки, по которой идет письмо, должно всегда приходиться как раз перед серединой груди пишущего; в) Основные черты букв, как и при прямом письме, ведут перпендикулярно к фронтальной плоскости моего тела и к краю стола.

Из сказанного ясно, что наклонный почерк, по процессу его исполнения, есть, в сущности, тот же прямой почерк. Наклон получается сам собой, без намеренного косо го проведения черт (как ошибочно думают сторонники прямо го письма), и наклон этот сам собой может быть и больше и меньше, в зависимости от того, на какой высоте находятся локти, т. е. от размера дифференции стола, от расстояния, на каком лежит тетрадь от груди ученика, а вместе с тем и от длины строки.

Нет сомнения, что наклонный почерк пришел сам собой, по мере распространения письменности, вследствие тех удобств, которые он заключает в себе сравнительно с прямым почерком. Это не мода и не каприз, а следствие практической необходимости.



Сейчас мы увидим, что при правильном его применении он тоже не будет заключать в себе условий, вредных для здоровья и сложения учеников. Гигиенисты ведут поход, очевидно, не против такого письма. Они его не знают. Они вооружаются против очень распространенных рутинных приемов обучения наклонному письму, и в этом они правы, так как в практике обучения действительно укоренились приемы и ненужные для выработки хорошего наклонного почерка, и вредные с гигиенической точки зрения.

6. *В чем удобство наклонного почерка по сравнению с прямым:* а) Пишущий, имея оба локтя неподвижными на столе (см. рисунок), двигает не всей рукой, а только предплечьем, и может гораздо удобнее сохранять все время неизменное положение тела. Сосредоточение работы только в предплечье важно также и для отдаления наступления усталости при продолжительном письме; б) Направление строк определяется само собой, и его гораздо легче выдерживать даже и не имея в поле зрения всего листа бумаги, так как при неподвижном локте кисть руки всегда идет по одному и тому же направлению. Можно писать без линеек и без подкладки, совсем не искривляя строки; в) Положение кисти руки при этом письме удобнее для образования букв и непрерывной связи между ними.

Во всех этих отношениях наклонный почерк действительно удобнее и экономнее прямого. В этом нетрудно убедиться всякому сравнительным опытом прямого и наклонного письма, применяя для последнего описанные здесь приемы.

Невыгода наклонного почерка, могущая иметь некоторое влияние на зрение, заключается в том, что строки имеют косое направление слева вверх и, следовательно, не параллельны основной линии глаз. Левый глаз стоит ближе к строке, чем правый. Если строка длинна, то ученик невольно будет наклонять и поворачивать голову так, чтобы поставить линию глаз параллельно строке. Но этого можно избежать, делая строку такой длины, чтобы она вся помещалась в поле зрения. Тогда не будет потребности поворачивать голову, как мы и вообще не поворачиваем ее при рассматривании предметов, не выходящих из поля зрения.

7. *Ошибки в понимании механизма наклонного письма.* В практику обучения наклонному письму вкрались некоторые существенные погрешности, происходящие от неясного понимания механизма этого письма и иногда идущие вразрез с выгодными его особенностями. Эти ошибки повторяются почти во всех методических руководствах по чистописанию и нередко вводят в заблуждение людей других специальностей, предпринимаящих научный, по их мнению, анализ механизма письма. Принимая эти рутинные приемы письма на веру и не внося в них никакого корректива, они тем самым как бы утверждают их и санкционируют для дальнейшего употребления.

Вот существеннейшие из таких ошибок:

а) Никогда почти не встречаем мы определенного указания, что оба локтя пишущего должны быть на столе во все время письма. Напротив, рекомендуется несколько спускать локоть с крышки стола. При этом часто имеется в виду только правое предплечье, а о левом ничего не говорится, как будто это не важное дело, держи его как хочешь.

Трудно догадаться, откуда явилось такое требование. Может быть, учителя боялись, что посадка с локтями будет слишком уж солидной; может быть, они думали, что, положив локти на стол, ученики станут упираться грудью о крышку стола. Но кто прочел внимательно намеченные выше правила посадки и проверил их на себе, тот согласится, что единственное надежное средство сохранить удобную для письма и безвредную посадку во все время работы — это, сев прямо, положить оба локтя на стол. При этом правый локоть, как неподвижная опора, есть необходимое условие автоматического сохранения направления строки и свободного начертания линий всевозможных форм и величин. Опасение, что именно такая посадка побуждает ученика упираться грудью о стол, не имеет основания. Это может случиться при всякой посадке, и учитель должен зорко следить, чтобы этого не было;

б) Не имея точки опоры в локте, пишущий, естественно, должен искать другую точку опоры для той части предплечья, которая лежит на столе, и находит ее в нижней части ладони, у запястья, со стороны мизинца. Так это по большей части и делается при обучении письму. В таком случае начертание букв и

слов делается, очевидно, не свободной кистью на непрерывно подвигающемся от локтя предплечья, а кистью, укрепленной на костях запястья и описывающей самостоятельную дугу. Едва ли нужно говорить, в какой степени это сокращение длины радиуса, направляющего движение мизинца и конца пера, мешает уверенному ведению строки и стесняет свободу письма. Работая одной кистью и подвигаясь в строке, я неминуемо должен сгибать до последней степени пальцы, держащие перо, и не только перестаю свободно чертить буквы, но и меняю их наклон. В течение одной строки приходится поэтому несколько раз перемещать точку опоры ладони, а это совсем не то, что свободно и непрерывно двигать предплечьем на неподвижном локте;

в) Наклон букв к строке, как это видно из описанного в п.п. 5 и 6 механизма наклонного письма, зависит от угла, составляемого направлением строки со срединной линией тела пишущего. Он будет равен этому углу. Учителя чистописания, по-видимому, думают, что этот угол всегда один и тот же. Иначе трудно себе объяснить составляемую ими сетку со строками и с косыми линиями, определяющими наклон букв. Одну и ту же сетку они считают пригодной для всех учеников и при всех условиях. Это большая ошибка. Посадите ученика сегодня за стол с одной дифференцией, а завтра с другой, и если он правильно кладет перед собой бумагу и ведет основные линии перпендикулярно к фронтальной плоскости своего тела (п. 5), то наклон этих линий к строке выйдет у него не одинаковый. Посадите двух учеников разного роста за столы с одинаковой дифференцией, и они будут писать с разным наклоном. Это понятно: чем выше крышка стола, тем шире расставляются локти, предплечье ложится под другим углом к срединной линии тела, а следовательно, изменяется и направление строки, т. е. хорды дуги, описываемой кистью. Наклон букв меняется и от других причин: от дистанции стола, от расстояния между тетрадью и линией глаз и пр. Отсюда совершенная непригодность готовой сетки. Положив ее перед собой и определив правильное направление строки, я могу получить совсем не перпендикулярное к краю стола направление косых линеек, а поставив косые линейки перпендикулярно к краю стола, могу получить неверное направление строки. Кроме того, что они приучают



либо неверно вести основные черты, либо неправильно держать строку, сетки своей пестротой портят глаза, а потому их следует решительно изъять из употребления. Для начинающих довольно одних строчных линеек, и то в первое время обучения. Гораздо же лучше обходиться безо всяких вспомогательных линий. Я убедился на опыте, что это возможно.

Из сказанного само собой понятно, какую грубую ошибку делают педагоги, прочерчивая на крышке стола линию обязательного наклона тетради под одним и тем же углом для всех учеников.

Даже большие знатоки механизма человеческих движений не всегда ясно понимают требования правильной посадки при письме. Так, Ж. Демени, справедливо осуждая французских каллиграфов за то, что для наклонного письма они кладут тетрадки перед учениками не наклонно, а прямо, сам дает рисунок такого "правильного" положения при письме, в котором на столе лежит один только правый локоть, а левый свешивается с крышки. Это как бы приглашение писать с поворотом головы и тела влево (*G. Demeny. Les bases de l'éducation physique*).

До чего можно додуматься, пристегивая к обучению письму совсем посторонние задачи, можно было видеть на международном конгрессе по школьной гигиене в Париже в 1910 году. В числе других докладчицей по этому вопросу выступила, в качестве делегата брюссельского *Revue Psychologique*, девица *Kipiani*. Прямое письмо она признает нефизиологическим и отдает предпочтение наклонному. Но и наклонное письмо одной только правой рукой, по ее мнению, никуда не годится. Оно порождает асимметрию и искривление. Письмо должно быть симметрично, потому что симметричные органы требуют симметричных функций. Правая рука должна писать обык-

новенным наклонным почерком на правой странице тетради, а левая рука, как в зеркальном отражении, в то же время пишет на левой (см. отчеты конгресса). Не говоря уже о своеобразном и едва ли приемлемом с обычной точки зрения предложении учить писать обеими руками и вправо и влево, следует заметить, что строки при таком письме будут параллельны переднему краю стола. Поэтому предложение г-жи Кипиани писать наклонным почерком является именно тем извращением нормальной техники письма, которое и вызвало поход против косоного почерка.

Припомню, что лет 30 назад физиологи обратили было внимание на вопрос о зеркальном письме и пришли к интересным заключениям относительно симметрии в развитии правой и левой руки в зависимости от развития левого и правого полушарий головного мозга. По этому вопросу работала и русская женщина-врач М. М. Манасеина (“О письме вообще и о зеркальном письме в частности”, 1883). Однако предложение обучать писать зеркально левой рукой делается, кажется, в первый раз.

8. Знакомство с механизмом наклонного письма дает достаточное основание думать, что для правильной посадки нет надобности непременно переходить к прямому письму, а надо озаботиться выполнением некоторых требований, вообще необходимых при обучении всякому письму. Именно: а) надо обращать внимание на *высоту* и *ширину* стола и сиденья; б) настойчиво требовать определенной *правильной посадки*. “Урок чистописания должен быть прежде всего уроком выправки в сидячем положении и потом уже уроком механизма письма” (программа чистописания для кадетских корпусов, 1911); в) наблюдать за длиной строки и за высотой букв. Длина строки — $\frac{3}{4}$ узкой части четверти листа; высота букв — 3 мм; г) настойчиво приучать, чтобы ученик, имея оба локтя на столе и положив перед собой бумагу с правильно определенным наклоном соответственно направлению строки, вел основные линии всегда перпендикулярно к фронтальной плоскости своего тела; д) надо также с самого начала научить правильно держать перо и наблюдать, чтобы ученик никогда не отступал от этого правильного держания. Ручка пера держится *свободно* слегка согнутыми тремя пальцами, большим, указательным и сред-

ним. Нижний конец ручки выдвигается вперед настолько, чтобы при опоре кисти на бумаге только концом мизинца, острие пера могло свободно скользить по бумаге в тех направлениях, какие ему будут даны работающими пальцами. Средней своей частью ручка опирается на сгиб верхнего сустава указательного пальца. Верхний конец ручки направляется к правому плечу пишущего.

За всеми этими требованиями надо внимательно следить на уроке чистописания. Но этого мало. За этим необходимо наблюдать все время и не довольствоваться только красотой почерка, а следить за самим процессом работы во всех классах среднеучебного заведения при исполнении всяких письменных работ, как учебных, так и неучебных. Учителя других предметов не могут этого делать: у них нет времени. Это может делать только воспитатель и может принести много пользы для упорядочения вопроса о чистописании.

Хорошая посадка и верное направление основных черт не только предохраняют от деформации и порчи зрения, но являются верным средством для выработки хорошего почерка у учеников и даже для *исправления дурного почерка* у взрослых.

II

1. **Почерком** мы называем совокупность особенностей в начертании письменных знаков (букв, слов и строк) от руки, без всякого механического приспособления. В почерке можно различать особенности индивидуальные, наследственные, профессиональные, народные, исторические. Мы включаем в понятие почерка также и стилистические особенности письма: мы говорим о прямом почерке, о наклонном влево или вправо, о почерке готическом, итальянском и т. д. Здесь мы будем говорить только о письме современном и о почерке с наклоном вправо.

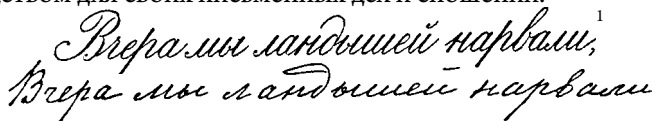
Качество почерка определяется его четкостью, его удобством для скорого и продолжительного письма и его красотой. Четкость почерка — качество вполне определенное. Почерк

будет четким, когда все черты, из которых образуются буквы и слова, будут выполнены умело и отчетливо.

Удобство почерка для скорого и продолжительного письма достигается, главным образом, простейшим начертанием букв и таким соединением их между собой, которое давало бы возможность писать целое слово, не отрывая пера от бумаги. Но, разумеется, как бы просто ни было начертание букв, человек будет в состоянии писать скоро и долго только тогда, когда он вполне владеет механизмом письма. Скорому и продолжительному письму мешает наклонность к сильному нажиму в основных чертах, к фигурным, добавочным, ничем не вызываемым чертам, завиткам и росчеркам и т. п. Случается, что в выработанном уже скорописном почерке мы совсем не видим соединения между буквами в словах. Таким почерком пишут иногда очень скоро, но это особенность индивидуальная, которую, во всяком случае, нельзя считать выгодной для скорописи.

Красота почерка — понятие условное. Оно менялось в зависимости от письменных материалов и орудий, от способов и приемов письма, а также от эстетических воззрений того или другого времени. Мы видели, что в европейском письме постепенно выработался тип почерка, удовлетворяющий нашему представлению о красоте письма, а вместе с тем достаточно четкий и удобный для автоматически быстрого выполнения письменных работ.

Со стороны четкости и красоты письма мы различаем письмо каллиграфическое, отличающееся мастерской законченностью, и скоропись, которой пользуются все пишущие люди как средством для своих письменных дел и сношений.



Вчера мы лавдойшей нарвали,¹
Вчера мы лавдойшей нарвали

Требования от каллиграфического и скорописного почерка не одни и те же. Каллиграф, выполняя свою профессиональную работу, должен всегда стоять на уровне своего мастер-

¹ Каллиграфический образец взят из методики обучения чистописанию П. Е. Евсеева.

ства. В скорописи за этим обыкновенно совсем не следят. Тут каждый пишет как умеет, внося в свою работу то, что было им усвоено в годы учения, и то индивидуальное, что выработалось в его почерке под влиянием его наклонностей, привычек и других внутренних и внешних причин.

Из этого, однако, совсем не следует, что скоропись имеет право быть и нечеткой, и некрасивой, и неряшливой. Напротив, скоропись должна непременно удовлетворять некоторым требованиям, без которых она не может быть признана порядочной.

Требования эти очень элементарны. О них говорится во всякой более или менее обстоятельной методике чистописания. Но на практике учителя не обращают на них такого внимания, какого они заслуживают. Это происходит отчасти, может быть, оттого, что учителя чистописания не считают уместным много заниматься механическими упражнениями в таком умственном деле, как письмо, но, главным образом, оттого, что эти упражнения плохо даются и потому наскучают ученикам. Действительно, их трудно делать правильно, имея локти спущенными с крышки стола, т. е. ограничив свободу движения предплечья и проводя штрихи по сетке либо с неверным направлением строки, либо с неверно намеченным направлением основных черт. А между тем, такие упражнения не только вырабатывают смелую и красивую скоропись, но и обеспечивают большую экономию в механизме письма на всю последующую жизнь ученика.

Вот эти требования:

а) Смелое, автоматическое начертание всякого рода линий, входящих в состав письменных знаков. Письмо никогда не должно быть ни рисованием, ни случайным, колеблющимся и неумелым проведением черт;

б) Совершенно правильная и уверенная постановка основных черт, какого бы размера они ни были;

в) Отсутствие в письме каких бы то ни было дополнительных черт, не вызываемых ни требованием четкости, ни требованием красоты. Письмо должно быть и четко и красиво без всяких дополнительных знаков.

Не буду вдаваться в большие методические подробности по этому вопросу. Советую взять порядочную методику чистопи-

сания, например А. К. Гортова “Методическое руководство к обучению письму”, и заимствовать из нее упражнения для выработки первых двух требований, не пользуясь, конечно, ни в каком случае рекомендуемой в ней сеткой и не руководствуясь описанными в ней правилами посадки.

Посадив ученика как должно и положив перед ним тетрадь, как описано выше, надо настойчиво вести упражнения в смелом проведении волосных черт и основных штрихов, повторяя их на каждом уроке, по крайней мере, в течение первого полугодия обучения и потом непременно возвращаясь к ним даже тогда, когда ученики перейдут уже к буквам скорописного размера в 3 мм. При этом очень советую считать главным качеством в таком упражнении смелость. Неопытный ученик будет, конечно, делать много ошибок и в размерах штрихов, и в их форме, но все это можно на первых порах не ставить ему в вину, если он делает эти начертания без колебания, без подрисовки и если направление основных черт идет у него перпендикулярно к фронтальной плоскости его тела.

В методике Гортова учитель найдет обстоятельные указания относительно письма в такт, по счету. Эти упражнения необходимы во все продолжение учения. Ничто так не развивает уверенности в точности во всех движениях и во всех действиях человека, как общие упражнения по счету. Но чтобы они приносили действительную пользу, требуется одно важное условие. Надо, чтобы ученик сначала достаточно овладел посредством самостоятельного упражнения той формой работы, которую ему придется делать в такт. Не владея формой работы, он будет спешить и делать ее кое-как, чтобы не опоздать сделать ее в данный счет, и, разумеется, не научится писать, а усвоит себе только уродливые начертания. Позволю себе сравнение: так же точно, как и в любительском танцевании мы часто видим уродливые движения, потому что учитель рано начинает ритмическое упражнение, пока ученик еще недостаточно усвоил себе форму движения без такта и музыки, так и в скорописи мы нередко видим безобразные начертания именно потому, что такое полезное упражнение, как письмо в такт, велось без должного предварительного самостоятельного упражнения.

Когда эти начальные упражнения поставлены правильно и усваиваются учениками твердо, то дальнейшее изучение скорописи не представляет уже большого затруднения для ученика. Формы букв и направление строк потребуют, в сущности, тех же движений, что и начальные упражнения, и при хорошей посадке, при верном положении бумаги и при правильном держании пера легко дадутся ученикам.

При изучении форм букв для скорописи в начертании строчных букв не следует делать никаких изменений сравнительно с каллиграфическим начертанием. Изменения, предлагаемые в руководствах, обыкновенно не изящны и не нужны, так как они не облегчают процесса письма. Только для прописных букв надо пользоваться сравнительно упрощенными формами.

Одновременное обучение чтению и письму не представляется безусловно необходимым с методической точки зрения, так как формы печатных букв не тождественны с письменным их начертанием. Но если где такое обучение ведется, то оно не исключает необходимости в указанных выше упражнениях. Они должны непременно проделываться на каждом уроке.

Что касается третьего требования: воздержания от ненужных завитков в формах букв, разных дополнительных знаков, черт и росчерков, то за этим надо следить не только на уроках писания, но еще более того при исполнении учениками их учебных и других самостоятельных письменных работ. И за этим нужно следить как в младших, так и в старших классах. Росчерку еще можно дать место в подписи, как характерному индивидуальному знаку, но бывают случаи, когда даже и в подписи приличнее воздержаться от бьющего в глаза росчерка. Всякие другие дополнительные штрихи, так называемые “финалы” у каждого слова, надчеркивания и подчеркивания (в буквах т, ш и пр.), завитки иногда очень фигурные, все это решительно не нужно, не служит к экономии в механизме письма и является назойливо беспокойным элементом при чтении длинной рукописи.

Помещенный выше образец скорописи в достаточной степени отвечает всем изложенным здесь требованиям.

Считаю нужным заметить здесь, что никакие упражнения на уроке писания не должны вестись непрерывно в

течение целого урока. Надо делать два, три, даже четыре перерыва в 1—3 минуты, смотря по степени усталости учеников, и заняться в это время просмотром работ и объяснениями.

2. Графологи различают в нормальном почерке двоякого рода элементы. *Основные*, неизбежно присутствующие в почерке помимо воли и сознания человека, и *усвоенные*, которые человек вырабатывает, обучаясь письму или подражая чужим почеркам. Преобладающее значение графологи придают основным элементам, так как от этих элементов зависит построение почерка и в них выражаются индивидуальные психофизические свойства человека. Это индивидуальное построение почерка, по мнению графологов, есть свойство очень стойкое, не поддающееся никаким способам обучения. Каждый человек имеет свой собственный, предназначенный ему почерк, и какую бы школу чистописания он ни прошел, он всегда будет писать этим предназначенным ему почерком. При этом с графологической точки зрения считается, что если почерк изобилует элементами усвоенными и обнаруживает бедность комбинаций основных элементов, то это свидетельствует о слабой индивидуальности человека.

Такого рода учение могло бы повергнуть в отчаяние учителей чистописания, если бы оно очевидно не заключало в себе графологического увлечения. Индивидуальность человека сказывается во всяком его деле; но вместе с тем всякое обучение есть приспособление индивидуальных свойств к требованиям работы. По мере того, как я усваиваю ее приемы, в ней возрастает количество элементов усвоенных, т. е. упорядоченных, за счет основных, идущих иногда вразрез с требованиями дела. Индивидуальность человека будет, конечно, сказываться и в усвоенной им работе, но индивидуальные элементы будут служить в таком случае выражением его умелости, его мастерства, и может, наконец, наступить такой момент, когда уловить эти индивидуальные элементы будет очень трудно, как, например, в письме каллиграфическом.

Индивидуальные элементы особенно резко проявляются и крепнут в скорописном почерке обыкновенно уже после окончания курса чистописания. Но зачатки их можно

заметить уже во время обучения письму, особенно в самостоятельных работах ученика. Поэтому очень важно если не устранить их совсем, то, во всяком случае, так их исправить и видоизменить, что они не будут ни уродовать почерка, ни мешать его четкости, ни замедлять процесса писания. В случае надобности их очень можно исправить и упорядочить даже и после окончания учения различными упражнениями, при доброй воле пишущего. Во всяком случае, оправдывать безобразный почерк индивидуальными особенностями не приходится.

Вот главные из этих индивидуальных или основных элементов скорописного почерка:

а) Непараллельность строк верхнему краю бумаги и одной к другой. Изломы и изгибы в строках. Тут различаются строки поднимающиеся, опускающиеся, змеевидные, параболические, гиперболические, и каждому такому направлению приписывается графологическое значение. Думают, что при некоторых условиях это элемент неустранимый, например при близорукости, когда не весь лист бумаги, а тем более не вся строка находится в поле зрения пишущего. О патологических случаях мы здесь не говорим. Но для здорового ученика, даже для близорукого, есть полная возможность научиться вести прямые и параллельные строки при описанной выше нормальной посадке и при правильном положении бумаги, в зависимости от хорды дуги, описываемой предплечьем. Сказано уже, что строки должны быть всегда такой длины, чтобы не выходить из поля зрения, но если бы это и случилось, то в худшем случае неопытный ученик поведет строку по дуге, а не по хорде, и скоро привыкнет исправлять эту погрешность.

б) Преобладание нижних закруглений в основных чертах и левых полуovalов. Почти полное отсутствие верхних закруглений. (Левookружное письмо).



Преобладание верхних закруглений и правых полуovalов. Почти полное отсутствие нижних закруглений. (Правоокружное письмо).



Отсутствие нижних и верхних закруглений и почти полное отсутствие овалов. Иногда склонность к начертанию основных штрихов в форме S. (Острый почерк).



Обилие верхних и нижних закруглений, иногда совсем не нужных.



Эти особенности зависят от врожденной склонности к тем или другим направлениям в движении предплечьем и кистью и, по-видимому, находятся в некотором постоянном соотношении в обеих руках. Есть указание, что склонные к правоокружному письму при письме левой рукой пишут легче в зеркальном направлении, чем в обыкновенном, а склонные к левоокружному письму, наоборот, скорее научаются писать левой рукой слева направо, чем зеркально. Наклонность к тому или другому начертанию не изглаживается бесследно, но при упражнении в автоматически правильной постановке основных черт она упорядочивается и не портит почерка.

в) Большой или малый наклон букв вправо, отсутствие наклона, наклон влево. Об этом уже говорилось. Когда ученик усвоит приемы направления строки и ведения основных черт, то меньший или больший наклон вправо будет уже и не индивидуальной, а случайной особенностью почерка, по причинам, о которых сказано выше. Прямой почерк редко бывает красив, вследствие сравнительного неудобства в постановке основных черт.

г) Очень разгонистый или очень сжатый почерк, уменьшение высоты букв к концу слова или ее увеличение (последнее бывает редко), недописывание слов, большой нажим на основных чертах или неравномерный нажим (верхний или нижний),


длинные или короткие основные черты, выступающие за строку, — все эти особенности имеют тоже в основании индивидуальные свойств пишущего, каковы — неразвитое чувство меры и пропорции, малая способность к тонким движениям пальцев, небрежность, но укореняются они по привычке, на которую не обращают внимания в то время, когда ее можно еще предупредить соответствующим упражнением. Почерк может быть красив при довольно различном его разгоне. Что касается нажимов, то в скорописи и красивее и практичнее совсем их не делать, чем выводить их с усилием. Для предупреждения или устранения сильных нажимов надо больше делать упражнений в проведении длинных основных черт без нажима.

д) Фигурные крючки и дополнения к прописным и строчным буквам, финалы, надчеркивания, подчеркивания, росчерки. Об этих графологических особенностях говорилось выше. Упорядочение их есть в такой же степени воспитательная, как и учебная задача.

Все перечисленные здесь и многие другие особенности почерка имеют свое значение с графологической точки зрения как показатели психофизических свойств человека. Рекомендую воспитателю наблюдать за внешней стороной письменных работ его воспитанников, я должен, однако, предостеречь его от серьезных попыток графологического исследования их почерков, так как графология еще далеко не заключает в себе каких-либо бесспорных оснований для своих заключений. Может быть, эти сведения имеют свою ценность для определения подлинности почерка, но при определении личных свойств человека они могут повести к большим ошибкам.

Относительно утверждения, будто слишком большое число усвоенных элементов в почерке свидетельствует о маловыраженной индивидуальности человека, следует сказать, что это один из тех удобных парадоксов, которые охотно принимаются на веру, потому что льстят неумелости и небрежности. Образцом такого парадокса может служить нередко высказываемое замечание, будто ученики, идущие хорошо по всем предметам, обыкновенно оказываются в жизни заурядными людьми, и что сильными людьми выходят по преимуществу такие, которые в школе занимались только тем, что им нравилось, или, пожалуй, ничем не занимались.

Не буду говорить, что это не основано ни на каких серьезных данных, замечу только, что если есть индивидуальность в разборчивости или в лености, тем более она есть в стойкости и равномерности интереса и прилежания, и в последнем случае она не только сильнее, но и более содержательна и более ценна. То же самое и в почерке. Большое число усвоенных элементов вовсе не свидетельствует о пониженной индивидуальности пишущего. Напротив, оно показывает его настойчивость в усвоении механизма письма и его способность к этому делу. Такая индивидуальность будет, пожалуй, менее наглядна для графолога, чем та, которая выражается в неувоенных (основных) элементах, но будет иметь гораздо больше значения с педагогической точки зрения.



ВЪ ВАГОНЪ
Августѣйшаго Главнаго Начальника
ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

(Отрывокъ изъ воспоминаній).

Посвящается памяти незабвеннаго Великаго Князя
Константина Константиновича.



ПЕТРОГРАДЪ.
Типографія П. Усова. Лермонтовскій пр., д. 28
1915.

*Посвящается памяти незабвенного
Великого Князя Константина Константиновича*

В вагоне Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений (Отрывок из воспоминаний)



Летом 1900 г. я поместил в “Разведчике” описание первого путешествия Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича для осмотра провинциальных военно-учебных заведений. Статья эта была написана под впечатлением обаятельной личности Великого Князя и под влиянием светлых надежд.

Надежды эти оправдались. Десятилетний период пребывания Великого Князя главным начальником военно-учебных заведений был знаменательным периодом в истории этих заведений. Они были снова поставлены на тот исторический путь, на котором они находились до преобразования кадетских корпусов в военные гимназии. И этот возврат к историческому прошлому был сделан так обдуманно, так мудро, что он ни в каком отношении не умалил тех выгодных сторон, какие представляли с воспитательной точки зрения военные гимназии, и, с другой стороны, нисколько не способствовал возврату отживших уже преданий старого кадетского режима.

В этих словах нет никакого преувеличения, и будущий историк военно-учебных заведений, если только у него будет необходимое для историка беспристрастие, подтвердит справедливость этих слов на основании фактических данных.

Конечно, пользуясь мертвыми документами, трудно учесть те личные особенности начальника, которые привлекали к нему весь состав его подчиненных и всех вверенных его попечению детей и юношей.

Но это обаяние личности Великого Князя, его любвеобильная душа, его высокопросвещенный ум, его определенная, но мягкая и совершенно чуждая всякой мелочности требовательность, его трогательная отзывчивость ко всяким нуждам —

все это живет и будет жить в воспоминаниях всех тех, кто имел счастье быть в это время под его начальством.

Чтобы понять, как велико было влияние Великого Князя на настроение вверенных его попечению воспитанников, стоит только припомнить, что в мрачный период революционных волнений военно-учебные заведения продолжали жить своей нормальной жизнью и не только остались чисты от заразы, но во многих случаях деятельно ей противостояли.



Я имел счастье сопровождать Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений почти во всех его поездках по корпусам и училищам.

Я был не единственный, сопровождающий Великого Князя. Постоянным его спутником был покойный Михаил Николаевич Драшковский. Сначала он ездил в качестве адъютанта, потом, по производстве в генералы, как распорядитель движения и управляющий хозяйственной частью во время пути.

Непременными спутниками были также лица, последовательно занимавшие адъютантскую должность: Федор Александрович Риттих (ныне генерал-майор и инспектор классов Пажеского Е. И. В. корпуса), Николай Николаевич Ермолинский (ныне шталмейстер двора Великого Князя) и князь Владимир Александрович Шаховской.

Великий Князь часто предпринимал поездки. Он любил военно-учебные заведения и питал сердечные чувства к воспитывавшимся в них детям и юношам. Находились люди, с сомнением относившиеся к этим поездкам. Толковали, будто Великий Князь балует детей, слишком с ними носитя, приучает их к свободному отношению к представителю высшей власти и умаляет значение этой власти. Но людям рутинной, людям, погруженным в застывших начальственных формах, трудно было понять человека, стоящего неизмеримо выше их именно потому, что он умел делать любимое им дело, не замыкая себя в узкую рамку сложившихся форм.

Мы, сопровождавшие Великого Князя в его поездках, вспоминаем о них с каким-то исключительно теплым чувством. Мне приходится убеждаться в этом всякий раз, когда у нас за-

ходит разговор об этом времени. Эти поездки не только знакомили нас с военно-учебными заведениями и открывали нам их сильные и слабые стороны, но они поднимали наш дух. Близость к человеку, так богато наделенному духовными дарами, заставляла нас забывать нашу будничную служебную работу и жизнь и переносила нас в тот чудный, почти сказочный мир идей и чувств, который так умеет пробуждать Великий Князь во всех близких к нему людях, способных раскрыть перед ним свою душу.



Я не сумею описать этих поездок во всем том жизненном разнообразии, в каком они представляются теперь в моем воспоминании. Говорю это без ложной скромности. Может быть, для этого требуется больше спокойствия и более беспристрастное отношение и к людям и к вещам. У меня этого нет. Эти воспоминания меня волнуют, и я предпринимаю эту работу, чтобы дать несколько не многим известных еще, но достоверных фактов для биографии нашего горячо любимого бывшего Августейшего Главного Начальника и генерал-инспектора военно-учебных заведений.



ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД

Вступив в должность Главного Начальника, Великий Князь в первые же дни посетил все петроградские военно-учебные заведения и, не откладывая, назначил свой выезд в Москву для осмотра московских корпусов и училищ. Накануне назначенного дня один из помощников главного начальника, генерал Рудановский, сообщил мне, что Великий Князь поручил ему спросить меня, могу ли я ехать вместе с ним в Москву. Это была для меня совершенная неожиданность, но радостная, счастливая неожиданность. Разумеется, я изъявил полную готовность ехать, и Рудановский посоветовал мне самому доложить о том Великому Князю.

— Он теперь в Александровском корпусе, надевайте мундир и отправляйтесь туда. Это будет очень кстати.

Я так и сделал. Увидев меня, Великий Князь с ласковой улыбкой подошел ко мне и спросил: “Согласны вы ехать со мной в Москву?” На мой горячий утвердительный ответ он еще раз спросил: “И это вас несколько не расстраивает в ваших делах? Наверное?.. Ну, я очень буду рад иметь вас своим спутником...”

Мне некогда было раздумывать, почему Великий Князь берет именно меня, а не кого другого. Я весь был захвачен неожиданно выпавшим мне счастьем быть первым человеком, которого Великий Князь выбирает для облегчения ему знакомства с вверенными ему заведениями.

На другой день вечером, с чувством понятной тревоги, я прибыл на вокзал за час до отхода поезда. Там уже был и М. Н. Драшковский, и от него узнал я, что только мы двое едем с Великим Князем. Благодаря распорядительности Михаила Николаевича, все уже было готово. Вагон был подан к парадным покоем; вещи Великого Князя были сложены в вагоне, камердинер Великого Князя был при вещах, и сразу по нашем прибытии туда же были сложены и наши вещи. Оставшееся время до прибытия Великого Князя мы с Михаилом Николаевичем перекидывали умом, как нам быть в этом новом для нас положении. Мы не представляли себе, какой порядок жизни сложится в вагоне.

Гадали мы также, как будет относиться к нам Великий Князь. Потребуется ли от нас только одно формальное отношение к нему как к начальнику или он удостоит нас и своими не деловыми беседами.

Упоминаю об этом потому, что такие вопросы были для нас не праздными вопросами. Обоим нам выпадало первый раз в жизни стоять так близко к особе императорской фамилии, и понятно, что оба мы всей душой заботились, чтобы по неведению не нарушить каких-либо сторон этикета.

За 10 минут до отхода поезда прибыл Великий Князь и с ним гофмейстер его двора, Илья Александрович Зеленой. И здесь Великий Князь трогательно ласково поздоровался с нами и познакомил нас с Ильей Александровичем.

Едва успели мы перекинуться несколькими словами, как раздался второй звонок. Великий Князь поцеловал Зеленого на прощанье, и мы вошли в вагон.

Первые минуты в вагоне были тихи. Великий Князь вошел в свое отделение, мы заняли наше купе.

Впоследствии он говорил нам, что на первых порах ему тоже было неловко. Мы были люди совершенно чужого для него мира, и он не знал, о чем он будет с нами говорить и как он будет с нами обращаться.

Но это было всего несколько минут, и скоро, в тот же вечер, нас охватило то настроение покоя и удовлетворения, которое один Великий Князь умеет сообщить окружающим его людям.

Началось с того, что камердинер Великого Князя, Миша (Репин), сообщил мне, что Великий Князь просит меня к себе.

Я вошел в небольшое купе-салон и застал Великого Князя за чтением какой-то книги. Перед ним на столе лежала целая стопа книг и брошюр такого же размера, и мне нетрудно было видеть, что это полный комплект инструкций, наставлений и распоряжений по военно-учебному ведомству. Великий Князь очевидно задался мыслью на первых же порах основательно с ними ознакомиться. Да, этот человек принимался за дело не с легким сердцем. Я слышал в управлении, что в день вступления своего в должность Главного Начальника он молился в Петроградском соборе у гробниц своих предков и служил молебен в домике Петра Великого. Теперь он старательно готовился к своему делу, и с жизненной стороны, осматривая заведения, и со стороны принципиальной, изучая законоположения и предписания, лежащие в основе их устройства.

Припоминаю, что книга, которую он читал со вниманием, была “Наставление для ведения внеклассных занятий”, редактированное мною в 1890 г.

Увидев меня, он указал мне на кресло и спросил:

— Вы, я слышал, всегда сопровождали генерала Махотина во время его поездок по военно-учебным заведениям.

— Да, я ездил с ним, начиная с 1894 г. Раньше он ездил обыкновенно один...

— Следовательно, вы хорошо знакомы с личным составом чинов всех заведений и с разными особенностями каждого заведения?

— Да, я знаю все заведения, не только потому, что сопровождал бывшего главного начальника; я много раз был коман-

дирован и самостоятельно для их осмотра по всем частям их устройства.

Высказав еще раз в самых добрых словах свое удовольствие, что я буду с ним в Москве, он пожалел, что не догадался раньше и не приглашал меня с собой во время посещения петроградских заведений.

На мой вопрос, как Его Высочество остался доволен петроградскими заведениями, он сказал, что вообще они произвели на него самые выгодные впечатления, но что, однако, как у человека нового, у него неминуемо должны были рождаться вопросы, которые ему хотелось бы выяснить для более близко-го знакомства с заведениями.

— Есть такие стороны в жизни заведений, — добавил он, — которые не предусмотрены никакими положениями и инструкциями, но которые, однако, дают заведению известный индивидуальный характер.

Указав с большой верностью на некоторые отличительные стороны каждого из петроградских заведений, Великий Князь заметил, что знакомство с такими особенностями должно представлять большой интерес с воспитательной точки зрения.

Этими словами Великий Князь как бы положил первое начало той большой работы изучения каждого заведения во всех его особенностях, которая занимала его во все годы его управления военно-учебным ведомством. Он отдавался ей и как начальник, и как психолог, и как художник.

Разговор естественно перешел к Инструкции по воспитательной части кадетских корпусов.

Великий Князь сказал, что он прочел ее со всем вниманием, которого она заслуживает, и ценит ее в особенности потому, что в ней нет никаких категорических предписаний, до которых такие охотники начальствующие лица, и которые обыкновенно так неудобноисполнимы в применении к живым людям и к живому делу. Однако в Инструкции для заведений военно-учебных Великий Князь, по его словам, думал встретить больше указаний и советов, относящихся специально к воспитанию будущих офицеров. При большой полноте и обдуманности общих воспитательных мероприятий, она не дает, однако, воспитателю никаких руководящих указаний относительно тех мер, которыми он мог бы развить в своих воспитанниках любовь к

военной службе, уважение к военной доблести, корпоративный дух, заставляющий военного любить свою часть и гордиться принадлежностью к этой части и пр.

Я доложил Великому Князю, что эта Инструкция была составлена первоначально для военных гимназий, которые по существу не были заведениями военными, а только состояли в ведении военного министерства. Инструкция должна была установить только общепедагогические принципы, которыми одними только и жили военные гимназии.

С переименованием военных гимназий в кадетские корпуса Инструкцию пришлось переработать. Но возврат к кадетским корпусам не был принят в военно-учебном ведомстве с большим единодушием. Военно-гимназические педагоги считали, что такое переименование поведет военно-учебные заведения к искажению здравых педагогических принципов и что, следовательно, насколько это возможно, такую реформу надо проводить с большой осторожностью.

Так думало большинство высших чинов военно-учебного ведомства. К таким мыслям, вопреки настойчивому желанию генерала Ванновского, склонился и генерал Махотин. Этот взгляд на военное воспитание отразился и на Инструкции по воспитательной части для кадетских корпусов.

— Но ведь теперь прошло уже столько лет, и взгляды на задачи кадетских корпусов должны были принять другое направление... Неужели и теперь еще в военно-учебном ведомстве могут находиться люди, считающие кадетские корпуса заведениями, сделавшими шаг назад по сравнению с военными гимназиями?

Я должен был сказать Великому Князю, что все люди, стоящие в данное время на высших ступенях и в главном управлении и в заведениях, служили воспитателями или преподавателями в период военных гимназий, и что все воспитательные их воззрения сложились и окрепли еще в то время. Некоторые из них смотрят и теперь еще с опасением и даже с недоброжелательством на все те перемены, которые вызваны переименованием военных гимназий в кадетские корпуса. Я привел несколько примеров.

Составленное мною “Наставление для ведения внеклассных занятий” не встретило первое время одобрения ни в

педагогическом Комитете Управления, ни со стороны директоров на том основании, что регламентация телесных упражнений представлялась им как бы поощрением принципа грубой силы, которой не место в воспитательных заведениях. Потом, ротные командиры в кадетских корпусах до сих пор еще не получили тех начальственных и дисциплинарных прав, которые должны быть сопряжены с этой должностью, только потому, что учреждение этой должности нарушало военно-гимназический строй.

Я должен был добавить к этим примерам, что среди генералов военно-учебного ведомства есть люди, считающие себя как бы призванными хранить чистые педагогические принципы, и которые импонируют своими самоуверенными заключениями в педагогическом Комитете. Не всякий решается им противоречить, чтобы не нанести ущерба своей педагогической репутации.

Великий Князь слушал с напряженным вниманием. Неоднократно он перебивал меня вопросами и замечаниями и милостиво сказал мне, что я открываю ему неведомые для него стороны в жизни военно-учебных заведений. Он посмотрел на часы: “А знаете ли который час? Я думал, что обеспокою вас всего на полчаса, на час; а теперь уже половина первого...”

На другой день мы все собрались к утреннему кофе. Вспоминая нашу вчерашнюю беседу, Великий Князь спросил у Михаила Николаевича Драшковского, в каком корпусе он воспитывался и в какое время, попросил его хотя бы кратко, нарисовать картинку бывшего корпусного и военно-гимназического режима.

— Ах, как это все любопытно и как это для меня ново, — говорил он, слушая его воспоминания. — Так старого директора любили больше, чем нового? — допрашивал он.

— Да, Дмитрий Михайлович Павловский был простой и добрый человек...

— А нового не любили за хитрость? ...

— Так точно, у него были такие лукавые зеленые глаза ...



На московском вокзале Великого Князя встретили директоры кадетских корпусов и начальники училищ. Великий Князь приветливо познакомился с ними; поговорил с каждым из них

в парадных покоех вокзала, наметил в общих чертах порядок осмотра, и начались московские дни.

Здесь, собственно в Москве, началось то, что было позднее при осмотрах провинциальных заведений и что описано мною в 1900 г. Петроградские заведения так доступны для частых и неожиданных посещений, что начальствующим лицам не представляется необходимости посвящать на их осмотры целые дни без перерыва. В Москве Великий Князь стал проводить в заведениях целые дни и наблюдать их жизнь во все часы дня. При первом знакомстве он старался поговорить со всеми чинами заведения и непременно со всеми воспитанниками. И здесь стали прорываться те взрывы восторга, о которых я говорил в описании последующего путешествия Великого Князя.

Отмечу трогательно-добрый прием, оказанный нам, двум чинам, сопровождавшим Августейшего Главного Начальника, Великим Князем Сергеем Александровичем.

Всегдашнее приветливое и ласковое его отношение ко мне, когда я бывал в Москве, заставляет меня с благодарностью чтить его память и с глубокой скорбью вспоминать о мученической его кончине в смутные дни 1905 г.

В день отъезда Августейшего Главного Начальника из Москвы к обеду во дворец были приглашены все начальники московских корпусов и училищ. После обеда они собрались в покоех, занимаемых Его Высочеством Главным Начальником. Великий Князь выразил им полное свое удовольствие состоянием заведений. Поговорил с каждым из них о ближайших нуждах заведения и, отпуская их, он произнес достопамятные слова, которые я слышу еще теперь, когда пишу эти строки:

— До свидания, господа. Надеюсь, мы часто будем с вами видеться: я всей душой полюбил военно-учебные заведения и был бы глубоко несчастлив, если бы их у меня отняли.



Мы едем обратно в Петроград. Настроение приподнятое. Великий Князь видимо полон новыми впечатлениями подробного осмотра московских заведений. Он вспоминает о той сердечной радости, какую вызывало его присутствие в заведениях, о восторженном настроении кадетов и юнкеров, об

их доверии к нему, об их готовности раскрыть ему всю свою душу. Он вспоминает отдельные случаи, и это его трогает почти до слез... Вместе с тем он снова расспрашивает меня о том времени, когда главными начальниками военно-учебных заведений были Особы Императорской Фамилии, о тех переменах, какие претерпели эти заведения при преобразовании корпусов в гимназии, и задумывается над вопросом, что следовало бы сделать, чтобы возратить кадетским корпусам их прежнее патриотическое и военно-подготовительное значение.

❧ II ❧

ДЕНЬ В ВАГОНЕ

С тяжелым грохотом мчится длинный поезд. По сторонам дороги гигантским веером то разворачиваются, то убегают широкие панорамы полей и лесов, городов и сел, рек и озер, оврагов и долин...

В конце поезда вагон Великого Князя. По внешности он такой же вагон, как и другие; но в нем идет самостоятельная жизнь, обособленная от коллективной жизни поезда. Мы остаемся в вагоне по целым дням, иногда по несколько дней, и у нас складывается свой порядок жизни, удобный и приятный для всех, в котором дело правильно чередуется с отдыхом и часами свободной беседы, успокоительной как отдых и поучительной как серьезное дело.

К 8-ми часам мы сходимся в купе-салон к утреннему кофе. Выходит Великий Князь с приветливой бодрящей улыбкой, здоровается с нами и находит для каждого из нас свое особенное слово.

За кофе Великий Князь обыкновенно возвращается к впечатлениям прошлого дня. Он проверяет их в общей беседе, и разговор оживляется. У Великого Князя много доброго, изящного юмора, и он умеет затронуть каждого за его живую жилку. Михаилу Николаевичу достается за его горячий нрав; перепадает и мне за мою будто бы "язвительность".

Так начинается наш путевой день: бодро, с подъемом. После кофе Великий Князь тут же вместе с нами рассматривает

пакеты, получаемые им в пути, из разных подчиненных ему ведомств. Обыкновенно он сам их раскрывает, бегло просматривает бумаги и откладывает такие, которые требуют основательного знакомства с ними. После этого адъютант испрашивает его распоряжения на текущий день и докладывает ему разные прошения, подаваемые в пути.

Окончив дела, Великий Князь раскрывает “Новое Время” и сам читает нам вслух или передает для прочтения адъютанту интересные сообщения и статьи.

Если около этого времени случается продолжительная остановка поезда, то все мы выходим из вагона, и Великий Князь делает прогулку большими и быстрыми шагами вдоль всей платформы, а иногда и много дальше. Со всеми попадающимися нижними чинами он здоровается. Иногда во время таких прогулок он встречает молодых офицеров, бывших кадетов и юнкеров, и, при его громадной памяти на лица, узнает их с величайшей радостью и непременно с чарующей ласковостью расспрашивает их о службе и об их семейном положении.

Если нет остановки поезда именно около этого времени, то все мы прерываем наши дела и во всякое другое время, чтобы подышать свежим воздухом.

Между 10 и 11 часами Великий Князь уходит к себе для работы.

Здесь я должен сказать об удивительном умении Велико-го Князя пользоваться своим временем и о чрезвычайной его работоспособности. В пути у него всегда были определенные часы для работы, и я замечал, что, раз принявшись за работу, он уже сосредоточивал на ней все свое внимание. Все другое отходило от него в сторону. Это дано не всякому, но оттого-то он, даже в дороге, успевал делать обыкновенно очень много, и работа у него спорилась не хуже, как и в спокойные домашние часы. В вагоне он написал очень много чудных стихов для своей Ифигении; в вагоне он набрасывал сцены для Царя Иудейского... В вагоне он успевал прочитывать целые тома серьезных сочинений по разным отраслям знания для своих библиографических статей, не говоря уже об объемистых бумагах и делах, присылаемых ему из разных ведомств.

До обеда Великий Князь занимался по большей части служебными делами, и этих дел бывало немало, даже и в дороге.

Надо сказать, что со времени вступления своего в должность Главного Начальника, он поставил себе правилом прочитывать все журналы педагогических комитетов кадетских корпусов, и читал он их совсем иначе, чем могли читать его помощники и другие чины главного управления. Уже после первых своих поездок он стал помнить очень много кадетов и в лицо и по фамилиям во всех корпусах, и понятно, что, встречая знакомое имя в журнале, он живо представлял себе все те обстоятельства, по поводу которых упоминалось это имя в хорошую или в дурную сторону. При чтении он делал много отметок и замечаний, которые сообщались заведениям.

Отправляясь в путешествие, он брал с собой последние журналы комитетов тех корпусов, которые предполагал посетить. Если в этих журналах были суждения по каким-либо выдающимся случаям, то он предлагал нам прочесть эти журналы, чтобы быть осведомленными о положении дел в заведении.

Кроме того, во время поездок ему присылались из Главного Управления бумаги, требующие безотлагательной резолюции или своевременного знакомства с ними. Эти бумаги тоже отнимали у него довольно времени.

Покончив с делами, он раскрывал свой дневник и заносил в него то, чего не успевал записывать в дни осмотра заведений. Он так привык правильно вести ежедневные записи, что иногда со вздохом говорил нам о пропущенных им в дневнике числах.

Если оставалось время, он брал книгу и углублялся в чтение.

Отмечу маленькую особенность: прочитав интересную книгу, Великий Князь давал ее иногда мне для прочтения, и я обыкновенно видел на заглавном листе аккуратную надпись карандашом: начато там-то, тогда-то; на последней странице стояла дата и место окончания чтения; иногда и в середине книги попадались отметки с обозначением, где и когда читалась такая-то глава или такая-то часть.

Эта незначительная особенность представлялась мне всегда очень характерным указанием того сердечного интереса, с каким Великий Князь относится к книге. Раскрыв такую книгу, не только припоминаешь ее содержание, но и переживаешь те впечатления, при которых было воспринято это содержание.

Обедаем мы обыкновенно около часа пополудни, с нами едет повар Великого Князя, и Михаил Николаевич заведует всей нашей продовольственной частью.

Случается, что в поезде есть лица, желающие представиться Великому Князю или почему-либо ему знакомые: они обыкновенно приглашаются к обеду. Иногда это совсем молодой офицер и кадет, которого Великий Князь узнал и сразу назвал по фамилии, гуляя во время остановки. С этой молодежью во время обеда Великий Князь по обыкновению трогательно ласков. Кадета он сажает около себя, и тот рассказывает ему о своей семье и о своих товарищах, и о том, как ему живется в корпусе.

— Так ты воспитателя своего любишь? — спрашивает Великий Князь.

— Люблю, — отвечает разговорившийся кадет. — Его все у нас любят. Его так и называют: дядя Миша...

— В лицо?

— Никак нет, — говорит он, несколько смутившись. — А кто и в лицо... — процеживает он, чтобы быть правдивым.

Великий Князь доволен. Его трогает наивность мальчика, и он, поцеловав его, отпускает в его вагон... Но вот в таком-то корпусе он встречает полковника такого-то. “Так это вы, дядя Миша”? — весело говорит он ему. — “Душевно рад, что познакомился с вами лично, и дай вам Бог всегда оставаться дядей Мишей для ваших кадетов”.

После обеда, Великий Князь проводит некоторое время в нашем обществе. У нас есть тема для разговора: дядя Миша. Великий Князь удивляется не только чуткости детей, но и умению их дать кличку...

Если предыдущий день был утомителен, если накануне нам поздно пришлось лечь спать, то Великий Князь отдыхал час или полтора и потом снова садился за работу.

Кажется, я не ошибусь, если скажу, что эти часы были в особенности часами его литературной и творческой работы. Он сидел у себя в купе, видимо весь отдавшись делу. Мы его не видим и не слышим в течение нескольких часов.

После чая в 6-м часу Великий Князь остается обыкновенно в нашем обществе на весь вечер. Это наша рекреация. Широкий кругозор Великого Князя, его тонкое понимание вещей

и людей, его поэтическое чувство делают его беседу не только увлекательной, но, как я уже сказал, поучительной в настоящем значении слова. Переживая эти беседы в моей памяти, я должен искренно сказать, что они внесли в мое душевное содержание много такого, чего там прежде не было. И надо заметить, что в этих беседах не было никогда ничего намеренно учительного, это были обыкновенные случайные разговоры, в которых каждый из нас мог без стеснения высказывать свои мысли, выражать свои сомнения, задавать свои вопросы...

Одним из главных предметов разговора были, конечно, военно-учебные заведения, но иногда мы уходили совсем в другие области. Великий Князь много говорил с нами о разнообразных явлениях общественной жизни во всех ее сферах. Разговор приобретал особенный интерес, когда кто-нибудь из нас затрагивал вопросы литературы, музыки, изящных искусств. Великий Князь был полным хозяином в этих вопросах, и нам приходилось слышать от него много такого, что давало нам новую точку зрения даже на знакомые нам произведения. Припоминаю, что благодаря ему я настоящим образом оценил Пьера Лоти и Эдмонда Ростана; что он указал мне на переписку баронессы Раден с Самариным, на Татевский Сборник.

Мне представляется, что если бы мы записывали все то, о чем мы говорили такими вечерами с Великим Князем, то вышла бы очень богатая по содержанию и очень интересная книга.

Иногда мы читали вслух. Но читал вслух и сам Великий Князь. Не могу забыть тех вечеров, когда он читал нам стихотворения Алексея Толстого или *La Princesse Lointaine*, Ростана.

При его удивительно верной интонации драматические вещи выходили художественно хорошо.

Но длинными вечерами в зимние поездки мы предавались иногда и безделью. Как-то в многодневное пребывание в вагоне подало кому-то из нас мысль устроить партию в винт. Играли, конечно, не на деньги, и играли всего раза два, три; мы как-то перестали о нем вспоминать, потому что он все-таки лишает человека свободы.

Но вот случилось, что собралось несколько любителей пасьянса. И вот пасьянсы приобрели право гражданства в расписании нашего дня. Великий Князь раскладывал их главным

образом после обеда или ужина, не переставая разговаривать с нами или слушая наше чтение.

Эта вечерняя беседа затягивается иногда довольно долго. Но около 12-ти часов Великий Князь всегда уже прощается с нами и уходит к себе. Это не значит, однако, что он сейчас же ложится в постель. У него на письменном столе лежит его дневник и на нем Евангелие. Кроме того, он в это время пишет и письма.

Поговорив еще друг с другом после ухода Великого Князя еще с полчаса, мы идем спать; а у него все еще горит огонь, и он сидит углубленный в письмо или чтение...



Темная ночь спустилась на землю. Длинный поезд с грохотом мчится вперед... У нас в вагоне все спокойно. Все спят. Наш дорожный день кончен.

III

ОТЗВУКИ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

Великий Князь часто удостаивал нас разговорами о военно-учебных заведениях. Он всей душой любил заведения, и мысли его часто обращались к этому предмету.

В первое время его озабочивали вопросы о подъеме военного и патриотического воспитания. Потом планы его постепенно расширялись, и у него создавалась целостная система воспитания будущих офицеров русской армии.

Мы были счастливыми свидетелями, как эти мысли зарождались, зрели и приводились в исполнение.

Великий Князь часто обращался к нам за сведениями и справками по разным занимавшим его вопросам. Мы были воспитанниками различных эпох и разных заведений, и, по мере нашего умения, рисовали ему положение дел в наше время.

С живым интересом слушал он наши рассказы, и мы чувствовали, как умел он оценить все то хорошее, что было в военно-учебных заведениях в разное время.

Описывая нашу жизнь в вагоне, я останавливаюсь только на тех сторонах деятельности Августейшего Главного Начальника, которые были связаны с его путешествиями и осмотрами военно-учебных заведений.

В описании первого путешествия Великого Князя мне приходилось уже говорить о впечатлениях, вызванных в нем различными сторонами устройства военно-учебных заведений. Здесь мне по необходимости надо будет повторить иногда то, что было мною записано уже раньше; но там я говорил только о замысле, здесь я буду говорить об исполнении.



В первые наши поездки Великий Князь говорил нам, что он всегда с особенным чувством смотрит на старые знамена кадетских корпусов, хранящиеся в корпусных храмах. Теперь кадетские корпуса кажутся ему обездоленными. Ведь знамя — символ единения, товарищества, корпоративного духа. Ведь это был предмет привязанности питомцев прежних корпусов. Он слышал, что многие, выходя из корпуса, отрывали себе кусочек корпусного знамени и свято хранили его всю свою жизнь. Зачем же теперь это старое знамя стоит как нечто ненужное, не имеющее больше того благодетельного значения, какое оно имело в прежние годы?..

Мы говорили на это, что военные гимназии не имели строевой организации и не были даже, в сущности, заведениями военными...

— Да, — замечал на это Великий Князь, — но ведь теперь кадетские корпуса заведения военные и организация у них строевая. Правда, ружья присвоены одной только первой роте, но ведь чувство военного единения и военной доблести должно заботливо прививаться всем воспитанникам заведения. Знамя и теперь будет таким же символом единения заведения, такой же святыней, какой оно было и прежде, и я глубоко убежден, что дарование корпусу знамени способно возвысить весь нравственно-воспитательный строй заведений.

И вот то, чего не решались сделать до тех пор, чтобы не слишком решительно переходить к военным порядкам преж-

них кадетских корпусов, было сделано. Кадетским корпусам были дарованы знамена.

Я имел счастье находиться при Великом Князе во всех кадетских корпусах, которым он передавал Высочайше пожалованные знамена. И какая это была всегда чудная церемония прибивки и освящения знамени! Как Великий Князь умел придать ей торжественность и возвысить ее значение!

Были и другие вопросы, которые рождались у Августейшего Главного Начальника по мере его знакомства с военно-учебными заведениями. Как я сказал уже в описании первого его путешествия, он обратил внимание на мраморные доски с именами кадетов, ставших первыми по успехам при выпуске в офицеры.

В кадетских корпусах записи на этих досках не шли дальше 1862 года. “Почему же, — спрашивает он, — тогда считалось нужным такое отличие и почему теперь оно считается не нужным? Отчего у кадет всегда перед глазами имена счастливых, учившихся в корпусе до реформы корпусов, и почему так несправедливо оставлены безо всякого внимания учившиеся позже?”

Я докладывал Великому Князю, что педагогические принципы военных гимназий не допускали никаких поощрительных мер: мальчик должен был учиться не из желания награды, а по внутреннему сознанию в необходимости учения.

Великий Князь возражал мне, что этот принцип проводился непоследовательно: не было поощрений, однако были наказания и, в сущности, не обходилось и без поощрения: что такое баллы за поведение и даже баллы за успехи, как не совокупность карательных и поощрительных мер. Если допускалось вывешивание списка с баллами и с распределением воспитанников по старшинству, то почему же были упразднены мраморные доски?

— Может быть, — заметил я, — тут имелось в виду и то обстоятельство, что воспитанники оканчивают курс не в корпусах, а в училищах. Там мраморные доски ведутся непрерывно, как продолжение тех досок, которые были прежде в корпусах.

Эта причина, по мнению Великого Князя, тоже не имела серьезного основания. Был длинный период, когда провинциальные корпуса имели только общие классы и отправляли сво-

их кадетов в специальные классы дворянского полка. Это то же самое, что теперешнее отправление кадетов в военные училища. Однако оканчивавшие первыми в дворянском полку записывались на мраморную доску не только в этом заведении, но и непременно в своем родном корпусе. Мраморная доска, по убеждению Великого Князя, есть памятник лучшим воспитанникам заведения за все время его существования, это почетная страница в истории заведения и, с этой точки зрения, она ни в каком отношении не может идти в разрез ни с какими педагогическими принципами.

Эту свою мысль Августейший Главный Начальник тоже привел в исполнение в первые годы по вступлении своем в должность. Останавливаясь потом перед рядом мраморных досок, он не раз говорил мне, что теперь установлена более твердая преемственная связь между прежними корпусами и теперешними.

Эта преемственная связь стала еще тверже и еще нагляднее с дарованием военно-учебным заведениям их прежнего герба на пуговицах, на поясных бляхах и на головных уборах. Этот герб — двуглавый орел в сиянии — был прежде отличительным знаком военно-учебного ведомства. С переименованием корпусов в гимназии он был упразднен, как и все, что напоминало прежние корпуса. Теперь этот чудесный прежний герб возвращен заведениям, и я имею счастье носить на моем теперешнем кивере то самое сияние, которое носил еще маленьким кадетом на каске в Петровском-Полтавском корпусе.

Великий Князь очень заботился также об укреплении в каждом заведении его исторических воспоминаний. В заведениях вновь основываемых он старался положить как бы первый камень для их истории. Он исходатайствовал многим заведениям Высочайшее соизволение на присоединение к своим наименованиям имен Государей, особ Императорской фамилии или достопамятных русских людей, с воспоминаниями о которых связано существование заведения. Вместе с почетными наименованиями некоторые заведения получили также исторические шифры на погонах.

Преемственности воспоминаний способствуют, в особенности, заботливо составленные исторические музеи. Великий

Князь очень поощрял образование музеев в кадетских корпусах и военных училищах.

— Меня удивляет, — говорил он в первые годы своей деятельности, — что, кроме Николаевского училища и Пажеского корпуса, я нигде не вижу никакой заботы о сохранении исторического прошлого в заведении...

Я высказал Великому Князю мою мысль, что военная гимназия, по существу своих педагогических принципов, не могла иметь заботы о сохранении своих исторических воспоминаний. Педагогическое дело, которое делали тогдашние люди, было, по их убеждению, так логично построено, что не могло и не должно было претерпевать каких-либо изменений. Оно должно было идти сегодня, как завтра. Конечно, во всяком деле бывают колебания и в дурную и в хорошую сторону, но для людей того времени такая нестойкость не могла считаться достойной какого-либо увековечения. Потом, раз убраны мраморные доски, не могло быть никакого разговора о сохранении каких-либо воспоминаний о бывших питомцах. Остались только черные мраморные доски в храмах: по патриотическому своему значению они были неприкосновенны.

— С тогдашней точки зрения, — продолжал я, — в музей военной гимназии нечего было бы поместить другого, как только разве средний балл среднего кадета за средний период времени...

— Я, может быть, сгущаю краски, но я имею на это основание. История заведения была не в почете: когда стали подходить юбилейные годы провинциальных корпусов, то попытки внести в исторический очерк заведения какие-либо характерные бытовые черты решительно не поощрялись управлением. Такие очерки сокращались, переделывались и сводились только к нескольким датам: тогда-то был назначен такой-то директор, тогда-то состоялся такой-то приказ... Потом список чинов и кадетов... и тут все.

— В словах ваших действительно есть преувеличение, — говорил мне Великий Князь, — но по существу вы правы. Наши заведения вообще не имеют той индивидуальности, которая складывается годами самобытной жизни; если же в некоторых корпусах и можно заметить нечто подобное, как например в Полоцком, в 1-м Московском, то это обыкновенно пережитки старого вре-

мени, товарищеская сплоченность старых кадетов, всегда почти ослабевавшая за период военных гимназий...

Эти мысли Великого Князя о закреплении исторического прошлого заведений были восприняты во многих кадетских корпусах. В большинстве заведений было положено основание исторических музеев, и в некоторых корпусах эти музеи заключают в себе в настоящее время очень редкие и ценные собрания, восстанавливающие жизнь заведения за длинный период его существования. Таковы в особенности музеи 1-го Московского и 1-го кадетских корпусов.

Эта забота о закреплении исторических воспоминаний в каждом отдельном заведении имеет, разумеется, очень большое значение. Она заставляет воспитанников гордиться своим заведением и любить его, как памятник родного прошлого.



Мне приходилось говорить уже раньше, что Великий Князь обратил внимание на слишком однообразный воспитательный режим для кадетов разных возрастов. Ни в Инструкции по воспитательной части, ни на практике не было установлено никакого различия в требованиях и в степени оказываемого им доверия между маленькими кадетами и юношами, оканчивающими корпусный курс.

Для закрытого заведения это вопрос трудный. Регламентировать его почти невозможно. Великий Князь говорил об этом с директорами и в педагогических комитетах заведений.

Не все директора были одинаково отзывчивы к этой мысли. Люди, помнившие военно-гимназический режим, считали, что предоставление воспитаннику большей или меньшей самостоятельности и оказание ему доверия определяется ему не возрастом, а личными свойствами воспитанника, и зависит от усмотрения воспитателя. Другие, сочувственно отозвавшиеся на эту мысль, не всегда умели применить ее на деле. В одном корпусе случилось, что директор предложил воспитателям не приходить на вечерние занятия кадетов VII класса, чтобы не мешать их самостоятельной работе. Надо было объяснять, что дать самостоятельность вовсе не значит освободить юношу от всякого воспитательного руководства...

Дело, однако, понемногу наладилось. В режиме старших рот уменьшилось число таких мелочных требований и запрещений, которые имеют свое место в младших ротах, но являются ненужным стеснением для юношей. Порядок от этого не пострадал, а утвердился. Случаи массового неудовольствия отошли в предание.

В связи с вопросом о предоставлении самостоятельности кадетам старших классов Великий Князь лелеял мысль о том, что лучшие кадеты выпускного класса могли бы оказывать помощь воспитателям младших рот, находясь возможно чаще при маленьких кадетах и исполняя по отношению к ним обязанность старших. Были директоры, опасавшиеся этой меры. По их мнению, присутствие старшего кадета нарушает целость воспитательного влияния; кроме того, они ссылались на не всегда удававшуюся меру назначения старших в прежних корпусах.

Но в некоторых заведениях эта мысль была приведена в исполнение и, судя по периодическим донесениям, дала очень утешительные результаты.

К сожалению, это нововведение не получило той устойчивости, какой оно заслуживает. Причина в том, что, отдавая свое время маленьким товарищам, старшие кадеты не успевали готовить своих учебных работ и принимать участие во всех обязательных занятиях, положенных для старшей роты.

Получая донесение о работе старших кадет, Великий Князь с умилением передавал нам о разных случаях благотельного влияния старшего товарища на маленьких кадет. Но он не настаивал на укреплении этой меры, так как она, по его словам, может принести хорошие плоды только при полном сочувствии к ней всех чинов заведения.



Заботясь о придании кадетским корпусам характера заведений военно-подготовительных, Великий Князь, естественно, должен был обратить внимание на организацию в них воспитательной части.

В военных гимназиях эта организация была очень проста. Во главе заведения находился директор, и под непосредственным его началом стояло 15—20 воспитателей, заведующих классными отделениями. Классы группировались по возраст-

там, которых в гимназии было обыкновенно три; но возрастом как самостоятельной единицей никто не ведал.

При преобразовании гимназии в корпус возрасты были переименованы в роты и учреждена должность ротного командира.

Я докладывал Великому Князю еще в первую поездку с ним о неопределенной постановке этой должности. Не имея никаких начальственных и дисциплинарных прав, ротный командир не мог быть руководителем воспитателей своей роты, особенно если директор смотрел на учреждение должности ротного командира, как на помеху правильного хода воспитания. А такие директора были. Рассказывали, что один из них, на вопрос нового ротного командира, в чем будут состоять его обязанности, ответил: “В том, чтобы вы как можно реже показывались в вашей роте”.

Великий Князь находил это невероятным.

Я доложил ему, что это могло быть...

— Но ведь ротный командир, — ответил мне Великий Князь, — выбирается из опытнейших и способнейших воспитателей; чем же он может мешать директору в выполнении его педагогических мероприятий? Для директора он опытный помощник, а для воспитателя он должен быть не только руководителем, но и начальником.

Вопрос о постановке ротного командира в правильные начальственные и дисциплинарные отношения к воспитателям своей роты был поставлен Великим Князем на обсуждение педагогического комитета Главного Управления. Были и при этом обсуждении мнения о бесполезности ротного командира, но большинством голосов вопрос был решен в положительном смысле. И это оказалось выгодным в том отношении, что многолюдный интернат, с большой разницей в возрасте воспитанников, как бы разделился на три или на четыре интерната, каждый для определенного возраста, под начальством своего ротного командира и под верховным главенством директора.



Будущему историку придется упомянуть о многих мероприятиях, вызванных одним и тем же ясно понимаемым стрем-

лением повысить воспитательное и учебное дело в кадетских корпусах и училищах и дать военно-учебным заведениям тот военно-воспитательный характер, который они должны иметь по самому своему назначению.

Он расскажет о переработке учебных программ для военных училищ и для кадетских корпусов; о съезде учителей русского языка в 1903 г. и о съезде воспитателей кадетских корпусов в 1908 г.; об организации для военных училищ чтений по вопросам государственного и общественного строя в 1906 г. и о чудесном циркулярном письме Великого Князя о подъеме патриотического воспитания; он упомянет о пересмотре пищевого режима в кадетских корпусах и военных училищах и о многих других мероприятиях воспитательного, административного и хозяйственного характера, на которых я, по самой задаче моих воспоминаний, останавливаться не могу. Я говорю здесь только о тех отзвуках большой работы, к которым мы могли ближе прислушиваться во время наших поездок.

Без сомнения мы говорили обо всем, что делалось и предполагалось сделать по военно-учебному ведомству. Но, чтобы передать все эти беседы, мне нужно было бы иметь в руках стенографическую их передачу. Я и то боюсь, что, может быть, местами впадаю в неточности. Я забочусь об общей характеристике большой работы, предпринятой главным начальником военно-учебных заведений, и мне кажется, что в немногих помещенных здесь вопросах эта характеристика сказывается довольно ясно. Упомяну здесь еще об одном только предмете наших бесед, имеющем первостепенное значение, — воспитании.

Будучи человеком искренно и глубоко религиозным, Великий Князь прилагал много усилий для подъема религиозно-нравственного воспитания.

Всегда во всех своих беседах с воспитанниками, беседах, которые уже по одной своей форме ласкового, душевного разговора неотразимо на них действовали, он с особенной серьезностью затрагивал вопросы нравственности и религии.

На уроках Закона Божьего он старался дать себе отчет, имеют ли эти уроки значение для пробуждения в кадетах твердой веры. Способствуют ли они должному уразумению священного писания и догматов православной веры. Вместе с тем,

он всегда проверял, знакомы ли кадеты с содержанием книг Священного Писания и охотно ли их читают.

Присутствуя в корпусах и училищах на богослужениях, он сам являлся образцом благоговейного и молитвенного отношения к совершаемым обрядам и настойчиво следил, чтобы молитвословие во время службы и молитвы утренние, вечерние и в другое время дня читались кадетами без торопливости, внятно и с благоговением.

— Меня удивляет, — говаривал он не раз, — совершенное равнодушие кадет к урокам Закона Божьего. Эти уроки не дают им ни сведений, ни религиозно-нравственного настроения. В церкви кадеты стоят вообще недурно, но молятся из них весьма немногие. Вечером, в маленьких ротах, я вижу, после общей молитвы, молящихся перед ротным образом, перед отходом ко сну; но в старших ротах это уже явление очень редкое. Какой же смысл преподавания Закона Божьего в кадетских корпусах? В чем выражается воспитательная деятельность законоучителя?

Мы высказывали наше предположение, что это происходит от самой постановки Закона Божьего в кадетских корпусах. Закон Божий преподается не от сердца, а от разума. В катехизисе делаются такие выводы, которые не могут иметь никакого значения, если ученик не имеет искренней веры; и притом этот катехизис кадеты изучают в таком возрасте, когда он недоступен еще для их понимания. На священника кадеты смотрят, прежде всего, как на учителя скучного и непонятного для них предмета, а потом уже, — и это не всегда, — как на наставника в вере и в христианской нравственности. Поэтому кадеты не только на воспитываются в вере, но теряют даже всякий интерес к священному писанию.

— Всякий раз, когда я бываю в корпусе на богослужении, — докладывал я Великому Князю, — я спрашиваю после службы у нескольких кадетов старшей роты, от какого евангелиста и какое Евангелие читалось во время службы. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что не всегда даже один кадет из десяти мог ответить на такой вопрос...

Озабоченный этим предметом, Августейший Главный Начальник учредил комиссию, при участии законоучителей всех петроградских военно-учебных заведений, для рассмотрения

вопроса о преподавании Закона Божьего и очень интересовался работами этой комиссии.

Убедившись вместе с тем, что кадеты, даже заботливо воспитанные в религиозном отношении, мало знакомы со Священным Писанием, и что этому знакомству не способствует проходимый в корпусах курс Закона Божьего, он особым приказом выразил желание, чтобы в кадетских корпусах ежедневно читалось Евангелие, предоставляя директорам и законоучителям организацию этого дела соответственно местным условиям.

— Ведь вы ежедневно моетесь и заботитесь о своей внешней опрятности, — говорил он собравшимся вокруг него кадетам, — тем более вам надо заботиться о чистоте вашей души: ежедневно читайте Евангелие и благоговейно проникайтесь его учением...

Находились педагоги, говорившие, что такое принудительное чтение не воспитает любви к Евангелию, а что для маленьких кадетов рано еще читать Евангелие, т. к. они его не могут понять.

Но, казалось бы, сами же эти господа должны бы были помнить, что все воспитание основано на привитии добрых привычек, и что нет такого возраста для человека, когда слышание слова Божьего было бы для него излишним.

IV

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ИТОГИ

Вчера закончился осмотр кадетского корпуса или военного училища. Великий Князь пробыл в городе дня два или три; сегодня мы едем дальше и обмениваемся впечатлениями.

Из моего первого очерка в 1900 г. можно уже составить себе впечатление о характере смотров, производимых Великим Князем. Здесь я должен, однако, еще раз на этом остановиться. Смотры Великого Князя нельзя ни в каком отношении ставить в параллель со смотрами, как они обыкновенно делаются. У него была драгоценнейшая способность быть очень представительным и формальным там, где это нужно по самой сущности дела, и отрешаться от этой формальности, когда она не

требуется ни для поддержания достоинства начальника, ни для внушительности смотра.

За всю многолетнюю мою службу я почти не встречал этой способности у начальства, производящего смотры. Отдав долг формальной стороне дела, Великий Князь становился доступным, ласковым и сердечным человеком для всего личного состава осматриваемого им заведения, от самого старого до самого малого. Я говорил уже, как принимали это кадеты и юнкера, и понятно, что он выносил из осмотра заведений так много, как никогда не выносили его предшественники — главные начальники. Побывав в заведении один раз, он знакомился с ним не только с той внешней стороны, которая доступна многим, но и с той внутренней, которая открывается для очень немногих. Он познавал душу заведения. Посещая заведение вторично, он входил в него как в знакомую уже для него среду, и ему оставалось только следить, как растут и мужают его питомцы и как это отражается на внутреннем складе заведения.

Уезжая из заведений, он уносил с собой несравненно больше впечатлений, чем мы, его спутники, тоже принимавшие участие в осмотре. Бывало, докладываешь ему: “Вчера, в такой-то роте, я читал в журнале дежурств...” Оказывалось всегда, что Великий Князь знает и этот и другие случаи, но не по журналу дежурств, а от самих кадет. И что он даже серьезно беседовал с ними по поводу этих случаев.

До какой степени близко Великий Князь знакомился с составом кадетов, можно видеть из одного совсем невероятно случая. Как-то на воспитательных курсах слушателям было предложено для упражнения написать характеристику вымышленного или знакомого им воспитанника, выделяющегося из общей среды своими нравственными особенностями. Эти характеристики были предоставлены Великому Князю. Ознакомившись с ними, он с удивлением останавливается на одной из них. В ней изображен знакомый ему мальчик, он в этом не ошибается. Но этот мальчик находится в таком-то корпусе, а характеристика написана воспитателем другого корпуса.

Однако Великий Князь хорошо знает и воспитательский состав кадетских корпусов. Он тот час же припоминает, что автор этой характеристики года два тому назад был переведен

на теперешнее место своей службы как раз из того корпуса, в котором находится описанный им мальчик. Справились у воспитателя, и тот назвал именно того мальчика, которого узнал Великий Князь в его описании.

Если принять в соображение, что всех кадетов, состоявших в то время в ведении Главного Начальника, было около десяти тысяч, а в том корпусе, в котором находился кадет, признанный Великим Князем по его характеристике, их было более четырехсот, то такой случай, при обыкновенных обстоятельствах, представится, конечно, выходящим из ряда вон. Но у Великого Князя случаи, подобные рассказанному, бывали не раз. Люди, служившие под его начальством, хорошо это помнят.

В смотрах Великого Князя была и еще одна особенность. Вынося так много впечатлений, он всегда придавал гораздо больше значения впечатлениям благоприятным, утешительным, свидетельствующим о правильной работе в осмотренном заведении, чем впечатлениям неприятного характера, обнаруживающим слабые стороны заведения.

Все то хорошее, что он наблюдал в заведении, он считал явлением постоянным, неотъемлемым от заведения и составляющим его главную характерную черту.

Если ему приходилось видеть слабые стороны заведения, неудовлетворительную постановку того или другого дела, он склонен был считать это явлением временным, исправимым при доброй воле начальства заведения. А в этой доброй воле он не сомневался.

Как это не похоже на обыкновенные смотры. Никогда Великому Князю и в голову не могло придти не только распечь сгоряча человека, отбывающего смотр, но даже просто обратиться к нему с немотивированным выражением неудовольствия. И он достигал этим гораздо больших результатов, чем подозрительностью и горячностью. В его управлении все недочеты действительно были явлениями временными, так как все работали с готовностью, ободряемые и поощряемые личным примером и благородным доверием своего Главного Начальника.

Это благожелательное отношение Главного Начальника ко всему составу подведомственных ему чинов и уверенность, что добрые результаты могут быть достигнуты только спокойным

выяснением требований, были особенно заметны для нас, его спутников. Проверая свои впечатления, он вспоминал прежде всего то, что он нашел хорошего в заведении.

В такие минуты он не хотел слышать ничего клонящегося к осуждению.

— Пожалуйста, поберегите вашу ложку дегтя и не портите нам нашу бочку меда, — обращался он ко мне. — Я ведь знаю, у вас всякий человек — хороший человек, только у всякого из них есть непременно и что-нибудь дурное...

Великий Князь высказывал, разумеется, во время своих осмотров все свои впечатления — и дурные и хорошие, и делал обстоятельные указания на те стороны дела, которые требуют улучшения. Но в приказах по военно-учебным заведениям он никогда не объявлял во всеобщее сведение таких слабых сторон или упущений, которые могли бы выставить заведения в неблагоприятном свете.

Иногда в разговорах с нами он со своим добрым, заразительным юмором вспоминал замеченные им неловкости или странности.

Однажды, припоминая урок русского языка в маленьком классе, он говорил: “Как вам понравился Воздушный Корабль? Не правда ли, тут было все, и география, и история, и физика, и химия, и метеорология, и кораблестроение, и не было только Воздушного Корабля... А ведь какой почтенный и знающий учитель... Не знаю, он ли тому причиной или в этом грешат наши требования, но у него из-за деревьев не видно леса...”



В Главном Управлении военно-учебных заведений есть документальные сведения о плодотворности этих осмотров. Приказы и распоряжения Великого Князя могут служить поучительным материалом для всякого человека, стоящего во главе учебно-воспитательного дела. Директоры корпусов и начальники училищ того времени с теплым чувством вспоминают эти приезды Великого Князя и могут засвидетельствовать, что своими посещениями заведений и беседами с молодежью он вносил успокоительное и радостное настроение, много об-

легчавшее постановку воспитательного дела. Родители воспитанников, без сомнения, и до сих пор еще с умилением вспоминают доброту Великого Князя к их детям.

Теперь это время для нас прошлое и невозвратно прошлое, но память о Великом Князе Константине Константиновиче никогда не умрет среди русских людей. В Высочайшем манифесте о Его кончине с высоты престола засвидетельствовано, что он “положил много труда и забот по высшему руководству делом военного образования юношества, давшего столь доблестный состав офицеров, геройские подвиги коих в настоящую войну навсегда запечатлеются в истории русской армии”. Преклонимся же низко перед светлой памятью Великого Князя, положившего так много великой любви и просвещенного труда на дело военного воспитания русского юношества.

А. Д. Бутовскій.

ГОДЫ
МОЕГО УЧЕНЬЯ

въ

Петровскомъ-Полтавскомъ

КАДЕТСКОМЪ КОРПУСЪ.

Посвящается

родному корпусу по случаю его 75-лѣтїя, 1840—1915 г.



ПЕТРОГРАДЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28

1915.

*Посвящается родному корпусу
по случаю его 75-летия, 1840—1915 гг.*

Годы моего учения в Петровском-Полтавском кадетском корпусе



Я поступил в Полтавский корпус в августе 1849 года. Мне было тогда 11 лет. Я был хорошо подготовлен тут же в Полтаве, в пансионе Пельпор-Ганнот, и меня приняли прямо в I общий класс. Как новичка и малолетнего, меня зачислили в неранжированную роту.

В объяснение этих терминов, неизвестных позднейшим питомцам нашего корпуса, надо сказать, что губернские корпуса имели тогда четырехсотенный комплект и делились на четыре роты и шесть классов. Старшие роты имели тогдашние регламентарные наименования: Гренадерская, 1-я мушкетерская



Петровский кадетский корпус

и 2-я мушкетерская. Эти роты составляли батальон, обучались с ружьями, имели для парадных случаев мундиры, тесаки с широкими и толстыми белеными ремнями и даже ранцы на случай похода из корпуса в лагерь.

Неранжированная рота ничего этого не имела. Тут кадеты носили только повседневное тогдашнее кадетское платье — куртку с очень высоким и твердым стоячим воротником, застегивавшимся на четыре крючка, и очень стеснительные панталоны без прореза, летом серые нанковые, зимою синеватые суконные.

Новички младших классов определялись всегда в неранжированную роту, в которой и оставались обыкновенно около двух лет; потом их переводили во 2-ю мушкетерскую, а оттуда через год или два в одну из двух старших рот, главным образом в зависимости от их роста: высокие шли в гренадерскую роту, кто пониже — в 1-ю мушкетерскую.

Из шести классов два младших назывались приготовительными, четыре старших — общими. Я поступил, стало быть, прямо в третий класс, и если бы я не был молод для своего класса и был более плотен на вид, то меня могли бы назначить прямо во 2-ю роту.

Наша неранжированная рота находилась за церковным коридором, там, где теперь помещается лазарет корпуса, а лазарет был в нижнем этаже под нею. Налево от коридора была рекреационная зала, направо спальня.

Войдя в залу, я нашел в ней такое оживление, к какому я не привык в пансионе, потому что там не было такого простора. Тут все дышало жизнью. В глубине залы под форменным портретом императора Николая Павловича стояло большое кресло, и в нем сидел дежурный офицер, в тогдашнем коротком и узком мундире с фалдами, в эполетах и в шарфе, с длинными висящими концами и тяжелыми кистями; перед ним на столе стояла его каска и лежали перчатки. Упоминаю обо всем этом потому, что до того времени мне едва ли приходилось хоть раз видеть военную форму во всем блеске.

Мне бросилось в глаза, что офицер цветом и формой своих усов и бакенбард, своей прической и корпуленцией слегка напоминает черты висевшего над ним портрета. Это был Андрей Иванович Полонский, один из очень немногих, оставшихся на службе и после преобразования корпуса в военную гимназию.



Вокруг стола толпились кадеты, очевидно, хорошо уже освоившиеся с корпусом, и звучно разговаривали с офицером. Андрей Иванович был не речист, но умел иногда сказать бойкое слово, за которым следовал звучный взрыв хохота веселых мальчуганов.

Когда швейцар подвел меня к нему, он ласково посмотрел на меня: “А, нашего полку прибыло!” — записал на лежащем перед ним листе бумаги мое имя и фамилию и сказал: — “Ну, иди, мой милый, знакомиться с другими новичками; вот, посмотри, сколько их там сидит...”. По зале бегали и кружились другие мальчики в форменных курточках; у столов и у стен смиренно ютились только что поступившие новички в собственных платях. Их не трогали и не обижали намеренно, но не обходилось без того, чтобы иной сорванец, пробегая мимо новичка, не помахал задорно своею рукою перед самым его носом и не объяснил ему, что “воздух казенный”.

Когда построились к ужину, нас, новичков, поставили на левом фланге, чтобы мы не мешали идти в ногу.

В это время пришел наш ротный командир капитан Василий Иванович Дудышкин.

Когда вернулись от ужина, он собрал всех нас новичков в спальню, поговорил с каждым из нас особо, а потом стал объяснять нам, что надо делать и как надо себя вести, чтобы поскорее сделаться настоящим хорошим кадетом.

Его речь была так проста, так благодушна, так доступна нашему пониманию и так верно затрагивала наши детские сердца, что мы легли спать совсем успокоенные и проснулись на другой день с таким чувством, как будто мы уже совсем свои в этой новой для нас обстановке.

Сразу же мы полюбили Василия Ивановича и сохранили эту любовь к нему во все годы нашего пребывания в корпусе.

На следующий день нас развели по классам, которые все находились на третьем этаже; только для I приготовительного были устроены два отделения при неранжированной роте.

В моем отделении I общего класса я оказался единственным новичком и единственным неранжированным кадетом. Большинство было из II-й мушкетерской роты, но были старички и из I-й. Я очутился таким образом в особом и невыгодном положении. Все говорили со мною так, как-будто меня

надо было еще просвещать, а когда разговор заходил о каких-нибудь особенных кадетских делах или штуках, то все это облекалось передо мною в какую-то таинственную форму, и к таким разговорам меня не допускали.

П

О прежних кадетских корпусах, которые были преобразованы в военные гимназии и военные училища, писали и говорили много и с очень различных точек зрения. Одни, по большей части бывшие питомцы этих корпусов, вспоминали о них с большою теплотою и находили обыкновенно, что преобразование кадетских корпусов в военные гимназии понизили некоторые очень важные стороны в воспитании будущих офицеров. Другие, — надо правду сказать, что и между этими последними бывали также старые кадеты, — относились к воспитательному режиму прежних корпусов с решительным осуждением и описывали годы пребывания своего в этих заведениях в довольно мрачных красках.

Все зависит, разумеется, от преобладания положительных или отрицательных представлений в личных воспоминаниях человека. Поэтому именно воспоминания старых людей редко бывают объективны и, если они не основаны на фактичеких данных, то даже при большом их литературном достоинстве они редко дают вам самые характерные особенности описываемых событий и явлений.

Я вспоминаю годы моего учения в Полтавском корпусе с самым теплым чувством. Я до сих пор, попадая в Полтаву, не могу без волнения смотреть на монументальный фасад, на огромный круглый принадлежащий когда-то корпусу сад с чудесным величественным памятником Полтавской победы; я и теперь еще с каким-то трепетным умилением вхожу в это так давно и так хорошо знакомое мне здание, с его бесконечными гулкими коридорами, огромными залами, и считаю себя и теперь еще счастливым, когда мне удастся простоять службу в чудном корпусном храме с необъятными царскими вратами и с художественным иконостасом, строго выдержанном в



стиле Empire. Я снова вижу себя мальчиком, счастливым, бойким; передо мною воскрешают тени прошедшего, тени милые тени...

Мне тоже, разумеется, трудно быть объективным.

Но я долго служил в военно-учебном ведомстве, я был близким свидетелем расцвета военных гимназий и обращения их в новые кадетские корпуса. Я принимал участие в работах по усовершенствованию воспитательной и учебной части в этих новых заведениях и потому мне кажется, что я довольно ясно представляю себе разницу между воспитательным режимом прежних кадетских корпусов и теперешних.

В моих воспоминаниях я с понятным благодарным чувством могу остановиться иногда на хороших, радостных днях моей жизни в корпусе, а таких дней у меня было много, но надеюсь, что у меня всегда найдется масштаб для оценки отрицательных явлений в нашей старой корпусной жизни.

Случается иногда слышать, что новые кадетские корпуса мало отличаются от прежних, дореформенных. Но это могут говорить люди, знающие прежние корпуса только понаслышке.

Разница и в воспитательном, и в учебном режиме и вообще во всех сторонах внутренней жизни этих заведений была очень большая.

Начать с того, что прежние корпусные офицеры не были воспитателями в том смысле, как мы понимаем это теперь. Такая обязанность не возлагалась на них и по закону.

Номинально они ведали отделениями, но не классами, а строевыми, в которые по росту попадали кадеты разных классов. Но заведывание это было именно только номинальное. Они приходили после утренних классов, чтобы присутствовать на строевом учении, которое преподавалось нам присылаемыми из образцового полка нижними чинами; ретивые офицеры осматривали иногда у нас учебники или тетрадки, но, сколько помню, этим, в сущности, и ограничивалась их воспитательная работа.

В действительности отделением управлял кадет унтер-офицерского звания; он наблюдал за тем, чтобы мы были во всех отношениях исправными кадетами, и имел право ставить нас на штраф за разные кадетские провинности.

Через три дня в четвертый офицеры дежурили, одетые целый день в парадную форму, и в этом, в сущности, состояла их главная обязанность. Они должны были смотреть за правильным течением жизни во всей роте. Были между ними такие, которых кадеты любили и которые заслуживали этой любви своим ласковым обращением; были безразличные, молчаливые, видимо скучавшие на дежурствах; были и строгие, ставившие в неранжированной роте на штраф, под лампу, и оставлявшие без блюд за ужином, но настоящим блюстителем порядка среди кадет был фельдфебель, особенно же, если дежурил офицер из чужой роты, что в то время нередко случалось.

Скажу еще, что отделенные офицеры не имели решительно никакого отношения к нашим учебным занятиям. Это была характерная особенность того времени. Никому из кадет и в голову не могло прийти обратиться к офицеру за помощью, например, в приготовлении уроков. Да, я думаю, едва ли они были и в состоянии, за единичными разве исключениями, оказать такую помощь. Было между ними два, три человека, которые преподавали даже учебные предметы и потом перешли на учительские должности, — довольно назвать учителя географии Туржанского и учителя математики Сильвестровича, — было несколько поступивших уже при мне из артиллерии, каковы Самойлов, Рубец (Петр Павлович), и видимо стоявших выше других по образованию. Но в огромном большинстве это были люди очевидно не высокого учебного ценза. Я, кажется, не ошибусь, если скажу, что все это были типичные армейские офицеры того времени из недоучившихся дворян, производившихся после длинного срока юнкерской муштровки.

Замечу, что за помощью в наших учебных заведениях мы не могли обращаться и к нашим унтер-офицерам; они, как и мы, бывали погружены в приготовление своих собственных уроков.

Таким образом, нам не было в этом отношении решительно никакой помощи: справляйся сам со своим учебным делом, как знаешь.

Я думаю, что этим объясняется тот большой осадок неуспешных, который обыкновенно образовывался в прежних кадетских корпусах и который распределялся в прапорщичих чинах по линейным и гарнизонным батальонам. Но в этих



трудных условиях вырабатывалась также и та большая работоспособность, которой отличались в свое время не только выдающиеся, но и средние люди старого кадетского режима.

В похвалу офицерам моего времени могу сказать, что между ними не было таких, к которым кадеты относились бы с ненавистью. Были между ними люди мелочные, придирчивые; но за четыре года моего пребывания в корпусе я не помню таких, которых кадеты подозревали бы в подсматривании, в подслушивании или в ловлении.

Правда, и кадеты в мое время были довольно покладисты.

Об этом мне придется еще говорить ниже.

III

Действительными воспитателями, несущими ответственность за нравственное состояние кадет, были в то время ротные командиры, и никто другой не разделял с нами этой ответственности. Они были и полными хозяевами в своих ротах.

Я считаю, что именно эта капитальная особенность в организации старых кадетских корпусов совершенно отличала их от новых корпусов, преобразованных из военных гимназий, и меня удивляет, что на эту особенность совсем не обращали внимания бывшие кадеты, писавшие свои воспоминания.

За мое время гренадерской ротой командовал капитан Иван Романович Тимченко-Рубан, 1-й мушкетерской — капитан Виктор Иванович Евдокимов, 2-й мушкетерской — капитан Рихтер (кажется, Егор Карлович). Этого Рихтера я едва помню, так как он скоро вышел в отставку, а на его место был назначен Василий Семенович Клименко. Командиром неранжированной роты, за весь первый год моего пребывания в ней, был Василий Иванович Дудышкин.

Это был, без всякого сомнения, очень выдающийся человек не только между ротными командирами, но и во всем составе военных и гражданских чинов корпуса.

Сколько помню, он учился в Московском Межевом институте. Когда он был зачислен в корпус, я не знаю; но поступил он учителем математики и физики. Роту он принял только вес-

ной, за несколько месяцев до моего поступления в корпус, и оставался он ротным командиром только до конца учебного года, так как его переместили на должность помощника инспектора классов после вышедшего в отставку Василия Антоновича Скалона.

Василий Иванович продолжал свою учительскую работу и в то время, когда был ротным командиром, и потом, до конца своей службы в корпусе, и это был один из самых способных учителей, каких только мне приходилось знать впоследствии.

Припоминаю, что он удивлял нас в старших классах своей математической находчивостью, что мы любили сидеть у него в классе, потому что объяснения его были всегда удивительны даже для малоспособных.

В то время не было еще учебников по многим предметам; учителя выдавали нам свои записки, которые мы списывали в тетрадки. Листки Василия Ивановича были всегда написаны так чисто, формулы были расположены так наглядно и красиво, рисунки от руки были такие понятные и занимательные, что у многих рождалось желание писать и чертить так, как это делает Василий Иванович.

Он был, вместе с тем, человеком многосторонне образованным и умел делать всякое дело с простотой и благодушием талантливого русского человека. Надо было учителя физики, он читал физику и прекрасно делал опыты; вводился новый учебный предмет, ботаника, и, пока не было специалиста, он читал ботанику и водил даже кадет на гербаризацию.

Надо было, праздниками, поставить кадетский спектакль, а в то время это было важное дело, так как мы не ездили на праздники в отпуск, и Василий Иванович выбирал пьесу, раздавал роли и с большим умением занимался репетициями.

Все эти свойства Василий Иванович вносил и в свое управление ротой. Он обращался с нами, как с детьми; все, что было нужно, он разъяснял нам спокойно и просто, и ему никогда почти не приходилось прибегать к наказаниям.

Я думаю, что по тому времени его сослуживцы считали его слабым; может быть, отчасти это так и было, но зато с какой готовностью он поощрял всякие хорошие проявления. Помню, он приносил нам иногда в подарок книги, которые могли быть нам полезны в нашем учении; раз он подарил мне фран-



цузский учебник ботаники с очень интересовавшими меня гра-
вированными рисунками.

Таких, которые хорошо учились за неделю, человек трех,
четыре, он брал иногда с собой по воскресеньям погулять
по городу, накупал им лакомства, картинок и приводил к себе
пить чай. Он был тогда еще человеком одиноким, но неболь-
шая квартира его в главном здании корпуса представлялась
нам чем-то в роде музея или лаборатории. Были тут и физиче-
ские приборы, и гербарии, и аквариумы, и террариумы, и новые еще
тогда гальванопластические работы, и все это бесконечно нас
занимало.

Но даже и такому человеку, как Василий Иванович, не под
силу была воспитательная работа над каждым из ста человек,
составлявших его роту. Теперь это для нас ясно, но тогда иначе
понимали и задачу и сам процесс воспитательского дела. Ду-
мали, что надо было вести не отдельные единицы, а массу; что
было главным образом следить, чтобы все исправно выполня-
ли то, что следует, порядочно учились и порядочно вели себя.
Отстающих надо было подгонять, выдающихся в хорошую
сторону своим поведением и учением признавалось полезным
поощрять. Но внутренний мир отдельного мальчика мог от-
крыться ротному командиру разве только случайно, и не вся-
кий ротный командир понимал в то время, как ему надо было
поступать в таком неожиданном случае.

Василий Иванович это понимал, но сто человек воспитан-
ников было много и для него. Фельдфебель и унтер-офицеры
не могли в то время оказать ему большой помощи. Они могли
исправно наблюдать, чтобы у кадет были почищены пуговицы
и сапоги, чтобы куртка не была разорвана у них под мышками,
но они ведь сами дошли до III или IV общего класса, подчиня-
ясь только массовым влияниям и требованиям, и их самих надо
было еще воспитывать.

Были между нашими старшими юношами по натуре очень
хорошие, умеющие обращаться с нами мягко, даже участливо.
Таков был и первый фельдфебель Лишин (Андрей), таков был
один из унтер-офицеров нашей роты, Яков Кучеров. Не могу
сказать дурного и об остальных; в них не было ничего безнрав-
ственного или злого, но мы решительно не были склонны
обращаться к ним с нашими задушевными запросами.

Скажу здесь же, что бывали, конечно, очень неудачные назначения старших в неранжированную роту. Я слышал рассказы об одном возмутительном драчуне. Это было уже после меня; но при некотором даже чисто формальном надзоре со стороны ротного командира такие случаи могли быть только как редкие исключения.

Другие ротные командиры понимали свои обязанности проще, чем Василий Иванович. Иван Романович Рубан, воспитанник Павловского кадетского корпуса, был человек добрый, общительный и говорливый; очень любил рассказывать, какие молодцы были кадеты в его время и в его корпусе; любил зайти в певческий класс, к Николаю Михайловичу Спасскому, и показать, как пели в Павловском корпусе басовую партию Симоновской херувимской; отлично командовал он головной ротой на батальонных учениях в лагере, но как ротный командир он был человек не сильный: ему хотелось распоряжаться, но распоряжаться он не умел...

Виктор Иванович Евдокимов был маленький человек с гнусавым басом, который часто можно было слышать в коридоре его роты; но человек он был спокойный, и рота его жила так, как будто ротный командир был у нее только для представительности.

Может быть, при других условиях и Иван Романович, и Виктор Иванович были бы, по тогдашним понятиям, и более сильными людьми. Но как раз в это время обстоятельства изменились.

Кадеты помнили еще, как при прежнем директоре, генерале Струмилло, ротные командиры и другое высшее начальство свободно и безконтрольно пользовались розгой для насаждения добрых нравов и охоты к учению. В воспоминаниях о нашем корпусе покойного М. А. Домонтовича, напечатанных в Историческом Вестнике 1890 г., есть грустные возмутительные картинки этого безудержного господства розги.

С понятным озлоблением вспоминали потом всю свою жизнь и о том времени и о тех людях бывшие питомцы нашего корпуса.

Но с новым директором нравы вдруг переменились. Командирам двух старших рот решительно запрещено было наказывать кадет розгами; в двух младших ротах это было,



насколько могу судить, допущено, но только всякий раз с ведома директора. Нечего и говорить, что Василий Иванович и в мысли не мог иметь наказать кого-нибудь розгами, но командиры старших рот видимо чувствовали себя так, как будто у них было отнято самое важное средство воспитательного воздействия. Они видели в этом как бы начало разрушения твердых устоев корпусной жизни и внутренне негодовали на директора.

Это недовольство директором, хотя как будто и по другому поводу, сказалось позднее в записках И. Р. Рубана в Историческом Вестнике, спустя много лет после того, как он покинул корпус. Он служил тогда воинским начальником в Кутаисе, а генерала Врангеля давно уже не было в живых.

Известную фигуру представлял командир 2-й мушкетерской роты капитан Рихтер.

Кадеты рассказывали мне, еще в неранжированной роте, что у этого Рихтера был такой порядок: получаешь ты первый дурной балл — он тебя оставляет без блюда; за второй дурной балл ты получаешь у него один суп; за третий дурной балл он ставит тебя к барабанщику (т. е. оставляет совсем без обеда), а за четвертый дурной балл — розги. Потом опять за первый дурной балл — без блюда и так далее, а за четвертый снова непременно высечет. И это уже без всякой перемены. Так что если ты в году получил восемь дурных баллов, то он тебя высечет непременно два раза, все равно, хорошего ты поведения или нет; если получишь в году двадцать дурных баллов, то он тебя высечет непременно пять раз... Но это еще не все: когда ты получаешь единицу или ноль, то тебя секут за всякий такой балл без очереди, даже если у тебя до того не было ни одного дурного балла!..

Не выдаю этого за непреложную правду, но, судя по рассказам кадет, нечто подобное при прежнем директоре у него было.

Я встретился с этим Рихтером много позднее, когда он был уже давно в отставке, а я служил репетитором в нашем корпусе; он с искренним волнением рассказывал мне, что он любил кадет и заботился о них, как нежная мать...

Возможно, что он и не был живодер по натуре, а просто добросовестно придерживался определенного метода.

IV

Иерархия воспитательного и строевого состава корпусных чинов не оканчивалась ротными командирами. Выше был младший штаб-офицер подполковник Василий Николаевич Линевиц, а еще выше стоял батальонный командир полковник Федор Николаевич Дубровин.

В чем заключалась служба младшего штаб-офицера, мы, кадеты, не знали; вероятно, у него были какие-нибудь обязанности, но в ротах он появлялся редко. Наружность у него была добродушная и тон голоса отечески наставительный, но рассказывали, что когда он был командиром неранжированной роты (до Дудышкина), то каждый день кого-нибудь отечески посекал, кого за дурной балл, кого за платок, замазанный в чернилах, кого за драку и т. п.

Полковник Дубровин был бравый, хорошо выпрямленный человек, с густыми усами и лысой головой и со звонкими шпорами. Почти каждый день он обходил роты во время строевого учения, здоровался и делал какие-нибудь два-три замечания звучным, четким голосом; но в мое время ни зла, ни добра он никому не делал. В лагере он мастерски командовал на батальонных учениях трех строевых рот, споспешествуемый в этом такими мастерами тогдашнего строевого балета, как Рубан, Евдокимов, Полонский и другие.

Учебное дело стояло совсем в стороне от этой воспитательной и строевой части старого кадетского режима.

О наших учебных порядках я буду говорить ниже, здесь же скажу несколько благодарных слов о человеке, стоявшем во главе всей этой воспитательной и учебной организации.

Генерал-лейтенант Егор Петрович Врангель был человек уже немолодой, но довольно бодрый, с почтенной и представительной наружностью. До назначения директором он командовал кавалерийской дивизией и должен был оставить строевую службу по расстроенному здоровью. Рассказываю это не по документальным данным, так об этом говорили в то время, но думаю, что этот человек всегда пользовался доброй славой за свои прекрасные нравственные свойства. Лет двадцать пять тому назад в Историческом Вестнике были помещены вос-



поминания г-жи Скалон, урожденной Капнист, вдовы нашего бывшего помощника инспектора классов В. А. Скалона. Рассказывая о событиях 1825 г., она с благодарностью вспоминает благородное, высокое человеческое отношение состоявшегося при Киевском генерал-губернаторе адъютанта Врангеля к одному из арестованных в то время ее родственников. Этот адъютант и сделался в мое время директором нашего корпуса. Позднее, в 1855 г., он был назначен попечителем Белорусского (ныне Виленского) учебного округа.

Следуя военным нравам того времени, большинство тогдашних директоров держали себя в глазах кадет как грозные представители военной власти. Они появлялись среди кадет не часто и всегда в сопровождении более или менее внушительной свиты. Посещение оканчивалось по большей части тем, что директор замечал какую-нибудь неисправность, которая приводилась в порядок либо им самим, либо, по его уходу, ротным командиром в цейхгаузе, где стояли в кадке с водой пучки розг. Такие рассказы ходили о предшественнике нашего директора генерале Струмило; то же самое слышал я потом об Орловском директоре генерале Тинькове и почти обо всех прежних директорах столичных корпусов.

У Врангеля не было для нас ничего страшного. Когда было нужно, он умел быть серьезным и неуклонным начальником; но по натуре своей это был добрый, доступный и отечески мягкий человек. Мы его видели почти каждый день и по большей части без всякой свиты. Бегаем мы себе по коридору и по зале и вдруг с боковой площадки появляется спокойная, почтенная фигура генерала в тогдашних больших эполетах и с палочкой. Офицер суетливо командует нам “смирно” и идет рапортовать. Директор с улыбкой озирается кругом и спрашивает: “Ну, как идут у вас дела?”, берет двух-трех из нас и садится на табурет (именно на табурет, а не на кресло), чтобы поговорить с нами. Подходят понемногу и другие. Он всегда умеет отличить хороших кадет и умеет говорить с нами и серьезно и шутивно. Узнавая лентяев и шалунов, он наставительно грозит им пальцем и, припоминая чей-нибудь недавний проступок, строго спрашивает его: “Ну-ка, мой милый, расскажи, что ты там такое наделал?” По мере рассказа лицо его становится все более серьезным и грустным. У этого старого

и почтенного человека была огромная способность мимического выражения своих ощущений, а когда он бывал в духе, он с большим мастерством умел рассказать какой-нибудь поучительный случай.

В старших ротях помнили еще прежнего директора и, по крайней мере, в первые годы не с таким доверием относились к нему. Ему чаще приходилось выражать там порицание, чем удовольствие. Слушая доклад ротного командира или дежурного офицера, он печально кивал головой и старался тронуть кадета своею задушевной речью. Не всякого искусившегося кадета можно было, однако, тронуть в то время таким безобидным средством. “Старые кадеты” стали называть директора “прискорбием” и стали уверять, что чем больше у директора прискорбия, тем выше вылезает его черный галстук сверх красного воротника.

— Вот идет директор; сегодня, кажется, будет большое прискорбие...

Это было, впрочем, только в первые годы; впоследствии он стал пользоваться всеобщим уважением.

Вспоминаю об Егоре Петровиче Врангеле с чувством самой глубокой благодарности; у меня и теперь висит перед глазами его портрет¹.

Военные чины корпуса были слишком погружены тогда в строевой формализм и не могли содействовать желанию почтенного директора стать ближе к кадетам. Чтобы пособить этому, директор стал звать к себе некоторых из лучших кадет по праздникам к обеду. Это, разумеется, не осталось без хороших последствий для смягчения нравов в старших ротях. Директор умело сделал эти посещения и занимательными и поучительными для кадет, а вместе с тем он и сам становился ближе к кадетским интересам. Приглашалось обыкновенно немного, один-два за один раз, и кадеты любили эти приглашения. Не обходилось, разумеется, и без критических отзывов кадетского пошиба. “Директор добрый, ласковый, веселый и обед у него отличный, но только хлеб у него режут такими тонкими ломтями, что съешь весь кусок с первыми ложками супа и приходится есть остальное без хлеба”...

¹ Подаренный мне в 1893 году Александром Платоновичем Потоцким.



Меня уважаемый Егор Петрович брал к себе довольно часто, особенно когда я перешел уже в старшие классы, и оставлял обыкновенно на весь вечер в обществе своих двух сыночек — Фердинанда и Феди, прекрасных мальчиков, с которыми я любил проводить время. Генеральша после обеда приходила обыкновенно в детскую с работой, приносила лакомства и играла иногда с нами в лото, в разные путешествия и другие детские игры.

По вечерам генеральша принимала корпусных дам. Бывали иногда и их мужья, но строгие военные правила того времени не позволяли бывать у начальства и вообще у людей высших чинов, даже знакомых, без особого зова с их стороны.

Этот добрый директор вообще хорошо относился к нашему корпусу. Не могу забыть, что он прослезился, прощаясь с нами перед нашим отъездом в Петроград.



Теперешние кадеты едва ли могут иметь правильное представление о том строгом военном и строевом формализме, в котором мы росли и воспитывались в прежних корпусах. У нас были штатские учителя, но их было немного и мы видели их только во время уроков.

В ротах мы были окружены только военным элементом, и притом в тех его формах, которые давно уже отошли в предание. Все вокруг нас было вымуштровано, выправлено. Даже вся корпусная прислуга, от каптенармуса до коридорного солдата, была военная, для чего при корпусе существовала служительская рота. Эта рота поставляла и буфетчиков, и поваров, и портных, и полотеров, и всякого человека, который мог потребоваться в корпусном хозяйстве, и не было, таким образом, уголка, где бы кадет мог дохнуть не военным воздухом.

Это, разумеется, отражалось и на наших правах. Мы, сами того не замечая, очень скоро становились военными формалистами и привыкали придавать большое значение различным строевым тонкостям.

Уже в неранжированной роте нам больше нравился офицер хорошо подтянутый, самоуверенный, решительно и громко командовавший, чем иной человек и серьезный, и добрый, но с заметными для нас недостатками в строевом отношении.

Сами мы с охотой занимались тогдашними учебными шагами, а в старших ротах прилежно упражнялись в таких замысловатых ружейных приемах, как “под курок”, “от дождя”, “на погребень”, “к осмотру ружей” и “заряжение на двенадцать темпов”. В лагере батальонные учения, походы и ожидания тревоги поглощали все наши интересы. Раза два, три в течение лагеря нам представлялись дни для чистки ружей; и надо было видеть, с каким рвением мы полировали теркой и наждаком наши тогдашние ружейные стволы...

Не могу сказать, чтобы ко всему этому нас с какой-нибудь ретивостью побуждало наше начальство, нет, сама атмосфера, в которой мы жили, вырабатывала в нас эти ультрастроевые инстинкты.

Было бы, однако, несправедливо говорить, что эта солдатская жилка заглушала в нас всякие другие интересы, свойственные детскому и юношескому возрасту. Все мы, почти поголовно, были дети южных степных помещиков, отставных поручиков и штабс-капитанов, во множестве выходявших тогда в отставку, чтобы хозяйничать в имениях, за преклонным возрастом или за смертью своих отцов. Это были люди небогатые, но наше детство протекало в полном материальном довольствии и в заботливом, нежном материнском уходе. За нами ходили преданные старые крепостные няньки, иногда бывшие кормилицы наших матерей, заботливо и любовно оберегавшие нас и от дурного глаза, и от дурного слова, и от дурного примера.

Поступив в корпус, мы как-то отрезались от дома; мы не ходили в отпуск ни по воскресеньям, ни по праздникам, и только в редких случаях, и то из неранжированной роты, нас отпускали в отпуск на лагерные месяцы. Но мы не забывали тех уютных, приветливых углов, своих родных углов, в которых протекало наше детство. Теперь эта хуторская, патриархальная помещичья жизнь отошла в предание, и я не преувеличу, когда скажу, что мы любили наше родное гнездо, нашу усадьбу,



наш сад, нашу деревню с такой теплотой, какую едва ли могут чувствовать теперь дети, вскормленные и выросшие в наемных городских квартирах.

В добрые минуты у нас часто заходили разговоры о нашем домашнем житье-бытье, и мы любили предаваться даже в старших классах этим деревенским воспоминаниям.

Приезд родителей в Полтаву по тому или другому случаю и отпущ к ним в воскресный день бывал обыкновенно самым лучшим, самым памятным для нас событием, а их отъезд после кратковременного пребывания всегда вновь возбуждал в нас то тоскливое чувство оторванности, которое мы испытывали при поступлении в корпус.

Были у нас и более высокие интересы. Я говорил уже, что нам приходилось справляться с учебным делом без всякой внеклассной помощи. Но те, которые осиливали это дело, естественно приобретали к нему тот исключительный по своему значению интерес, который зарождается у человека как результат упорного и самостоятельного труда. Такие кадеты были, и не скажу, чтобы это были единичные явления. Заниматься по тому или другому предмету “по пространному”, как у нас говорилось в Полтаве, то есть по книгам из корпусной библиотеки, рекомендованным учителем, было делом в то время совсем не редким, и таких кадет бывало по несколько человек в каждом классном отделении и общих классах. Об этом мне придется еще говорить ниже.

Возвращаясь к той военной атмосфере, в которой мы росли в корпусе, я, как свидетель старого времени, должен сказать, что, несмотря на приписываемое ей теперь антипедагогическое влияние, она имела и свои положительные стороны.

На этой почве в нас воспитывалась с детства товарищеская сплоченность, любовь к родному корпусу, охота к военной службе и уважение к офицерскому званию.

В этом военном режиме вырабатывались также и положительные индивидуальные свойства: исполнительность, чувство долга и, может быть, та несколько грубая прямота, которой отличались тогдашние военные люди.

Не хочу идеализировать: бывали у нас и грубые, заскорузлые старые кадеты, не признававшие в своих товарищеских отношениях ничего, кроме силы своего кулака, и деспотически

расправлявшиеся с неугодившими на них слабыми субъектами, они рано мирились с перспективой линейного батальона и спокойно откладывали свои книжки в сторону. Бывали у нас товарищи и невысокого нравственного уровня, но такие субъекты не были типичными представителями тогдашнего кадетского режима, как это думали впоследствии ученые педагоги. Это были единицы, и, за мое время в Полтавском корпусе, единицы очень редкие. Масса твердо воспитывалась в тех нравственных принципах, которые должны были сделать каждого из нас хорошим, полезным офицером.

В этом тогдашнем воспитании была та драгоценная черта, что оно слагалось всей нашей обстановкой и воспринималось нами с полной верой в его непреложность. Мы были совершенно чужды того духа незрелого и уродливого критицизма, против которого оказались бессильными позднейшие воспитательные приемы.

Что касается только нашего корпуса, то мне приходится отметить такие стороны в наших нравах, о которых я и до сих пор еще вспоминаю с некоторым недоумением.

Выше я сказал уже, что полтавские кадеты были в мое время довольно покладисты. Это не пустое слово человека, предающегося очень давним воспоминаниям. В мое время нашему начальству вовсе не приходилось бороться с такими явлениями, против которых, сколько мне известно, в большинстве других корпусов велась самая ожесточенная борьба.

Так, в мое время в нашем корпусе вовсе не было курения. Я прошел четыре класса, у меня были товарищи гораздо старше меня, но ни в одном классе я не видел ни малейшего поползновения закурить в печной отдушник папиросу или, по тогдашнему, трубку. В первый раз я с изумлением и даже с тревогой увидел, как кадеты украдкой курят в трубу, выставив предварительно часовых, только в Дворянском полку.

Не знаю и до сих пор, чем объяснить такую странность. Конечно, заведение было еще не старое; когда я поступил в корпус, ему не было еще полных девять лет; в него не успели еще проникнуть нравы и традиции других корпусов.

В больших закрытых заведениях, где взрослые ученики, замкнутые в четырех стенах, не видят ни людей, ни света и задыхаются в затхлой школьной атмосфере, складываются иногда



уродливые товарищеские отношения. Я имею в виду характерную для тогдашних кадетских нравов черту, которую можно назвать “культуром мазочки”. Не могу утверждать, что этого у нас совсем не было, но нисколько не погрешу против правды, если скажу, что в мое время такие случаи наблюдались нами очень редко и имели обыкновенно платонический характер. В двух младших ротах этого вовсе не знали.

Не помню я в мое время в нашем корпусе и каких-нибудь массовых протестов или запирательств. Приписываю это тому успокоению, которое было внесено в среду кадет воспитательным тактом нашего директора.

Припоминаю, впрочем, один забавный случай. Как-то утром в столовой, где все мы ели утреннюю овсянку с булкой, на одном из столов в гренадерской роте послышался довольно громкий разговор и стало заметно какое-то волнение. Засуетился дежурный офицер, побежал куда-то какой-то солдат; через минуту пришел Рубан, что-то негромко переговорил у шумевшего стола, и все как-будто стихло. Нас продержали в столовой несколько дольше. Все было тихо, и вдруг входит, опираясь на свою палочку, директор. Все мы быстро поднимаемся в каком-то робком ожидании, но он благодушно здоровается, останавливается посередине на видном месте и громко говорит: “Капитан Рубан, что там у вас случилось?” Рубан четко докладывает, что кадет такой-то не захотел есть овсянку и стал подговаривать других, чтобы не ели, потому что она дурно приготовлена. “Но другие ели?” — “Так точно, ели все; я пробовал, овсянка вкусная...”

Директор громким голосом зовет: “Такой-то, поди сюда!” Выходит виноватый, взрослый, коренастый кадет. “Так тебе у нас не нравится? Все довольны, одному только тебе нельзя угодить! В таком случае тебе ведь не место тут в корпусе... Но, я думаю, — продолжает директор смягченным голосом, — что ты это сделал по глупости и тепер сам раскаиваешься. Прикажите подать сюда тарелку овсянки”. Буфетчик в белой куртке и колпаке, торопливо подходит с тарелкой овсянки на подносе. “Ешь!” — говорит директор. Кадет покорно берет ложку и начинает есть. “Всю, всю тарелку. Ведь ты же не ел в свое время...” И кадет доедает до последней ложки.

“Вот видишь, ел бы ты в свое время, без фанаберии, и было бы для тебя и для нас много спокойнее... Ведите роты!” — командовал он своим спокойным голосом, и инцидент исчерпан.

VI

Годы моего учения в Полтавском корпусе совпали с годами полного расцвета той стройной военно-воспитательной системы, которая сложилась в кадетских корпусах в период управления ими Великим Князем Михаилом Павловичем. Ко времени окончания мною курса в Дворянском полку в 1856 г. она уже значительно пошатнулась. Все, казалось, шло своим порядком, но, приехав на службу в родной корпус репетитором в 1858 году, я нашел уже заметные перемены и в его режиме, и в его нравах. Тут видимо уже не было прежней веры в непреложность военно-воспитательных принципов, и не было ее ни у кадет, ни у столь непреклонного прежде начальства.

Однако я думаю, что и в годы моего учения прозорливым людям можно было уже предаваться гаданиям о дальнейшем развитии системы военно-учебных заведений.

Уже в 1849 году, через несколько дней после поступления моего в корпус, произошло событие, знаменательное для этих заведений по своей важности и по возможным для них последствиям.

Припоминаю, точно это случилось вчера, как в одно сентябрьское утро вместо классов весь корпус собрали в зале гренадерской роты, служившей сборной залой. Мы не знали, что случилось, и напряженно ждали разъяснения.

Среди общей тишины в залу входит директор с каким-то необычайно серьезным видом, а за ним все чины корпуса.

“Дети, — обратился он к нам, — нас постигло великое несчастье. Сегодня получен приказ о кончине нашего благодетеля, нашего отца, Главного Начальника военно-учебных заведений Великого Князя Михаила Павловича. Выслушайте внимательно приказ и благоговейно помолитесь об упокоении души человека, так много о вас заботившегося”. Выходит адъютант Шейдеман и читает:

ПРИКАЗ

Исправляющего должность Главного Начальника
военно-учебных заведений

В С.-Петербурге, сентября 2-го дня, 1849 г. № 1099.

Его Императорского Высочества, Отца нашего, Благодетеля военно-учебных заведений, не стало.

Его с нами уже нет, но пример его с нами.

Примером Своим Он и за могилою не перестанет благотворить нам.

Любите Бога — как Он; служите Государю — как Он; будьте чисты сердцем — как Он; будьте преданы долгу — как Он; будьте справедливы и великодушны — как Он; будьте другом солдата — как Он.

Этим вы исполните все заповеди Божьи, все ожидания Великого нашего Государя, все надежды на вас незабвенного, Августейшего нашего Благодетеля.

Приказ сей прочесть во всех ротях и эскадронах, с молитвой о нашем упокоившемся Отце. — Подписал: Исправляющий должность Главного Начальника военно-учебных заведений, генерал от инфантерии Клингенберг. С подлинным верно: Начальник Штаба, генерал-адъютант Ростовцов.

Этот приказ, превосходно прочитанный Шейдеманом, произвел на всех нас очень большое впечатление. Никто из нас никогда не видал Великого Князя, мы редко даже о нем слышали, но теперь перед нами восстала величественная, монументальная фигура, одаренная великими душевными качествами. Мы поняли, что потеряли что-то очень для нас благотворное и важное... Я не могу забыть этого приказа и теперь, почти через семьдесят лет.

Можно говорить, разумеется, что он написан слишком деланно, в чрезмерно повышенном тоне, и что приказы так не пишутся. Но именно эти строки и производят такое впечатление потому, что они написаны не в шаблонном тоне приказа. Нетрудно видеть, что этот приказ был написан человеком, глубоко преданным покойному Великому Князю, хорошо знавшим ту среду, для которой он писал, и мастерски умевшим тронуть ее своим живым, умным и сердечным словом.

Этот человек был Иаков Иванович Ростовцов.

Месяца через два нам дано было еще раз почувствовать, какую великую утрату понесли кадетские корпуса в лице почившего главного их начальника. 8 ноября, в день архистратига Михаила, мы отслушали в нашей корпусной церкви обедню и панихиду, потом нас привели в сборную залу, где состоялась церемония, может быть, театральная для нашего времени, но удивительно хорошо сообразенная с общим духом тогдашнего воспитания. Сам директор вручил каждому из нас запечатанный корпусной печатью пакет с адресом: Кадету Петровского-Полтавского корпуса, имя, отчество и фамилия. В конверт была вложена тогда еще никому не известная, впоследствии знаменитая речь Великого Князя: “Дети, отпускаю вас на службу, я обращаюсь к вам не так, как ваш начальник, а как ваш отец, душевно вас любящий...” Речь была красиво переписана и отлитографирована, и каждый получил ее как бы посмертное завещание покойного Великого Князя.

К началу будущего учебного года в корпус прибыл чудесный бронзовый бюст незабвенного Главного Начальника, работы барона Клодта; на постаменте этого бюста была вырезана на медной доске полученная нами в конвертах речь.

Да, тогда умели запечатлевать в наших сердцах и в наших головах такие чувства и такие мысли, которые могли способствовать нашему патриотическому и военному воспитанию.

❧ VII ❧

Принцип отделения учебной части от воспитательной был соблюден в мое время и в расположении наших помещений. Классы находились совсем в стороне от рот, и нас водили в них только на время уроков. В другие часы они были для нас недоступны и, следовательно, большую часть дня мы проводили в наших ротных залах.

Когда вы входили по парадной лестнице в длинный коридор 2-го этажа, то направо была гренадерская рота; прямо и налево — 1-я мушкетерская; тут же налево, по другую сторону коридора, была, как и теперь, столовая зала.



В коридоре 3-го этажа над гренадерской ротой была 2 мушкетерская рота. Все остальное пространство в этом коридоре было занято учебными помещениями и отделено от 2 роты высокой деревянной решеткой.

Тут были, как я уже сказал, комнаты для всех классов, кроме 1 приготовительного, физический кабинет, рисовальный класс, прекрасное помещение для библиотеки и музея, учительская комната, кабинет инспектора классов, классная канцелярия и склад пособий, находившийся в распоряжении помощника инспектора классов.

В библиотеке хранились тогда такие сокровища нашего корпуса, как портрет Петра Великого работы Ларжильера и большая картина Полтавской битвы работы Шебуева. Это были Высочайшие дары корпусу при открытии¹. Там же хранился и ковчег с документами, относящимися к основанию корпуса и подписанными императором Николаем Павловичем.

Классы, по своему положению в верхнем этаже и по величине своих окон, были светлы и веселы. Тогда не имели еще понятия о гигиенических классных столах, и мы сидели за длинными столами для четырех человек, расположенными в две колонны с проходом посередине.

На видном месте в классе висела классная доска, на которую белыми буквами записывались имена кадет, учившихся на двузначные баллы.

Наши рекреационные залы были просторнее теперешних, так как от них ничего не было урезано для обращения их в уединенные “возрасты”, в которых должны были совмещаться и залы, и спальни, и классы.

К особенностям наших рекреационных помещений я могу отнести только довольно большое количество столов, за которыми по вечерам мы готовили наши уроки в группах по 8—6 человек.

Все остальное было как и теперь, исключая разве того, что никаких других картин, кроме военных и патриотических, у нас не было.

¹ Картина Шебуева имеет свою историю: она принадлежит к числу шести картин, заказанных императором Павлом Академии Художеств для Михайловского дворца. Две картины этой серии находится теперь в музее Имп. Александра III; они писаны Угрюмовым; это — Взятие Казани и Венчание Михаила Феодоровича на царство. Были ли три остальные картины и где они находятся, мне неизвестно.

Замечу еще, что в мое время парадная лестница корпуса открывалась только в торжественных случаях или при посещении высшего начальства. Все строевые передвижения кадет, в столовую, в классы, на прогулку, делались по боковым лестницам.

Время нашего дня распределялось не так, как теперь. Обедали мы в час дня, и у нас были дообеденные и послеобеденные уроки.

Утром мы шли в классы в 8 часов и возвращались в 11; после обеда уроки начинались в 2 часа и кончались в 5. И утром и вечером было по два урока с десятиминутными переменами, так что каждый урок продолжался по часу и 25 минут.

После утренних уроков до 12-ти шло строевое учение; вечером от 6 до 8 мы занимались приготовлением уроков.

По вечерам наши залы и коридоры освещались масляными лампами. На столы во время занятий ставились сальные свечи со щипцами. Желаящие могли покупать стеариновые свечи. Вставали мы, как и теперь, в 6 утра, ложились в 9½. Утренние и вечерние молитвы мы пели. Чтения молитв не было. Пищевое наше довольствие было не изысканно, но обильно, и было всегда хорошо приготовлено.

Утром в семь часов все роты шли в столовую, где получали сбитень, овсянку или жидкую кашу манную, смоленскую или гречневую. Ни чаю, ни кофе мы тогда не знали.

В 11 часов, по возвращении из классов, нас строили в две шеренги, и капитанармус проносил между нами корзину с большими ломтями черного хлеба. Так как каждому хотелось поймать горбушку, то корзину приходилось держать высоко, чтобы не было поползновения на выбор.

В час нас вели к обеду. Меню обеда было не разнообразным. На первое мы получали суп, ленивые щи или борщ; на второе — рубленые котлеты, жареное мясо или вареное мясо; на третье — пироги с гречневой кашей, с рисом или с говядиной. И это так в течение всего учебного года. Интересные для нас перемены состояли в замене пирога крутой гречневой кашей с куском масла и в замене рубленой котлетки двумя сосисками с бобовым пюре или чечевичным соусом. В воскресенье обед бывал несколько тоньше: давали вкусный борщ, к котлетам или говядине прибавлялось картофельное пюре; на



третье давались слоеные пироги с яблоками или с вареньем. В сезонное время нам много давали пшенички, арбузов и фруктов. Обедом нашим, именно потому что он был сытен и хорошо приготовлен, мы были всегда довольны.

К ужину в половине 9-го мы шли обыкновенно голодные, но и ужин был сытный: два блюда — какой-нибудь мясной соус или кусок мяса со вкусной подливкой и на второе — жидкая каша, гречневая, пшеничная, манная и т. п.

В лагере мы ели деревянными ложками, по четыре человека из одной деревянной чашки и резали наше мясо на деревянных кружках.

Когда я был еще новичком, наши путешествия в столовую и обратно сопровождались иногда и трогательными и забавными сценами. С первых же дней нас заботливо начинали учить ходить в ногу, и дело было собственно нетрудное; построившись к столу, мы четким шагом выходили из залы на площадку и поворачивали в церковный коридор. Но вот доходим мы до церковной двери, сквозь чистые большие стекла видны образа, и мы начинаем набожно креститься, крепко упирая пальцы в лоб и мысленно творя молитву. Тут уже, разумеется, не до размеренного шага, вся стройность идет насмарку, унтер-офицер начинает суетиться, подсчитывать, переключать сбившихся с ноги... Ведь нельзя же выйти в таком беспорядке в большой коридор, где слышится уже молодецкая, четкая маршировка других рот; чего доброго наткнешься еще прямо на батальонного командира или на директора... Но дело понемногу улаживается, и мы тоже довольно стройно дефилируем из церковного коридора.

Мы поступали тогда в корпус набожными детьми. С годами наше стадное воспитание понемногу делало свое разрушающее дело, но у нас в то время не было еще повального духа неверия, и многие из нас оканчивали корпус, сохранив в себе ту теплоту веры, которую они принесли с собой из-под материнского крыла.

Наши воскресные и праздничные дни проходили не так, как теперь. Мы не ходили в отпуск. В субботу все мы стояли у всенощной; в воскресенье в полном составе мы присутствовали у обедни. Теперь в моем воспоминании эти церковные службы представляются мне очень благолепными, и я думаю,

это действительно так и было. Наш законоучитель, отец Иван Сияльский, человек еще не очень старый, с длинной русой бородой и с видом библейского патриарха, служил с каким-то проникновенным настроением. Не могу забыть его Евангелий на всеобщей; они действительно приносили с собой радость Воскресения; не могу забыть его высокаторжественного возгласа звучным тенором: “Слава Тебе, показавшему нам Свет”...

И это было одинаково торжественно и трогательно и в темный зимний вечер, при слабом освещении алтаря, и в светлые весенние сумерки, когда умирающий день бросал последние свои лучи на величественный иконостас.

Отец Сияльский рано умер; заменивший его законоучитель, фанатический и сухой, не умел поддерживать в кадетях набожного настроения; они его не любили и боялись.

В теплые летние дни после обедни нас выводили гулять в большой круглый сад, где для каждой роты была отведена своя четверть круга, и мы оставались там до вечера, возвращаясь в здание только на время обеда. Это были веселые дни; тут и походишь, и побегаешь, и считаешь книжку в тени под деревом, и встретишься с товарищем из другой роты...

Но в зимние ненастные дни, когда нельзя было вывести даже на короткую прогулку, праздничный день бывал невеселым днем для тех, кто не умел заняться каким-нибудь “своим” делом. Это было собственно то же, что и теперь, но только в увеличенном размере. В маленьких ротах от скуки завязывалась беготня, кончавшаяся дракой, и под лампой, посреди залы, составлялась целая шеренга поставленных на штраф.

Для любителей книжки или какого-нибудь занятия вроде черчения географических карт, к которому пристращал нас Туржанский, или рисования, такие дни были днями приятного отдыха.

Наши ротные библиотеки были в то время небогаты. Тогда, может быть, не совсем сознательно придерживались здорового принципа “много в малом”, в противоположность теперешнему переполнению ученических библиотек бесчисленным количеством книжек совершенно ненужных, так как, в сущности, они повторяют все одну и ту же песню на один и тот же лад...



Главное место в наших ротных библиотеках занимал “Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений”¹. Об этом журнале говорилось много; замечу лишь, что он был действительно очень хорош только до начала 50-х годов; потом он начал видимо падать. Был у нас только что начавший тогда издаваться журнал для детей Чистякова и Разина, была Звездочка Ишимовой, было Живописное Обозрение Августа Семена, интересовавшие нас своими иллюстрациями и многими занимательными статьями.

Помню я в наших библиотеках такие книги, как “История Суворова”, Н. Полевого, как книжки Фурмана с биографиями Суворова, Потемкина, Меншикова, Ломоносова. Были два большие издания с хорошими гравюрами на стали; одно из них называлось “Русские полководцы”, другое — “Пантеон великих людей”. Помню Робинзона Крузо в полном переводе, кажется, Корсакова, с чудесными картинками Гранвиля, помню “Воспоминания Слепого” Жака Араго, интересную книжку Данилевского и Оссовского “Есть ли где конец свету” и особенно помню маленькую книжку без имени автора “Советы врага и друга воспитанникам военно-учебных заведений”. Я искал потом эту книжку у букинистов, но нигде не нашел: ее давно уже нет в продаже.

Были в старших ротах Смирдинские издания некоторых русских авторов, было, вероятно, кое-что, и может быть даже многое другое, но теперь мне это не приходит на память.

Некоторые из нас, по указанию учителей, пользовались правом получать книги из корпусной библиотеки, но это были по большей части книги, относящиеся к нашему учебному курсу: “История Кармазина”, только что вышедшие тогда пять томов “Истории Соловьева”, два или три исторических романа Вальтер Скотта, в переводе де Шаплета, книги по физике, по математике и пр. Пушкина и Гоголя нам прекрасно читал в классе наш учитель, Леонард Осипович Корженевский.

Своих книг мы не могли иметь, как не могли иметь и ничего своего, но случайно нам попадались, не знаю уже какими путями, и посторонние книги. Мы запоем читали их втихомолку,

¹ См. И. С. Симонов. Из истории журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений (по архивным материалам). “Педагогич. Сборник”, № 11 и 12. 1913 г.

и это не было для нас вредно, так как в то время наша литература не грешила еще чрезмерными потугами на новое слово.

Санитарное наше состояние было недурно; больных в лазарете бывало обыкновенно немного; за четыре года я помню только корь и свинку. Никаких заразных лазаретов тогда не знали, а просто отделяли заразных больных в особые комнаты по другую сторону коридора.

Старшим врачом был у нас Исаев, человек образованный и, кажется, опытный врач, но сухой, едкий и очень строгий к фельдшерам. Младшие врачи Ананьев и Бородин были добрые, обходительные люди; кадеты их любили.

В первые мои три года наше лагерное место лежало внизу, под Яковцами, почти у самой Ворсклы. Это вело к тому, что некоторые из нас по возвращении из лагеря начинали страдать перемежающимися лихорадками. В 1852 году лагерь был перенесен наверх, где он находится и теперь; путь на купание стал и длиннее и труднее, но лихорадки прекратились.

❧ VIII ❧

Учебная часть находилась в безраздельном ведении инспектора классов полковника Федора Григорьевича Ницкевича. Это был высокий, очень худой человек с длинными усами и со странно развороченными ногами, как будто он все время пытался держать их в первой позиции. Характера он был сурового; никто из кадет никогда не видел его улыбки; голос у него был глухой и грубый.

Нам, кадетам, не было, конечно, известно, как он управлял учебной частью и как он обходился с учителями. Но, по видимому, учителя не чувствовали его гнета; они были в мое время довольно самостоятельны в своем преподавании.

Собственно и с кадетами, на моей памяти, он был только сух и совершенно безучастен; но рассказывали, что в старое время он широко пользовался правом налагать взыскания в течение классного времени. Случалось, что он входил в класс, а за ним служитель нес скамейку и шел дежурный барабанщик с пучком розг. Вызывался, без дальних разговоров, какой-нибудь



грубиян или лентяй и тут же перед классом и перед учителем наказывался розгами. При мне ничего уже этого не было.

Хотя между учебной и воспитательной частью не было никакой органической связи, однако ротные командиры следили за нашими успехами или, вернее, за цифрами наших отметок, и делалось это так.

В каждой роте под замком у фельдфебеля хранилась огромная книга вроде альбома, крепко переплетенная в кожу, со списком кадет по классам, со столбцами для ежедневных баллов и с полями для отметок ротного командира.

Ежедневно после утренних классов один из начальствующих кадет, по большей части всегда один и тот же, брал эту книгу и возвращался наверх в классную канцелярию. Все четыре унтер-офицера усаживались за длинным столом, и помощник инспектора классов, или классный писарь Черепнин, диктовал им баллы, полученные кадетами вчера на вечерних уроках и сегодня на утренних. Дело требовало внимания, так как ошибка могла повести к печальным недоразумениям.

Книга возвращалась в роту приблизительно к 12 часам, и ротный командир садился тут же писать свои резолюции. Они были довольно формального свойства: особенная благодарность, благодарность, без блюда, один суп, стоять за столом, к барабанщику и (в неранжированной роте, довольно редко) розги.

Когда рота выстраивалась к обеду, фельдфебель брал этот журнал и торжественно читал баллы и резолюции.

Все слушали с понятным волнением, кроме, впрочем, тех, которым были припасены розги, так как Владимир Васильевич Нарезный, принявший роту после Дудышкина, имел обыкновение приводить в исполнение эту экзекуцию перед обедом в цейхгаузе до чтения баллов.

Я сказал уже, что положение мое в I общем классе было на первых порах не очень завидное. Но я скоро вошел в общий тон бывалых кадет.

Были у нас в классе очень хорошие мальчики, способные, добродушные, резвые, но были и интересные субъекты, своего рода пережиток жестоких нравов, царивших в первые годы нашего курса. Они видимо не надеялись и не хотели идти дальше этого I общего класса, они действительно и вышли из него

в конце года, но за этот год они показали нам такие штуки, о которых мы раньше не имели понятия и которые потом долго прекратились в корпусе. По крайней мере, за мое время я не видел больше в моих классах таких уродливо напускных нравов.

Был у нас, например, кадет, лет 14-ти, а может быть и старше, который, получив литографированные записки, выдававшиеся тогда во множестве по разным предметам, сложил их аккуратно, разрезал их по какой-то мерке, принес в класс сапожную дратву и шило и, пользуясь то переменами, то пустыми уроками, а то добротой некоторых учителей, сшил из них отличный плотный чемоданчик, аккуратно закрывавшийся крышкой. Это чемоданчик он уносил с собой в роту после утренних уроков, а возвращаясь в класс после обеда, приносил в нем порядочные куски черного хлеба, иногда пирог, а случалось, что и котлетку, сосиску или кусок жареного мяса. Все это осторожно, но аппетитно пережевывалось на вечерних уроках. Бывало, когда его вызывает учитель, что случалось, впрочем, не часто, ему надо было сначала дожевать и проглотить находящуюся в рту провизию и потом он уже говорил, что не приготовил сегодня урока.

Я смотрел на него с изумлением; кадеты объяснили мне, что это настоящий “старый кадет”, каких теперь уже немного, и что я еще этого понять не могу. Сами они, однако, смотрели на него без большого уважения и боялись только его кулака. Помню, что меня заняла его очевидно умная работа дратвой и шилом, и что мне захотелось даже иметь “настоящее шило”, чтобы смастерить и себе такую аккуратную коробку.

С уважением и благодарностью вспоминаю я многих моих бывших учителей.

Теперешние наши знатоки школьного дела заметят мне, пожалуй, что в то время дело преподавания учебных предметов не могло стоять высоко, так как учителя не имели никакой педагогической подготовки.

Я далек от того, чтобы отрицать значение этой педагогической подготовки; однако, основываясь на собственном моем многолетнем и близком наблюдении, я не могу видеть в этой подготовке какой-то панацеи, неизменно обеспечивающей нам успешность нашего преподавания.



Мои бывшие учителя не были педагогами. Самое слово “педагогика” не было еще в ходу даже при обсуждении специальных школьных вопросов. Но люди тогдашнего университетского образования горели любовью к преподаваемым ими знаниям и весь центр тяжести своей работы сосредоточивали на привитии охоты и уважения к этим занятиям и у своих учеников.

С педагогикой мы познакомились позднее, мы нашли ее у немецких школьных мастеров и стали вдруг более ретивыми педагогами, чем Диттес, Дистерверг и другие, у которых мы все это заимствовали. Это был, конечно, шаг вперед; но наши педагогические увлечения много умаляли значение этого шага.

Прежний учитель не всегда умел, может быть, облегчить работу для слабых, но он обыкновенно увлекал за собою более сильных; они усваивали основные положения его предмета во всей их научной чистоте и строгости.

Новый учитель оказался более умелым в общей работе с целым классом, но весь центр тяжести своего внимания он перенес на способы преподавания, а учебный предмет обратился у него просто в материал, который ему надо было располагать соответственно с правилами методики.

Он заботился о повышении среднего уровня класса, но методические увлечения ведут к тому, что он и сам нередко обращается в среднего учителя, владеющего предметом лишь в тех пределах, в каких он намечен в школьной программе.

Я набрасываю эти мысли, может быть, несколько резкими чертами; бывают исключения и в ту и в другую сторону, но думаю, что в общем я не искажаю действительного положения дел.

IX

Понимаю, что многие дорогие для меня воспоминания не могут иметь интереса для теперешних читателей, а потому и в воспоминаниях о моих учителях постараюсь ограничиться только такими чертами, которые когут дать представление о положении учебного дела в мое время.

Учителем русского языка в течение всех четырех лет пребывания моего в корпусе был у меня Леонард Осипович Корженевский. Он был весь погружен в романтические мечтания того времени. Он был небольшого роста, с небольшой лысиной, в очках, и был сангвинического темперамента; легко возбуждался, краснел, но был очень отходчив и добр до слабости; дурных баллов не ставил, и я удивляюсь, как это ему тогда сходило с рук. Грамматикой он нас не мучил; на уроках объяснительного чтения не тратил скучных слов на объяснения, что такое буря и почему она крутит снежные вихри, но все силы своего умения упортеблял на то, чтобы дать нам почувствовать художественную сторону произведения. Читал он с несколько преувеличенным подъемом.

Мне тогда еще пришлось услышать отзыв о Леонарде Осиповиче из очень компетентного источника. К переходу моему в IV общий класс был введен новый предмет “словесность”. Учебника не было, и Корженевский стал составлять записки. На поверочном экзамене в Дворянском полку мне пришлось отвечать довольно содержательный билет из словесности. По мере того, как я говорил, один из экзаменаторов, видимо, приходил в волнение и не дал мне даже кончить: “Скажите, молодой человек, по каким руководствам вы это проходили?” Узнав, что я ничего не читал, кроме записок Корженевского, он обратился к своему ассистенту со словами, точного смысла которых я теперь передать не сумею, но в которых была большая похвала Корженевскому, как одному из выдающихся учителей.

Этот экзаменатор был Иринарх Иванович Введенский.

Спустя немного времени Леонард Осипович занял место инспектора классов в Полтавском женском институте.

Иностранные языки были у нас поставлены плохо. Причиной тому было, с одной стороны, совершенное незнание иностранных языков и совершенное равнодушие к ним в среде окружающих нас военных чинов; с другой стороны, — твердое убеждение у учителей, что сколько бы они ни работали, они все равно не достигнут никаких успехов.

Учителями французского языка в мое время были Таксис и Соссе; были уроки французского языка и у помощника инспектора В. А. Скалона; по своему образованию он, как и Дудышкин, составлял исключение между другими военными чинами. Немецкому языку обучали Дейк и Риккер.



Все эти учителя, кроме Скалона, охотно ставили единицы и всякие другие дурные баллы, но этими средствами дело мало подвигалось. Помню, что за все четыре года по французскому языку мы делали устные переводы по книге Гуро “Ключ к изучению французского языка”, выписывали и заучивали слова к этим переводам, но случалось как-то так, что мы сразу после урока забывали и слова и переводы. Ни один из нас даже в последнем классе не умел прочесть правильно ни одной французской фразы. Не лучше обстояло дело и по немецкому языку. За четыре года я довольно обстоятельно забыл то, что приобрел по языкам в пансионе.

Таксиса и Дейка кадеты не любили. Дейка боялись и называли “гиеной” за его торчащий волос на темени и бледно-серые глаза. Над Таксисом просто смеялись и проделывали с ним разные штуки.

В первый год своего директорства Врангель задумал было составить из новичков, говорящих на иностранных языках, особую группу. Их сажали в столовой на первый стол и требовали, чтобы во время стола они не говорили по-русски. Но это ни к чему не привело даже и при Дудышкине. К концу года это совсем расстроилось.

Я говорил уже о Дудышкине, как об учителе математики. Было еще два выдающихся учителя этого предмета: Григорий Васильевич Котельников и Василий Филиппович Барсов. Первый преподавал также и физику, второй — топографию.

Григорий Васильевич, несмотря на свой штатский облик, был крупной величиной в Павловском корпусе не только в мое время, но и многие годы спустя после меня. Характера смелого, с бойким, умным, иногда злым словом, он умел импонировать и кадетам, и всякому человеку, недомысливающему в своем деле. Но человек он был хороший, справедливый, с порывами настоящего благородства. Рассказывали, что он и Сияльский открыто восставали при прежнем директоре против жестокого обращения с кадетами.

Учителем он был образцовым. В его ясном, точном наложении, в его всегда удачных физических опытах чувствовалось солидное физико-математическое образование.

К кадетам он был требователен не только со стороны их учебной работы, но и со стороны их поведения в классе. Заме-

чания его бывали иногда едки, но никогда не ставил он балла и не делал официальной оценки сгоряча, по первому впечатлению.

У бывших его учеников много сохранилось в памяти его острых или, вернее, едких замечаний. Сидит, например, кадет, задумался, положил локоть на стол и тихонько барабанит себя пальцами по голове. Ходит по классу Котельников, несколько раз оглядывается на кадета и, наконец, останавливается перед ним. “А я то, сударь мой, прислушиваюсь, откуда это звон по классу. Нельзя, мой милый, на уроке барабанить себя пальцами по медному лбу...”

Барсов был кадетом первого выпуска из нашего корпуса. Учителем он приехал в год моего поступления в корпус, в чине поручика. Он был уже женат и выглядел солидным человеком. Я учился у него тригонометрии, алгебре и топографии и ходил с ним на съемку в двух старших классах. Это был человек с горячей душой и всем сердцем преданный своему делу. Его негодование против лентяев было искренно и никого не обижало; все мы очень его любили, как учителя безупречно справедливого. С хорошими учениками он обращался почти как с товарищами и всеми мерами поощрял их к работе. Помню, что, выписав для себя какой-то огромный французский труд по геодезии, он дал мне перевести заключающийся в ней небольшой курс плоской тригонометрии и с братским участием следил за моей работой. Для меня это было очень полезно, так как в то время мы учили тригонометрию по первому учебнику Симашко, в котором тригонометрические величины рассматривались как отвлечения, безо всякого их отношения к дугам круга.

С теплым чувством и вместе с тем с невольной улыбкой вспоминаю я моего учителя истории Дмитрия Павловича Пильчикова. Все мы, без всякого сомнения, были много обязаны ему основами нашего образования. Он превосходно владел словом, и в тоне его голоса была какая-то мягкость и вдумчивость.

Рассказывая о том или другом событии, он не упускал случая указывать нам, где мы можем найти доступные для нас источники для более близкого знакомства с эпохой. Помню, как, рассказав нам о Самозванце, он упомянул, что два великих поэта изобразили это загадочное лицо с двух различных точек зрения: Пушкин и Шиллер. Немецкий поэт не был еще тогда



переведен на русский язык, но Пушкина мы сейчас же попросили из корпусной библиотеки и, может быть, не с большим розумением, но с большим интересом читали Бориса Годунова. По его же указаниям читали мы первые тома Соловьева и такие романы, как Айвенго, Квентин Дорвард, Басурман и др. Для тогдашней постановки ученого дела это было явление не заурядное.

Но у Дмитрия Павловича была неудобная для учителя слабость: он был очень рассеян и небрежен к своей внешности. Худой, довольно высокого роста, с приятными чертами рябоватого лица, он обращал на себя внимание небрежностью своего костюма и не всегда тщательно выбритой бородой. Вызвав кадета к ответу, он начинал ходить по классу и видимо впадать в мечтательность. Ему можно было говорить что угодно, он ничего не слышал. Никогда кадеты не делали ему никаких штук, но этою слабостью пользовались. Иной проказник вместо урока монотонно бормочет ему всякую ерунду, а Дмитрий Павлович ходит по классу и мечтательно говорит: “Хорошо, молодой человек, продолжайте”...

Бывали, однако, и совершенно неожиданные случаи. Слушая такое бормотание, Дмитрий Павлович вдруг как будто просыпается, сажает кадета, садится на кафедру, берет журнал и решительно говорит: “Сегодня, молодой человек, я должен поставить вам единицу”... — “За что же, Дмитрий Павлович?” — “За ваш ответ; в нем было очень мало исторического... Вы, должно быть, думали, что я не слушаю, иначе мне трудно объяснить, зачем вы рассказывали мне, что у вас будет сегодня за обедом... Согласитесь, что это уже не история...” — и в журнале фигурирует крупная единица.

Я уже говорил о Туржанском, у которого мы учились географу и ситуационному черчению. Это был штабс-капитан, с очень черными усами и бакенбардами; он хорошо к нам относился, и сколько я теперь припоминаю, был человек недурно образованный. Мы делали у него большие успехи в черчении карт и планов.

В мое время только что было введено в курс корпуса естествознание, и были присланы превосходные учебники. Ботаника была написана В. Далем; зоология, вместе с краткими сведениями по анатомии и физиологии человека, — Постель-

сом, Далем и Сапожниковым. К курсу зоологии был приложен большой гравированный атлас с художественными изображениями животных. Не знаю, сам ли Сапожников работал над ним или кто другой под его руководством, но этот атлас даже и тепер был бы выдающимся явлением в нашей учебной литературе.

Учителем естествознания был приглашен Варжанский (Виктор Родионович), человек европейского образования, спокойный и уравновешенный. С кадетами он держал себя джентльменом.

Не могу обойти молчанием Ивана Кондратьевича Зайцева, нашего учителя рисования. Мы все очень любили этого серьезного и даровитого человека. Он толково объяснял нам правила перспективы и рисунка по учебнику Сапожникова. Я лично чувствую, что обязан ему зачатками моего художественного образования.

Были у нас учителя и из состава наших офицеров. Капитан Рубан преподавал древнюю историю, капитан Нарезный — геометрию. Оба они получили уроки потому, что кончили курс в кадетском корпусе.

Капитан Рубан ни по характеру, ни по образованию не мог быть вообще очень серьезным учителем; древнюю же историю он мог знать разве только по тогдашнему Беккеру.

Нарезный был хорошим, твердым учителем геометрии. Учебника тогда не было никакого, но он очень отчетливо чертил и писал формулы на доске и требовал, чтобы мы все это аккуратно писали за ним в классных тетрадях, а потом тщательно переписывали набело в свободное время. Составлялся таким образом конспект, или, как мы тогда называли, “порядок”, работая над которым, все мы твердо усваивали себе этот предмет.

В таких учебных и воспитательных условиях прошел я благополучно все четыре общих класса.

На второй год пребывания моего в корпусе я был переведен во вторую мушкетерскую роту. Отсюда, на третий год, я вернулся в неранжированную роту ефрейтером, был скоро произведен в унтер-офицеры и на четвертый год остался тут же в неранжированной роте фельдфебелем.

Ротным командиром в эти последние два года был у меня Владимир Васильевич Нарезный.



Я обязан сказать несколько слов об этом человеке, хотя охотно промолчал бы о нем, так как у меня и до сих пор еще не сложилось о нем очень определенного впечатления.

Все в этом человеке дышало деланностью и искусственностью. Ничего он не делал, не говорил и даже, вероятно, не думал просто. Одевался он всегда щеголевато, всегда с подвигнутым по-тогдашнему хохолком и с гладко причесанными вперед височками, но наружность его, с очень юркими глазами, была неприятна. Он был заботливый и внимательный ротный командир, но кадеты его не любили, и как-то не то что боялись, а опасались. В словах его одобрения не видно было открытой души, а в его порицании всегда слышалась обидная жесткость и грубость. Он нечасто прибегал к розгам, но в душе он был человек жестокий.

Я говорю все это, проверяя теперь мои тогдашние впечатления, но лично я не видел от него ничего дурного. Он обращался со мной ласково и как-то бережно, и я приписываю это тому, что отец мой оказал ему много внимания, когда он стал моим ротным командиром. Узнав, что Нарезный — сын автора “Бурсака”, отец мой сделал ему визит и много толковал с ним и об его отце, и о прежнем корпусном воспитании, и о теперешних корпусных порядках; может быть, на Нарезного имело влияние и то, что я бывал иногда у директора. Были даже два-три случая, когда он проявил ко мне истинное участие, посещая меня в лазарете, отпуская меня в отпуск даже в будние дни, когда родители мои приезжали в Полтаву, и т. п.

Прослужив лет десять ротным командиром, Нарезный перешел в армию штаб-офицером. Говорили, что это случилось не без давления со стороны начальства.

С хорошим чувством вспоминаю я о двух семьях корпусных офицеров, бравших меня иногда в отпуск по воскресным дням.

Корпусный полицмейстер, полковник Александр Михайлович Ярошенко, был сверстником моего отца по Полтавской гимназии. С поступлением моим в корпус знакомство возобновилось, и сам Александр Михайлович и его супруга, очаровательная Любовь Васильевна, были неизменно добры ко мне во все время моего учения в корпусе.

Это были родители известного русского художника Николая Александровича Ярошенко. Я знал его совсем еще маленьким мальчиком.

Был в корпусе заведующий лазаретом безрукий подполковник Николай Федорович Пинкорнелли. Он жил с двумя сестрами — Анной Федоровной и Елизаветой Федоровной. Это семейство было в давних приятельских отношениях с моими родственниками с материнской стороны. Обе пожилые девицы усердно старались откармливать меня по воскресным дням.

❧ X ❧

Хочу закончить мои воспоминания описанием посещений корпуса Высочайшими Особами и высшим начальством.

Для инспекторских смотров ежегодно приезжал один из состоявших при штабе военно-учебных заведений генералов. Но эти смотры были формальны и не оставляли в нас никакого впечатления.

В ожидании смотра вымуштруют нас по кроватям в равнении, в стойке, в ответе на приветствие, а то и в поклонах, на случай, если высокому посетителю вздумается поклониться; на самом смотре оденут нас то в мундиры, то в куртки, то в шинели; во время обеда зайдет генерал в столовую, иногда, правду сказать, редко, зайдет в классы, и для нас, кадет, этим исчерпывается вся процедура инспекторского смотра.

Совсем иначе чувствовали мы себя, когда в корпус приезжал начальник Штаба военно-учебных заведений, генерал-адъютант Ростовцов.

Сколько помню, он тоже приезжал в мое время каждый год и останавливался у доброго своего знакомого, бывшего садовника, а в те годы маститого Полтавского обывателя, Михаила Павловича Позена.

По самой задаче этих воспоминаний я могу говорить здесь только о наших тогдашних кадетских наблюдениях и впечатлениях. В нашем возрасте мы не могли понимать истинного смысла многих поступков этого выдающегося государственно-



го человека и, разумеется, могли оценить только с нашей детской точки зрения.

Очень жалею, что у меня нет никаких документальных данных, чтобы корректировать эти давние впечатления, но думаю, что мне не изменяет моя память, и постараюсь быть правдивым в описании, по крайней мере, фактической стороны этих посещений.

По внешности Ростовцов был “особа” в полном значении этого слова. Первое впечатление было, что перед вами стоит человек серьезный и властный. Если он был доволен тем, что видел, на лице его появлялась улыбка, разговор его с заметным заиканием становился благосклонным; он охотно прибегал к шутке и случалось, что шутки его принимали необычную, своеобразную форму. Однако иногда вдруг, под влиянием какой-нибудь неловкой или непредусмотренной оплошности, он моментально загорался гневом и наводил на нас страх.

Из всего этого для тогдашних кадет вытекало совершенно безошибочное заключение, что на глазах у Ростовцова надо было быть подтянутым, веселым, расторопным, но надо было держать ухо востро, чтобы каким-нибудь поступком, жестом или даже взглядом не привести его в раздражение.

Не знаю, было ли у него тут что-нибудь преднамеренное, продуманное, но в сущности в этом заключался весь смысл *тогдашнего военного воспитания*.

Посещая уроки, Ростовцов обнаруживал не формальный, а внутренний и просвещенный интерес к учебному делу. К учителям относился благосклонно. Иногда после урока разговаривал с ними.

Случалось, что он довольно долго сидел на уроке и слушал ответы или объяснения учителя. На уроках русского языка он любил слушать выученные на память стихотворения. Как я сказал уже, мы много учили на память, и Корженевский умел выбирать для нас поэтические образцы, но главным материалом служили тогда описательные, исторические, патриотические и военные отрывки. Очевидно, так это полагалось по духу того времени. Помню, когда мы были уже в IV общем классе, Ростовцов, прослушав некоторое время наши ответы, спросил: “А знает ли кто-нибудь Бородинскую Годовщину?”

Леонард Осипович доложил, что знают все, так как это входило в число учебных занятий. У Ростовцова глаза засветились от удовольствия.

— Ну, а “Клеветникам России”?

Оказалось, что учили и это. С выражением полного удовлетворения прослушал он и то, и другое, посмеялся отвечавшему кадету, что он живет ближе к Пламенной Колхиде, чем к Хладным финским скалам, и с сердечностью благодарил Корженевского.

Очень внимательно относился он к работе кадет и по всем другим предметам. Хорошие ответы видимо его радовали и он умел выразить свою благодарность добрым словом, иногда доброй, веселой шуткой. Слабые ответы его раздражали, и он их не дослушивал; но таких кадет при нем и не вызывали.

Ростовцов не был строевым генералом в тогдашнем понимании этого термина, но ему приходилось видеть так много учений, смотров и парадов, производимых Великим Князем Михаилом Павловичем, что он естественно должен был усвоить себе непреклонную строевую требовательность своего начальника. Мне кажется, что в некоторых отношениях он даже преувеличивал эту требовательность. Для него строевое учение было тогда только хорошо, когда оно выполнялось с безусловной машинообразной точностью. Всякое нарушение этой точности сразу выводило его из себя. Строится, например, батальон в колонну справа, и вот какой-нибудь взвод затягивает ногу, нечетко останавливается или не входит в свое место всего на один какой-нибудь ряд... Довольно! Все пошло насмарку. Ростовцов вне себя, кричит и на офицера, и на взвод, и на роту и требует многократного повторения одного и того же построения, пока оно не будет сделано с безупречной механической точностью.

Строевые требования его были иногда просто невыполнимы, но зато он видимо становился весел и доволен, когда случайно они выполнялись удовлетворительно. Не могу забыть, как однажды в лагерях, после ружейных приемов, он скомандовал развернутому батальону: “Тихим шагом”... Сохранить равнение развернутого фронта длиной в сто человек при маршировке, тогдашним тихим шагом, можно было разве только при исключительной счастливой случайности... Судьба послала нам эту случайность: батальон прошел изумительно



ровно. Трудно даже описать, какое удовольствие доставило это Ростовцову. Он похвалил кадет, сказал, что больше ему и смотреть нечего, и, кажется, поцеловал Дубровина.

Когда он видел кадет в часы, свободные от учения, когда он был доволен всем, что видел, в его обращении с нами часто проявлялась неожиданная эксцентричность.

Однажды он приехал в корпус, когда мы были в лагере, и пошел купаться вместе с неранжированной ротой. По-видимому, это было у него предусмотрено, так как тут же ему подали костюм для купания. Войдя в воду, он требовал, чтобы кадеты плыли с ним вперегонки, ловил некоторых, сажал к себе на спину и потом неожиданно сбрасывал их в воду...

Бывало и так: обходит он кадет по кроватям, положим, во второй роте, и вдруг, обернувшись к ротному командиру, спрашивает: “А умеют они у вас лазить на печки?” Клименко растерянно смотрит на него и не знает, что сказать, тогда он обращается к кадетам:

— Кто из вас умеет лазить на печку? — Выходит небольшой белобрысый кадетик. — Ты?

— Так точно, ваше пр-во, только я с подсадкой...

— Покажи! — Появляется дюжий кадет с правого фланга, становится лицом к печке, малыш ловко вспрыгивает ему на плечи, хватается руками за верхний край печки, притягивается, кладет локти на верхнюю площадку и готов уже прыгнуть на нее ногами...

— Довольно! — говорит Ростовцов, — ступай вниз! Ты ловкий и смелый мальчик; должно быть, ты уже не раз бывал на печке. Не хочу знать, что ты там делал, но не советую повторять этой штуки, а то тебя капитан Клименко не поблагодарит за это. Кстати, покажи-ка мне твои руки!

Затем, обращаясь к полицмейстеру: “И печки ведут себя хорошо, умылись к моему приезду...”

Было много случаев, которые рисовали нам Ростовцова таким начальником, который может потребовать от нас шутя или серьезно таких вещей, каких никогда не требует другое начальство, и которые мы должны исполнять без колебания и рассуждения... Мы только что легли спать; вдруг запыхавшись прибегает помощник швейцара и докладывает офицеру, что в корпус прибыл начальник Штаба. Появляется Нарезный, нас торопливо укладывают по-хорошему: руки сверх одеяла или

на правый бок; все обращается в ожидание. Быстрыми тихими шагами входит один из офицеров и вполголоса говорит Нарезному, что начальник Штаба во второй роте приказал кричать петухами и остался недоволен, когда закричали не все сразу. Нарезный, объявляет во всеуслышание: “Если начальник Штаба прикажет кричать петухами, кричать непременно вместе, кто как умеет; чтобы ни один не молчал...”

Приходит таким же таинственным шагом еще офицер: в 1-й роте начальник Штаба приказал всем чихать, смеяться и пожелал, чтобы к завтраму у них прошел этот сильный насморк. Нарезный делает опять соответствующее объявление: “Если начальник Штаба прикажет чихать...” и пр. Все затихает... Но вот из церковного коридора доносятся звук шпор и довольно громкий говор. Входит Ростовцов в сопровождении директора и других чинов.

— А тут уже спят? — Нарезный хочет что-то доложить, но Ростовцов машет ему рукой. — Что же я храпа не слышу? А ну-ка, покажи, как русские богатыри храпят после славных подвигов! Начинай! — Раздается несуразный, неумелый детский храп; высокий посетитель смеется: — Ну, видно, вы еще не настоящие богатыри... Но усердия у вас много; спасибо, дети; спите спокойно, завтра увидимся...

На другой день он делает смотр корпусной пожарной команде. Когда дроги с бочкой и трубой прибыли на один из боковых дворики, он требует сюда же и 1-ю мушкетерскую роту, отводит ее в сторону, приказывает им раздеться донага, выстраивает против бочки и велит направить в них всю струю воды. “Это будет полезно им после вчерашнего насморка”, — смеется он и совершенно довольный наблюдает, как кадеты одеваются, и идет с ними к завтраку¹.

¹ Указанное выше купание Ростовцова с кадетами неранжированной роты, а также обливание взрослых кадет из пожарной трубы имеет следующее объяснение.

Ростовцову, да и многим его современникам казалось, что легко определить по внешнему виду тех, кто предается “тайному” пороку. Уверенный в этом Ростовцов и прибегал к таким оригинальным приемам. (См. П. Петров. Ист. Оч. Военно-учебных заведений. Ч. II стр. 38.)

В одном из своих писем к Великому Князю Михаилу Павловичу Ростовцов откровенно высказывает, что осмотр голых он делает в каждом корпусе, находя это полезным “для наблюдения” за степенью онанизма (см. Арх. Гл. Управления в. у. з. 1885 г. Д. № 55, письмо от 28 июля 1845 г.). *Прим. ред.*



Это все то, что мне верно сохранила моя память о приездах Ростовцова в Полтаву. Позднее, в Дворянском полку, я ближе видел Ростовцова и со стороны его чудачеств, и со стороны сердечного и вместе с тем глубоко обдуманного отношения его ко всем явлениям нашей кадетской жизни и нашего воспитания.

Я не вижу надобности, да, в сущности, я не чувствую себя и в силах вдаваться в какие-либо соображения по поводу приведенных здесь случаев. Не мне говорить также о государственных заслугах этого человека; довольно, если я напомним моим читателям, что Ростовцов, обливавший кадет из пожарной трубы, был тот же самый Ростовцов, который написал приказ по поводу кончины Великого Князя Михаила Павловича.

Добавлю, что Ростовцов очень хорошо, серьезно и дружелюбно относился к нашему директору.

❧ XI ❧

Я был во 2-й мушкетерской роте, когда через Полтаву, по пути на Кавказ, проследовал тогдашний Августейший Главный Начальник военно-учебных заведений, Наследник Цесаревича Александр Николаевич.

Мне приходит на память, что мы начали ждать высокопосетителя часов с трех дня, и нас раза два выстраивали по кроватям в ожидании, что он сейчас прибудет в корпус, но оказывалось, что это была ложная тревога. Подъезжали к генерал-губернаторскому дому какие-то экипажи, но Его Высочества еще не было. Пришло известие, что по случаю дурных дорог Его Высочество может прибыть в Полтаву только к ночи, и в таком случае сегодня не будет уже в корпусе. Нас переодели в старые куртки и вывели гулять в круглый сад. Вдруг откуда-то сведение: приехал! приехал! Все мы стремглав бросились в корпус и как были, так и построились по кроватям.

Быстро обошел Великий Князь все помещения, очевидно, прямо с дороги, в сюртуке, и поразил нас и своим изящным видом, и своим чарующим, деликатным обращением.

На другой день он сделал нам смотр на корпусном плацу. Видимо, он остался очень доволен и в теплых словах выразил

нам свое удовольствие. Прощаясь, он сказал, что доложит Государю Императору о прекрасном состоянии корпуса и надеется, что Петровские кадеты оправдают перед Государем его похвальный отзыв.

В следующем учебном году корпус был осчастливлен посещением Императора Николая Павловича.

И наши отцы, и наше начальство, и все русские люди почитали этого Государя как высшее олицетворение непреодолимой власти, беспредельного могущества и безмерного величия, какие только были когда-нибудь даны человеку на земле. Мы, дети русских дворян, воспитывались в этих чувствах от колыбели, и понятно, что ожидание прибытия великого русского царя приводило нас в несказанное волнение. Мы и радовались, и гордились, и прилагали все наши силы, чтобы достойно предстать перед очами великого царя, но в этих наших чувствах было и что-то тревожное, наше смутное представление величайшего земного могущества, естественно, внушало нам некоторый страх ожидания.

Мы рано построились на корпусном плацу, в полной парадной форме, развернутым фронтом. Неранжированная рота, в курточках, стояла в стороне, на левом фланге и принимала участие только в церемониальном марше.

Дубровин, добрый, подтянутый, стоял в ожидании перед батальоном; Врангель, спокойный как всегда, был на правом фланге. Чины, не находившиеся в строю, стояли в конце развернутого батальона.

К 10 часам в коляске прибыл Государь и с ним какой-то высокий генерал в незнакомой для нас форме. Потом мы узнали, что это был прусский фельдмаршал барон Врангель, которого Государь будто бы нарочно взял с собой в эту поездку, чтобы он познакомился в Полтаве со своим однофамильцем.

Выйдя из коляски, Государь принял рапорт Дубровина, сделал ласковый приветливый знак директору и громко поздоровался с нами. Нас поразила его высокая, стройная и действительно властная величественная фигура, как-то магически прозвучал для нас его звучный тенор, но многим, я думаю, бросилось в глаза, что совсем почти не был похож на те его портреты, которые висели у нас в ротках. То были форменные портреты, которые одни только и были утверждены для всех правительственных учреждений; но с тех пор прошло уже с лишком двадцать лет, и



естественно, что сходство не могло сохраниться. Государь был похож теперь на тот превосходный портрет 50-х годов, который во множестве был распространен впоследствии в литографиях.

Посмотрев ружейные приемы, он похвалил батальон и велел, чтобы к нему вышел самый маленький кадет неранжированной роты. Нарезный выслал Цыбульского 2-го. Когда мальчик подошел к Государю, он поднял его под локти в уровень со своим лицом, потом поставил его перед собою, лицом к фронту, и положил руки на плечи. Во время всего учения он шутил с ним, то переворачивал, то клал на землю, то поднимал и делал вид, что хочет его уронить или бросить...

Учение и церемониальный марш прошли без заминки. Государь несколько раз благодарил кадет, выразил свою особенную благодарность офицерам, батальонному командиру и подал руку директору; Врангель хорошим, искренним движением нагнулся и поцеловал эту руку. Это было на глазах у нас всех.

Все мы были, можно прямо сказать, вне себя от счастья. Но тут произошло нечто, правда, совсем незначительное, но в такой необычной обстановке и самые малые случаи остаются памятливы на всю жизнь...

Приказав вести батальон в корпус, Государь несколько держался у коляски, разговаривая с прусским фельдмаршалом и нашим директором. Дубровин скомандовал “под знамена...”, за знаменем пошла гренадерская рота, а за ней и весь батальон.

Идем мы уже по улице, счастливые и довольные, как вдруг из догоняющей нас коляски раздается могучий, властный голос: “Музыканты! Что за ария!”

Мы ничего не поняли и едва ли кто понял что-нибудь из нашего начальства, но этот возглас произвел ошеломляющее впечатление; все мы и весь народ, во множестве толпившийся на прилегающем к дороге ипподроме, все замерло; даже в самом воздухе как-будто прекратилось всякое движение...

Но это был один момент; музыканты поняли; через четыре счета они заиграли что-то новое, и Государь обогнал нас с довольным лицом и снова поблагодарил за учение.

Потом мы узнали, что из желания отличиться музыканты заиграли марш “под знамена” на трубах, тогда как по уставу должны были играть на сигнальных рожках. У Государя был очень тонкий слух, и он сразу это заметил.

В первом часу Государь обходил роты. Мы были выстроены по кроватям; унтер-офицеры стали отдельно, под красными досками, вывешенными в спальнях.

Государь всегда во всех корпусах смотрел унтер-офицеров отдельно от кадет, и это очень возвышало унтер-офицерское звание.

Здесь, в корпусе, Государь держал себя не с такой формальной подтянутостью, как на учении, но во всей его особе чувствовалась какая-то благожелательная уверенность в доброй воле и преданности всякого человека, к которому он обращался.

Обойдя быстро кадет по кроватям, он переходил к унтер-офицерам, которые должны были называть ему свои фамилии, и для каждого из них находил одобрительное слово.

В час он присутствовал в столовой за нашим обедом. Он пробовал пищу из кадетских тарелок, и ему очень понравился наш борщ. Врангель доложил ему, что это настоящий малороссийский борщ, и Государь пожелал, чтобы рецепт этого борща был сообщен его повару.

В 4 часа был назначен отъезд Государя. Он приказал, чтобы к этому времени в генерал-губернаторском доме, где он имел свое пребывание, были приведены все унтер-офицеры. Когда Врангель вошел с нами и мы стали у стены в шеренгу, Государь объявил ему, что совершенно довольный всем тем, что он видел, он жалует корпусу новый шифр на погоны, именно вензель Петра Великого; вместе с тем, ввиду новой перегруппировки губернских кадетских корпусов по старшинству их основания, в связи с только что состоявшимся открытием Киевского кадетского корпуса, он жалует Полтавскому корпусу синие погоны с белым кантом вместо прежних белых с синим кантом.

Перемена шифра, естественно, очень нас заняла; до сих пор у нас были два рядом стоящие П печатного образца; это было слишком просто, но мы не имели решительно никакого понятия о начертании этого нового шифра.

Государь спросил у Врангеля, помнит ли он этот вензель Петра I, и видя, что он как будто недоумевает, подошел к нашей шеренге, в которой я стоял на самом левом фланге, взял меня за плечо, повернул направо, плечом к себе, и показал пальцем на моем левом погоне начертание этого вензеля.



Врангель тотчас же припомнил, что видел этот вензель много раз и в Петергофе, и в Петербурге, и Государь сказал, что представляет ему самому выработать образец и красивый, и удобный по величине для погона.

Вместе с тем Государь милостиво откликнулся на одну из настоятельных потребностей нашего заведения. Он подарил корпусу, для квартирных помещений служащих чинов, бывший губернаторский дом, стоявший незанятым после упразднения в Полтаве генерал-губернаторства.

В заключение Государь очень тепло простился с нами, кадетами, заметил, что с некоторыми из нас он прощается ненадолго, так как надеется скоро увидится с нами в Дворянском полку, и удалился с Врангелем и другими бывшими тут чинами во внутренние покои.

Мы вышли на улицу и пристроились к своим ротам, стоявшим на тратуаре по пути Государя.

Через несколько минут открытый экипаж Государя быстро промчался мимо нас. Государь громко сказал нам: “Прощайте, дети!” и мы ответили ему и закричали “ура” от всей полноты наших чувств.

Много и долго толковали мы об этом замечательном для нас дне. Мы не могли вместить в себе представления, что мы стояли так близко к этому всемогущему, всевластному человеку, что мы слышали его голос, что мы говорили с ним, что иных из нас он поощрительно гладил по щеке или по голове и что всеми нами он остался доволен.

Долго говорили, но еще дольше носили это событие в памяти...

Пробовали мы, разумеется, рисовать и пожалованный нам шифр; но это нам не удавалось; выходило как-то не симметрично...

Однако этот вопрос был разрешен раньше, чем мы думали. В самый день отъезда вечером между кадетами разнесся слух, что Василий Иванович Дудышкин чудесно начертил шифр в таком размере, в каком он должен стоять на погоне, что рисунок очень понравился директору и что завтра же он будет отправлен в Штаб военно-учебных заведений на утверждение.

Недели через три мы все ходили уже в новых погонах...



11.2

1/2

Красный 25 лет.

МИНИСТЕРСТВА ВОЕННОГО
ГЛАВНОГО ШТАБА.

$\frac{6}{15}$ Отделен. 1ст. мит., 50"
от 157. №121

О пожаловании награды
Генералом по случаю
50-летнего юбилея в офи-
церские чины.

400 1500
157 16 12
№ 19052 2-656

Касит 11⁰⁰
23656
400-12

Начало 15. Отделен. 1906
Бюджет 14. 1/2
По 1/2 (1913) 1/2

Полный послужной список

Генерала для особых поручений
при Главном Управлении военно-учебных заведений,
числящегося по армейской пехоте
генерал-лейтенанта

Бутовского



| | | |
|--|--|---|
| I Чин, имя, отчество и фамилия | <i>Генерал-лейтенант Алексей Дмитриевич Бутовский</i> | |
| II Должность по службе | <i>Генерал для особых поручений при Главном Управлении военно-учебных заведений</i> | |
| III Ордена и знаки отличия | <i>Кавалер орденов: Св. Станислава 1 и 2 ст. и также степени с Императорскою короною; Св. Владимира 2, 3 и 4 ст.; Св. Анны 1 и 2 ст. и 4 ст. с надписью "за храбрость" и иностранного командорского креста Божеского ордена Спасителя. Имеет ленты: серебряную в память Царствования Императора Александра III и бронзовые: за усмирение Польского мятежа и в память Царствования Императора Николая I, установленную для воспитанников военно-учебных заведений</i> | |
| IV Когда родился | <i>9 июня 1838 года</i> | |
| V Из какого звания происходит и какой губернии уроженец | <i>Из дворян Полтавской губернии</i> | |
| VI Какого вероисповедания | <i>Православного</i> | |
| VII Где воспитывался | <i>В общих классах Петровского-Полтавского кадетского корпуса и в специальных классах Константиновского кадетского корпуса (ныне Константиновское артиллерийское училище)</i> | |
| VIII Получаемое по службе содержание | <i>Жалованья Квартирных Пенсий</i> | <i>2812 р. 50 к. 937 р. 50 к. 1232 р. 88 к.</i> |
| | <i>Всего:</i> | <i>4982 р. 88 к.</i> |

IX. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ

Когда на службу поступил и произведен в первый офицерский чин; производство в следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из одного места службы или должности в другую, с объяснением, по какому случаю: по воле начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия; Всемиловнейшие рескрипты, Высочайшие благоволения.

| | Год | Месяц | Число |
|---|------|----------|-------|
| <i>Петровского-Полтавского кадетского корпуса</i> <i>На службу поступил из унтер-офицеров Константиновского кадетского корпуса (ныне Константиновское артиллерийское училище) прапорщиком лейб-гвардии в Павловский полк с прикомандированием к Николаевской Инженерной Академии, тысяча восемьсот пятьдесят шестого года июня десятого, имея от роду 18 лет</i> | 1856 | Июня | 16 |
| <i>Отправлен в Академию</i> | 1856 | Июня | 24 |
| <i>Прибыл и зачислен в теоретическое отделение</i> | 1856 | Июня | 24 |
| <i>По распоряжению начальства отчислен от Академии</i> | 1857 | Мая | 24 |
| <i>Прибыл к полку</i> | 1857 | Июня | 4 |
| <i>Прикомандирован к Петровскому-Полтавскому кадетскому корпусу на должность репетитора военных наук</i> | 1858 | Февраля | 28 |
| <i>Отправлен к корпусу</i> | 1858 | Апреля | 1 |
| <i>Прибыл</i> | 1858 | Мая | 7 |
| <i>Приказом по военно-учебным заведениям за № 2908 отчислен обратно лейб-гвардии к Павловскому полку</i> | 1861 | Сентября | 1 |
| <i>Не прибывая к полку, командирован в Полтавскую губернию в Кременчугский уезд для производства землемерных работ в Змеевском участке по 12 марта 1863 года</i> | 1861 | Июня | 2 |
| <i>Подпоручиком</i> | 1862 | Апреля | 17 |
| <i>Прибыл из командировки</i> | 1863 | Марта | 20 |
| <i>Поручиком</i> | 1863 | Мая | 19 |
| <i>За отличие, оказанное в деле с польскими мятежниками у фольварка Дагзишки, наградить орденом Св. Анны 4-й степени с надписью "за храбрость"</i> | 1863 | Июля | 27 |
| <i>Командующим ротой</i> | 1864 | Марта | 30 |
| <i>Штабс-капитаном</i> | 1865 | Августа | 1 |
| <i>Командиром роты</i> | 1865 | Ноября | 1 |

| | | | |
|---|------|----------|----|
| Назначен временным членом С.-Петербургского Военно-Окружного Суда | 1868 | Марта | 11 |
| Возвратился из этой командировки | 1869 | Сентября | 15 |
| Капитаном | 1869 | Апреля | 20 |
| Награжден орденом Св. Станислава 2-й степени | 1870 | Августа | 30 |
| Сдал роту | 1870 | Декабря | 4 |
| Прикомандирован к 1-й С.-Петербургской военной гимназии для испытания в должности воспитателя | 1871 | Марта | 11 |
| Утвержден в должности воспитателя с старшинством с 11 марта 1871 года | 1872 | Мая | 12 |
| Высочайшим приказом переведен в 1-ю С.-Петербургскую военную гимназию подполковником, с оставлением в занимаемой должности | 1872 | Июня | 3 |
| Награжден орденом Св. Станислава 2-й степени с Императорской короною | 1873 | Августа | 30 |
| Награжден орденом Св. Анны 2-й степени | 1876 | Августа | 30 |
| Прикомандирован к 3-й С.-Петербургской военной гимназии для исполнения обязанностей помощника инспектора классов, впредь до назначения на эту должность | 1877 | Августа | 16 |
| Переведен в 3-ю С.-Петербургскую военную гимназию помощником инспектора классов | 1877 | Ноября | 4 |
| Полковником | 1878 | Апреля | 16 |
| Награжден орденом Св. Владимира 4-й степени | 1879 | Августа | 30 |
| По переименовании 3-й С.-Петербургской военной гимназии в Александровский кадетский корпус оставлен в составе одного в занимаемой должности | 1882 | Июля | 22 |
| По Высочайшему повелению зачтен в действительную службу, к выходу на пенсию время нахождения в третьем специальном классе бывшего Константиновского кадетского корпуса с 12 июня 1853 года по 10 июня 1856 года, всего одиннадцать месяцев двадцать восемь дней | 1883 | Апреля | 15 |
| За выслугу 25 лет по учебной части назначена пенсия на службе по 770 руб. 55 коп. в год с 17-го февраля 1884 года | 1884 | Мая | 19 |
| Назначен ротным командиром в Александровском кадетском корпусе с 1-го августа 1886 года | 1886 | Июля | 18 |
| Награжден орденом Св. Владимира 3-й степени | 1887 | Августа | 30 |
| Прикомандирован к Главному Управлению военно-учебных заведений для поручений | 1888 | Декабря | 14 |
| Сдал роту | 1888 | Декабря | 20 |

| | | | |
|--|------|----------|----|
| Назначен чиновником для особых поручений VI класса при Главном Управлении военно-учебных заведений с зачислением по армейской пехоте | 1889 | Января | 22 |
| Прибыл и зачислен на службу | 1889 | Января | 31 |
| За выслугу по учебной части сверх 25 лет, еще 5 лет, назначена добавочная пенсия на службе по 154 руб. 11 коп. в год, с 23 февраля 1889 г. | 1889 | Апреля | 7 |
| Высочайшим приказом назначен чиновником для поручений V класса при Главном Управлении военно-учебных заведений с оставлением по армейской пехоте | 1890 | Апреля | 9 |
| Произведен за отличие в генерал-майоры с оставлением по армейской пехоте | 1891 | Октября | 8 |
| Согласно приказу по военно-учебным заведениям за № 26 за выслугу по учебной части сверх 30 лет еще 5 лет, назначена добавочная пенсия на службе по 154 р. 11 коп. в год с 17 февраля 1894 года | 1894 | Марта | 21 |
| Приказом по Главному Управлению за № 58 назначено производить содержание в размере трех тысяч (3000) руб. в год взамен ранее производящегося ему содержания по 2400 руб. в год | 1894 | Августа | 12 |
| Награжден орденом Св. Станислава 1-й степени | 1895 | Декабря | 6 |
| Высочайше разрешено принять и носить Командорский Крест Греческого ордена Спасителя | 1896 | Октября | 20 |
| Высочайшим приказом назначен генералом для особых поручений IV класса при Главном Управлении военно-учебных заведений | 1897 | Июля | 21 |
| Согласно приказу по военно-учебным заведениям за № 36 за выслугу лет по учебной части сверх 35 лет еще 5 лет, назначена добавочная пенсия на службе по 154 р. 11 к. в год с 17 февраля 1899 года | 1899 | Мая | 5 |
| Всемилоостивейше пожалован орденом Св. Анны 1-й степени | 1899 | Июня | 4 |
| Всемилоостивейше пожалован знаком отличия безупречной службы за выслугу в офицерских чинах XL лет | 1899 | Августа | 22 |
| Приказом по Главному Управлению военно-учебных заведений № 132 назначено производить содержание с 1 января 1902 года в размере трех тысяч семьсот пятидесяти (3750 руб.) в год взамен ранее производившегося ему содержания по 3000 р. в год | 1902 | Сентября | 2 |
| Награжден орденом Св. Владимира 2-й степени | 1902 | Декабря | 6 |
| С Высочайшего соизволения, последовавшего 4 ноября 1903 года, основная пенсия, производимая | | | |

| | | | |
|--|------|---------|----|
| на службе в размере 770 руб. 55 коп. в год, переассигнована до оклада, присвоенного должности директора кадетского корпуса, т. е. до 1500 руб. в год. Но такое переассигнование не распространено за время службы на установленные законом пятилетия прибавки к основному пенсионному окладу | 1903 | Ноября | 4 |
| За выслугу по учебной части сверх 40 лет еще пяти лет назначена добавочная пенсия на службе по 154 руб. 11 к. в год с 17 февраля 1904 года, о чем сообщено Министру Финансов в извещении за № 25 | 1904 | Февраля | 27 |
| За отличие по службе произведен в генерал-лейтенанты | 1904 | Марта | 28 |

Х. БЫТНОСТЬ ВНЕ СЛУЖБЫ

- а) Во временных отпусках: когда уволен, на какое время и явился ли в срок, а если просрочил, то сколько именно и признана ли просрочка уважительной;
 б) в бессрочном отпуске: с какого и по какое время; в) для лечения ран: где именно, по чьему разрешению, с какого и по какое время; г) по роду оружия, без исполнения службы; д) в плену: когда и где взят и когда возвратился на службу и е) в отставке: когда уволен и когда вновь прибыл на службу

| | Год | Месяц | Число |
|---|------|----------|-------|
| <i>В отпуске был:</i> | | | |
| На 3 месяца с | 1857 | Августа | 7 |
| по | 1858 | Февраля | 21 |
| Просрочил по болезни 3 месяца 14 дней; на основании представленных документов просрочка признана уважительной | | | |
| Уволен на 28 дней приказом по военно-учебным заведениям 1858 г. за № 2560 | | | |
| На 28 дней с | 1859 | Июля | 2 |
| На 14 дней с | 1860 | Декабря | 22 |
| На 28 дней с | 1861 | Января | 12 |
| На 28 дней с | 1861 | Августа | 10 |
| На 28 дней с | 1866 | Сентября | 3 |
| На 2 месяца с сохранением содержания с | 1870 | Декабря | 23 |
| На каникулярное время с | 1881 | Июля | 1 |
| с | 1883 | Июня | 16 |
| с | 1884 | Июня | 14 |
| с | 1885 | Июня | 9 |
| с | 1886 | Июня | 26 |
| с | 1887 | Мая | 23 |

| | | | | |
|---|----------|------|----------|----|
| | <i>с</i> | 1888 | Мая | 22 |
| <i>На 2 месяца с сохранением содержания</i> | <i>с</i> | 1895 | Августа | 26 |
| | <i>с</i> | 1897 | Сентября | 6 |
| | <i>с</i> | 1898 | Сентября | 2 |
| <i>Из этого отпуска возвратился 23-мя днями ранее срока</i> | | | | |
| <i>На 2 месяца</i> | <i>с</i> | 1902 | Августа | 27 |
| <i>Явился ранее срока 6 днями</i> | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| XI Холост или женат, на ком; имеет ли детей; год, месяц и число рождения детей, какого они и жена вероисповедания | <i>Женат первым браком на дочери С.-Петербургского 2-й гильдии купца Горохова, Анне Васильевне; детей не имеет, жена вероисповедания православного</i> | | | |
| XII Есть ли за ним, за родителями его или, если женат, за женой, недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное | <i>В Полтавской губернии состоит за женой 350 десятин земли</i> | | | |
| XIII Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе, — когда и за что именно; по судебным приговорам или в дисциплинарном порядке | <i>Не был</i> | | | |

| XIV | | Год | Месяц | Число |
|---|--|----------|-------|-------|
| Бьтность в походах и делах против неприятеля, с объяснением, где именно, с какого и по какое время; оказанные отличия и полученные в сражениях раны | <i>По случаю возмущения в Западном крае находился в составе войск Виленского военного округа</i> | <i>с</i> | | |
| | | 1863 | Марта | 20 |
| | <i>по</i> | 1863 | Июля | 7 |
| | <i>Был в делах с польскими мятежниками под Рудниками</i> | 1863 | Мая | 19 |

| | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|----|
| или контузии; особые поручения, сверх прямых обязанностей, по Высочайшим повелениям или от начальства | При разбитии шайки у фольварка Дагзишки | 1863 | Июня | 12 | |
| | В отряде полковника Власова при м. Дмидич | 1863 | Июля | 6 | |
| | Время нахождения в составе войск Виленского военного округа для усмирения Польского мятежа в 1863 году с 20 марта по 7 июля, т. е. 3 месяца 17 дней считается к пенсии вдвое | | | | |
| | В отсутствие директора 3-й С.-Петербургской военной гимназии заведовал ею | с | 1880 | Июня | 8 |
| | | по | 1880 | Августа | 10 |
| | | с | 1882 | Июня | 6 |
| | | по | 1882 | Августа | 11 |
| | Назначен членом комиссии, учрежденной по Высочайшему повелению при Министерстве Народного Просвещения для разработки вопроса о преподавании военной гимнастики в гражданских учебных заведениях | | 1888 | Ноября | 6 |
| | Поручено организовать временные летние курсы для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет | | 1890 | Февраля | 28 |
| | Заведовал означенными курсами | с | 1890 | Июня | 1 |
| | по | 1890 | Августа | 20 | |
| В приказе по военно-учебным заведениям за № 55 объявлена благодарность Главного Начальника этих заведений за руководство означенными курсами | | 1890 | Августа | 23 | |

| | | | | |
|--|-------------|------|----------|----|
| За отсутствием директора Педагогического Музея военно-учебных заведений исполнял его обязанности | с | 1891 | Мая | 22 |
| | по | 1891 | Сентября | 21 |
| Заведовал временными летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет | с | 1891 | Июня | 1 |
| | по | 1891 | Августа | 20 |
| За заведование упомянутыми выше курсами выражена искренняя благодарность Военного Министра и особенно сердечная признательность Главного Начальника военно-учебных заведений | | 1891 | Сентября | 14 |
| С Высочайшего соизволения, командирован за границу для ознакомления с гимнастическими и фехтовальными учреждениями в Швеции, Дании, Германии, Бельгии и Франции | | 1891 | Декабря | 17 |
| | Отправился | 1892 | Февраля | 21 |
| | Возвратился | 1892 | Июня | 20 |
| Заведовал временными летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет | с | 1892 | Июня | 20 |
| | по | 1892 | Августа | 20 |
| В приказе по военным учебным заведениям № 55 объявлена благодарность Главного Начальника этих заведений за руководство вышеозначенными курсами | | 1892 | Сентября | 3 |

| | | | | |
|--|---|------|----------|----|
| | Назначен представителем ведомства военно-учебных заведений и заведующим отделом этого ведомства на Всероссийской гигиенической выставке 1893 года | 1893 | Января | 10 |
| | Заведовал означенным отделом по | 1893 | Сентября | 3 |
| | Заведовал временными летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет | 1893 | Июня | 1 |
| | по | 1893 | Августа | 20 |
| | В приказе по военным учебным заведениям № 47 объявлена благодарность Главного Начальника этих заведений за руководство вышеозначенными курсами | 1893 | Сентября | 23 |
| | Командирован для осмотра Полоцкого и Петровского-Полтавского кадетских корпусов | 1893 | Сентября | 10 |
| | Возвратился из командировки | 1893 | Ноября | 4 |
| | Назначен председателем комиссии по обсуждению мер для ограждения от порчи зрения воспитанников военно-учебных заведений | 1894 | Января | 17 |
| | Командирован в города Москва, Орел, Тифлис, Воронеж и Оренбург для присутствия при проверке Главным Начальником военно-учебных заведений, в местных кадетских корпусах, исполнения правил для внеклассных занятий кадет | 1894 | Мая | 3 |
| | Возвратился из командировки | 1894 | Июня | 4 |

| | | | | | |
|--|--|----|------|----------|----|
| | Заведовал временными летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет | с | 1894 | Июня | 4 |
| | | по | 1894 | Августа | 20 |
| | В приказе по военно-учебным заведениям № 92 объявлена благодарность Главного Начальника этих заведений за руководство вышеозначенными курсами | | 1894 | Сентября | 8 |
| | Командирован для осмотра внеклассных работ в Псковском и Владимирском-Киевском кадетских корпусах | | 1894 | Августа | 26 |
| | Возвратился из командировки | | 1894 | Октября | 15 |
| | По приказанию Главного Начальника военно-учебных заведений поручен осмотр Николаевского кадетского корпуса по всем частям его устройства | | 1895 | Марта | 10 |
| | Командирован в города Тверь, Москва, Киев, Елисаветград, Полтава, Новочеркасск и Ярославль для сопровождения Главного Начальника военно-учебных заведений при осмотре местных военно-учебных заведений | | 1895 | Мая | 7 |
| | Возвратился из командировки | | 1895 | Июня | 4 |
| | Заведовал временными летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет | с | 1895 | Июня | 4 |
| | | по | 1895 | Августа | 20 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|----------|----|
| | В приказе по военно-учебным заведениям № 77 объявлена благодарность Главного Начальника заведений за руководство означенными курсами | 1895 | Сентября | 10 |
| | С разрешения Военного Министра командирован в Москву для участия в Высочайше разрешенном втором съезде русских деятелей по техническому профессиональному образованию | 1895 | Декабря | 23 |
| | Возвратился из командировки | 1896 | Января | 11 |
| | По Высочайшему повелению командирован в Австрию, Италию и Грецию для ознакомления с постановкой в этих государствах гимнастики, фехтования и других отраслей физических упражнений | Отправился 1896 | Марта | 3 |
| | Возвратился | 1896 | Июня | 20 |
| | По приказанию Военного Министра назначен членом в особую комиссию, образованную под председательством директора Педагогического Музея ведомства военно-учебных заведений, генерал-лейтенанта Макарова, для составления подробных соображений об участии Военного Министерства в предположенной в 1900 году Всемирной промышленной земледельческой и художественной выставке в Париже и, вместе с тем, заместителем председателя во всех случаях, когда в том встретится надобность | 1896 | Июня | 17 |

| | | | | | |
|--|--|----|------|----------|----|
| | Заведовал временными летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет | с | 1896 | Июня | 20 |
| | | по | 1896 | Августа | 20 |
| | Поручено Главным Начальником военно-учебных заведений ознакомиться с ведением внеклассных занятий в Пажеском Его Императорского Величества и в Петербургских кадетских корпусах | | 1896 | Октября | 31 |
| | Приказом по Главному Управлению военно-учебных заведений за № 10 назначен членом экзаменной комиссии сего Управления | | 1897 | Января | 31 |
| | Командирован по делам службы в города Москва, Симбирск, Омск и Дольск | | 1897 | Мая | 11 |
| | Возвратился из командировки | | 1897 | Июня | 7 |
| | На основании приказа по военно-учебным заведениям от 10 апреля 1897 года за № 33 поручено заведование летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет | с | 1897 | Июня | 1 |
| | | по | 1897 | Августа | 20 |
| | В приказе по военным учебным заведениям за № 73 объявлена благодарность Главного Начальника этих заведений за руководство вышеозначенными курсами | | 1897 | Сентября | 7 |

| | | | | |
|--|--|------|--------|----|
| | Избран Главным Начальником военных учебных заведений представителем от Главного Управления в состав комиссии, образованной под председательством генерал-лейтенанта Бильдерлинга, для обсуждения и выполнения работ по участию Военного Министерства в создании особого отдела военно-морской части при Музее Имени Императора Александра III | 1897 | Ноября | 13 |
| | По желанию Его Императорского Высочества генерал-инспектора кавалерии назначен в состав комитета, организованного под председательством начальника офицерской кавалерийской школы генерал-лейтенанта Авишарова, для предварительной выработки программы предполагаемого при названной школе сравнительного состязания в фехтовании на саблях по французской и итальянской системам, для разрешения некоторых вопросов о фехтовании | 1898 | Января | 22 |
| | Командирован в города Москва и Полтава для осмотра в местных кадетских корпусах внеклассных занятий и работ по чистописанию и рисованию, а в Петровском-Полтавском кадетском корпусе, сверх того, для присутствования на годичных испытаниях и при выступлении кадет в лагерь | 1898 | Мая | 16 |
| | Возвратился из командировки | 1898 | Июня | 11 |

| | | | | |
|--|---|------|---------|----|
| | Заведовал временными летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет с | 1898 | Июня | 20 |
| | по | 1898 | Августа | 20 |
| | Назначен членом комиссии по пересмотру программ учебного курса кадетских корпусов, образованной по приказанию Военного Министра, при Главном Управлении военно-учебных заведений | 1898 | Марта | 21 |
| | За особые ревностные труды по этому важному делу усовершенствования курса кадетских корпусов в приказе по Военному Министерству за № 24 объявлена искренняя благодарность Военного Министра | 1898 | Июля | 12 |
| | По приказанию Военного Министра командирован в Москву для принятия участия в занятиях назначенной в Москве комиссии для разработки проекта изменения в принятом ныне устройстве внутренней жизни и материальной обстановки воспитанников военно-учебных заведений | 1898 | Декабря | 19 |
| | По приказанию Военного Министра назначен членом комиссии по вопросу о подготовке офицеров-воспитателей для кадетских корпусов | 1899 | Мая | 7 |
| | Приказом по военно-учебным заведениям за № 37 назначен заведующим временными летними курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов к руководству различными отраслями физического образования кадет с | 1899 | Июня | 1 |

| | | | | |
|--|--|------|----------|----|
| | по | 1899 | Августа | 20 |
| | По Высочайшему повелению, командирован за границу для ознакомления с общей организацией учебного дела в Англии и с постановкой в этой стране физического воспитания юношества | | | |
| | Отправился | 1899 | Сентября | 25 |
| | Возвратился | 1899 | Декабря | 30 |
| | По приказанию временно исполняющего должность Главного Начальника военно-учебных заведений командирован в Варшавский кадетский корпус по делам службы с | 1900 | Февраля | 14 |
| | по | 1900 | Февраля | 25 |
| | Приказом по военно-учебным заведениям за № 32 назначен для присутствования при производстве испытания по внеклассным занятиям в кадетских корпусах | 1900 | Марта | 22 |
| | Командирован для сопровождения Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича в Москву при осмотре местных военно-учебных заведений с | 1900 | Марта | 24 |
| | по | 1900 | Апреля | 2 |
| | Командирован для сопровождения Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича при осмотре военно-учебных заведений в городах Варшава, Киев, Одесса, Елисаветград, Полтава, Чугуев, Орел, Полтава, Вильно и Псков с | 1900 | Апреля | 29 |
| | по | 1900 | Мая | 21 |

| | | | | |
|--|--|------|----------|----|
| | Приказом по военно-учебным заведениям за № 54 назначен заведующим временными курсами для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов с | 1900 | Июня | 1 |
| | по | 1900 | Августа | 20 |
| | Состоял членом Педагогического Комитета Главного Управления военно-учебных заведений непрерывно в 1889/90—1900/01 учебных годах | | | |
| | На основании ст. 5 Положения о педагогических курсах назначен членом Конференционных курсов | 1900 | Сентября | 7 |
| | Командирован для сопровождения Его Императорского Высочества Главного Начальника военно-учебных заведений при осмотре военно-учебных заведений в городах Псков, Киев, Сумы, Тифлис, Дольск, Омск, Оренбург, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Тверь | 1900 | Сентября | 13 |
| | Возвратился | 1900 | Ноября | 5 |
| | Командирован для сопровождения Его Императорского Высочества Главного Начальника военно-учебных заведений при осмотре Финляндского кадетского корпуса | 1900 | Ноября | 26 |
| | Возвратился из командировки | 1901 | Ноября | 28 |
| | Командирован в города Полоцк, Орел, Полтава, Москва и Нижний Новгород для сопровождения Его Императорского Высочества Главного Начальника военно-учебных заведений при осмотре местных военно-учебных заведений | 1901 | Февраля | 27 |

| | | | | |
|--|--|------|--------|----|
| | Возвратился из командировки | 1901 | Марта | 18 |
| | Приказом по военно-учебным заведениям за № 43 назначен для присутствия при производстве испытаний по внеклассным занятиям в Петербургском военном училище и кадетских корпусах | 1901 | Марта | 15 |
| | Командирован в города Москва, Казань, Симбирск и Воронеж для сопровождения Его Императорского Высочества Главного Начальника военно-учебных заведений при осмотре местных военно-учебных заведений | 1901 | Апреля | 9 |
| | Возвратился из командировки | 1901 | Апреля | 20 |
| | Находился в командировке для сопровождения Его Императорского Высочества Главного Начальника военно-учебных заведений в Пскове с | 1901 | Мая | 7 |
| | по | 1901 | Мая | 9 |
| | Находился в командировке для сопровождения Его Императорского Высочества Главного Начальника военно-учебных заведений в Ярославле с | 1901 | Мая | 22 |
| | по | 1901 | Мая | 26 |
| | Приказом по военно-учебным заведениям за № 60 назначен заведующим временными курсами по физическому образованию для подготовки офицеров-воспитателей кадетских корпусов с | 1901 | Июня | 1 |

| | | | | |
|--|---|------|---------|----|
| | по | 1901 | Августа | 20 |
| | Приказом по Главному Управлению военно-учебных заведений за № 56 назначен членом комиссии по преобразованию Финляндского кадетского корпуса | 1901 | Октября | 14 |
| | Находился в командировке для сопровождения Его Императорского Высочества Главного Начальника военно-учебных заведений при объезде этих заведений в города Москва, Киев и Сумы | 1901 | Декабря | 2 |
| | с | 1901 | Декабря | 19 |
| | по | 1901 | Декабря | 19 |
| | Командирован в Ярославль для сопровождения Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений | 1902 | Январь | 7 |
| | с | 1902 | Январь | 11 |
| | по | 1902 | Январь | 11 |
| | Командирован по приказанию Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений для осмотра внеклассных занятий в Полоцком и Петровском-Полтавском кадетских корпусах | 1902 | Мая | 2 |
| | Отправился | 1902 | Мая | 2 |
| | Возвратился | 1902 | Июня | 14 |
| | Приказом по военно-учебным заведениям за № 34 назначен руководителем временных курсов по физическому образованию при Главном Управлении военно-учебных заведений для подготовки офицеров-воспитателей | 1902 | Июня | 1 |
| | с | 1902 | Июня | 1 |
| | по | 1902 | Августа | 20 |

| | | | | |
|--|--|------|---------|----|
| | Находился в командировке в Полоцке для осмотра по всем частям Полоцкого кадетского корпуса | 1902 | Ноября | 3 |
| | по | 1902 | Ноября | 5 |
| | Командирован для проверки правильности применения указаний Главного Управления военно-учебных заведений относительно назначения и деятельности старших воспитанников в младших ротах кадетских корпусов: в 1 и 2 Петербургских, 1 и 2 Московских, Ярославском, Владимирском-Киевском и Псковском | | | |
| | Отправился | 1903 | Февраль | 10 |
| | Возвратился | 1903 | Февраль | 24 |
| | По приказанию Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений, командирован в Дольск для осмотра по всем частям Дольской военной школы | 1903 | Март | 7 |
| | Возвратился | 1903 | Март | 24 |
| | На отчете об осмотре им Полоцкого кадетского корпуса Августейший Главный Начальник военно-учебных заведений изволил положить следующую резолюцию: "Прочел с большим удовольствием этот подробный, обстоятельный и всесторонний отчет, представляющий труд весьма значительный и не легкий. Прошу А. Д. Бутовского принять Мою самую горячую благодарность за внимание и усердие по обыкновению внесения им в эту прекрасную работу 17 февраля 1903 г." | 1903 | Марта | 15 |

| | | | | |
|--|---|------|--------|----|
| | <i>По приказанию Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений, командирован по делам службы в города Одессу и Киев</i> | 1903 | Апреля | 26 |
| | <i>На отчете об осмотре Дольской военной школы Августейший Главный Начальник военно-учебных заведений положил следующую резолюцию: "Прошу Алексея Дмитриевича принять искреннюю Мою благодарность за удовольствие, доставленное Мне чтением этого отчета, от которого не мог оторваться, принявшись читать"</i> | 1903 | Июля | 18 |
| | <i>Приказом по военно-учебным заведениям за № 104 назначить членом Педагогического комитета на 1903—1904 учебный год</i> | 1903 | Ноября | 7 |
| | <i>Назначен в качестве представителя от Главного Управления военно-учебных заведений на совещание под председательством Министра Народного Просвещения по вопросу об устройстве Русского учебного отдела на Всемирной выставке 1904 г. в Сент-Луи</i> | 1903 | Ноября | 17 |
| | <i>В приказе по военно-учебным заведениям № 2 объявлена сердечная благодарность Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений за распорядительность, проявленную при устройстве Съезда преподавателей русского языка</i> | 1904 | Января | 5 |

| | | | | |
|--|--|------|-----|---|
| | По приказанию Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений командирован в города Орел, Сумы и Полтава по делам службы с | 1904 | Мая | 5 |
|--|--|------|-----|---|

Помощник Главного
Начальника военно-
учебных заведений
генерал-лейтенант

подпись



За Начальника отделения
подполковник

подпись



Итого в этом послужном списке пронумеровано, прошнуровано и проче-
тано двадцать четыре (24) полулиста

За столначальника,
Штабс-капитан



Бардашевич

А. Д. Бутовскій.

ПРЕКРАТИВШІЙСЯ РОДЪ.



ПЕТРОГРАДЪ.

Прекратившийся род

(Из воспоминаний А. Д. Бутовского)



I

Припоминаю себя в далеком моем детстве на берегах Удая, реки небольшой, но водной и рыбной, извилисто текущей по широкой долине с живописными крутыми скатами. Это граница между двумя уездами Полтавской губернии, Лубенским и Лохвицким. На лохвицком берегу [к] реке спускается довольно большое село Поставмуки. Почему оно носило и носит до сих пор такое название, никому не известно. Достоверно только, что оно никогда не было поставом муки и не могло им быть по бездорожью, царившему тут чуть не круглый год. По-малороссийски оно называлось Постамовки, и очень вероятно, что новое наименование было дано ему землемерами Екатерининского времени, имевшими полномочия переделывать неудобные названия местностей.

В то время оба берега Удая больше тяготели к Лубнам, чем к Лохвице. Лубны и тогда уже были одним из населенных и промышленных городов Полтавской губернии, и деревенские обыватели находили в них все, что было нужно для их хозяйственного и домашнего обихода. Лубны были к тому же и ближе, чем Лохвица, всего каких-нибудь верст пятнадцать—двадцать, хотя, правду сказать, близость эта чувствовалась разве только зимой, когда устанавливалось сообщение по льду через реку. Летом тут не было ни брода, ни парома, ни моста, ни плотины. Перезжать реку, поросшую по берегам густыми камышами, можно было только в долбленом челноке, управляемом дедом Архимом, выслав много заранее лошадей на другой берег.

Припоминаю, что в детском моем воображении Поставмуки рисовались мне каким-то поэтическим и таинственным

местом. Удай, с его густыми и пахучими зарослями и поворотами, с его светлыми пространствами чистой воды, покрытыми водяными лилиями и отражающими в себе то яркий блеск южного солнца, то звездное небо чудной украинской ночи, возбуждал в детском воображении представление о водяных, о русалках, в том поэтическом их образе, в каком создало их южнорусское воображение. Обилие растительности, водяных цветов, обилие дичи и рыбы — все это порождало идею о щедрости природы и о том первобытном довольстве, которое одно только и доступно пониманию детей. Надо сказать, что в то время это была еще совершенная глушь, в которой сохранились нравы и обычаи не только старого казацкого быта, но и пережитки древних языческих времен. И до сих пор еще в этих местах малорусское население тверже, чем где-нибудь, хранит свои народные особенности: свой язык, свой костюм, свою песню, свое мировоззрение. Так и до сих пор еще в селе Биевцах, на другом берегу против Поставмук, с особенной обрядностью празднуется десятая пятница. Это приходится на жаркие июньские дни. На ярмарку съезжаются соседние крестьяне к вечеру, к часовне на склоне горы, на большой лесной поляне. С наступлением ночи в часовне служитя всенощная, а полянка освещается бесчисленными восковыми свечами, прилепляемыми к рогам волов. Представьте себе торжественное богослужение, тишину и звездный блеск южной ночи, таинственность леса, характерных малорусских людей, мужчин и женщин, в серьезном молитвенном настроении, и огромное количество выпряженных волов со свечкой на каждом роге, и вы согласитесь, что это такая бытовая картина, которая может дать пищу детскому воображению...

II

В Поставмуках жило семейство фон Райзер. В тридцатых годах прошлого столетия фон Райзеры были уже настоящими старожилками в этом селе. В последние годы царствования императора Павла сюда приехала из Лубен старая сановитая генеральша фон Райзер, ввелась во владение землей и людьми и

ухала опять в Лубны доживать свой век, поручив хозяйственные заботы в имении младшему своему сыну Степану Викентьевичу, женатому уже в то время на Анне Васильевне Горленко, дочери известного барина, гиганта и силача Василия Павловича Горленко.

Спустя несколько лет в Поставмуках поселился на жительство и старший фон Райзер, Вильгельм или Вилим Викентьевич, женатый, сколько помню, на Апухтиной, и оба брата мирно жили каждый своим домом, сохраняя наилучшие родственные отношения.

Я не застал уже в живых стариков фон Райзеров. Они умерли до моего рождения. То, что я знаю о них, я слышал от людей следующего поколения этой фамилии, к которым я близко стоял в моем детстве. Эти сведения, как это обыкновенно бывает в семьях, доходили до меня случайно, отрывочно и были, может быть, не всегда безусловно достоверны, но они твердо сохранились в моей памяти, и я передаю их здесь, как слышал¹.

У Вильгельма Викентьевича было трое детей: сын Николай и две дочери — Екатерина и Анастасия. Николай Вильгельмович учился сначала в Харькове, в частном пансионе Герасима Коваленкова, а потом блистательно окончил юнкерские классы при штабе 2-й армии. Был выпущен офицером в корпус колонновожатых и всю жизнь свою провел на службе, приезжая в родное гнездо только изредка, на короткие отпускные сроки. Сначала он служил в штабах и после долгой штабной службы был назначен командиром пехотного полка. На этой должности он и умер в пятидесятых годах прошлого века. Женат он был на Екатерине Петровне Лодыгиной. Дочь его Екатерина Николаевна, вдова генерала Скаржинского, здравствует и поныне.

Екатерина Вильгельмовна в 1834 г. вышла замуж в Пирятинский уезд за Дмитрия Васильевича Горленко, родного брата ее тетки Анны Васильевны, и скоро умерла.

В том же 1834 году Анастасия Вильгельмовна сочеталась браком с Василием Александровичем Кореневым, кавалерийским офицером, уроженцем Курской губернии, и семейство

¹ Даты и некоторые мелкие подробности я заимствую из «Киевской Старины», 1893, июнь, в которой помещены, вместе с дневником Николая Вильгельмовича фон Райзера, также и отрывочные сведения из семейных бумаг, хранящихся у его дочери.

Кореневых с тремя детьми, Александром, Анной и Николаем, моими сверстниками, основалось в Поставмуках на родительском наследстве. Семейство Степана Викентьевича было многочисленное: три сына и три дочери. Двое из сыновей, Александр и Владимир, умерли рано; третий, Алексей Степанович, был вместе с Николаем Вильгельмовичем в юнкерских классах при штабе второй армии и выпущен подпрапорщиком в один из пехотных полков. В 1828—29 годах он с отличием участвовал в Турецкой кампании и был произведен в офицеры, а года два спустя, после смерти брата своего Александра, по желанию отца, вышел в отставку подпоручиком.

Из трех дочерей средняя, Надежда Степановна, вышла замуж за Дмитрия Петровича Бутовского, в Кременчугский уезд. Это были мои родители. Две сестры моей матери, Анна и Мария, оставались девицами.

В 1833 г. Алексей Степанович женился на Марии Алексеевне Литвиновой, прожил некоторое время по соседству в Сухоносковке, ее имени, а потом переехал на житье в другое жалованное имение фон Райзеров, Пятигорцы, Лубенского уезда. В Поставмуках при отце остались три сестры (моя матушка была тогда еще не замужем), но в 1835 г. Мария Алексеевна умерла, и сестры вместе с отцом переехали к брату. В Поставмуках остались только Кореневы; фон Райзеры наезжали сюда лишь временами, осенью — для сбора фруктов в чудесном саду возле дома, защищенном с севера горами, а иногда зимой, в хорошую погоду, для свидания с соседями.

По выходе замуж моей матушки в 1837 г., Бутовские сохранили самые дружественные отношения к фон Райзерам. Связь с Пятигорцами поддерживалась отчасти еще и тем, что тут жила сестра моего отца, Настасия Петровна, в замужестве за Григорием Ивановичем Ивахненковым. Мы ездили в Пятигорцы по нескольку раз в год, и фон Райзеры тоже часто у нас бывали.

Поездка в Пятигорцы, длившаяся целый день, была истинным праздником для нас, детей. Выезжаешь ранним солнечным утром, под веселое щебетанье жаворонков, где-нибудь по дороге останавливаешься, чтобы присесть на свежей травке, на отлогости малорусской могилки и перекусить на свежем воздухе пирогом или котлеткой; потом трехчасо-

вое кормление лошадей в Ракитах или в Бурбином, дальше переправа через Сулу на пароме в Лукомье и подъем на высокую Лукомскую гору.

Под вечер мы подъезжаем к спуску с горы к Пятигорцам. Пятигорцы оправдывают свое название: они лежат между пятью довольно высокими горами. Солнце ярко освещает косыми лучами всю верхнюю равнину, а внизу Пятигорцы лежат уже со своими садами, белыми хатами и красной крышей дядино дома в голубоватых сумерках, в которых местами виднеется белый дымок затопленных для ужина печей. С нетерпением спускаемся с горы, минуем слева усадьбу Ивахненковых и приближаемся к солидной ограде с белыми каменными столбиками; по чьему-то мановению открываются просторные ворота, и на крыльце нас встречает высокая стройная и всегда изящная фигура дяди Алексея Степановича.

Из Пятигорец ездили иногда в Поставмуки, и это была тоже очень интересная дорога. Тут были леса и горы, которых мы не знали в Кременчугском уезде, потом переезд в челноке через Удай и беседа с дедом Архипом о необычайном звере, появившемся на Удае и высунувшем однажды свою страшную морду как раз вон на том месте, в закутке... И в Поставмуках, и в Пятигорцах фон Райзеры всегда пользовались расположением соседей, охотно принимали их у себя и бывали у них. Но в складе их жизни и их обиходе было что-то, отличавшее их от коренных малорусских помещиков. Дети двух стариков фон Райзеров были православные, всегда говорили по-русски и, пожалуй, даже забыли тот немецкий язык, на котором еще иногда говорили их отцы. Но ни у кого из них не было той патриархальной халатности, которой отличались в то время даже зажиточные местные дворяне. Все у них было всегда истово, чинно и прилично. В обиходе чистота и порядок. Чистые комнаты были обставлены солидной, а иногда и затейливой мебелью, и каждый стул или стол как будто бы говорил: я стою здесь потому именно, что мне здесь и следует стоять.

Мы, дети, набегавшись во дворе, входили в комнаты, как в некоторое заветное место, и никому из нас и в голову не приходило воспользоваться стулом или креслом, как воображаемым экипажем для воображаемой четверки с фореитором.

И в образе жизни дяди и тети было что-то упорядоченное, принципиальное. Все и всегда делалось в свое время, и никогда никого мы не видели ни в суете, ни в беспорядке. С удивлением припоминаю, что все это несколько не стесняло нас, детей, потому что во всем этом не было ничего искусственного и навязанного; все шло так, как будто бы иначе и идти не могло. Тети были бесконечно добры к нам, дядя ровен, сдержан и благорасположен.

Не преувеличу, если скажу, что и в культурном и в моральном отношении они несколько отличались от представителей местной интеллигенции.

III

Николая Вильгельмовича я видел всего раза два—три в моем детстве во время его приезда в отпуск и не имею о нем очень определенного представления. Это был видный, довольно высокий брюнет, кажется, не очень говорливый и не очень подвижный. Тетки мои говорили о нем, впрочем, что он [был] самый ловкий и приятный танцор между всеми местными кавалерами.

Настасью Вильгельмовну я помню сознательно, когда она уже была в зрелом возрасте. Она не была красавицей, но это была очаровательная женщина, умная, ласковая, не без вспышек гнева, но очень рассудительная и отходчивая. Где ей не приходилось бывать, она всегда становилась центром, особенно в дамском обществе. Все мамы старались представить ей своих подрастающих дочек, чтобы выслушать ее одобрение и воспользоваться ее умными советами. У себя в доме она представляла полную хозяйственную власть своему мужу, но высшим решающим авторитетом была всегда она. Детей она вела прекрасно. Много свободы, но вместе с тем и много принципиального воспитания. В детстве мальчики были немного сорванцами, но вышли хорошо воспитанными, дельными и очень светскими людьми. Настасья Вильгельмовна отличалась, вместе с тем, от всех местных дам своим незаурядным образованием. Она говорила на французском и немецком языках, и в разгово-

ре с нами, молодыми людьми, цитировала нам иногда афоризмы из старых французских классиков.

— Откуда Вы все это знаете, тетя? — спрашиваешь ее, бывало.

— Ах, мой друг, я хоть и не была ни в какой школе, но я много училась. Папенька мой был одним из образованнейших людей своего времени. Он много занимался со мной и с сестрой. Он любил, чтобы мы ему читали вслух, на французском и немецком языке, любил говорить с нами по поводу прочитанного и заставлял нас рассказывать на иностранном языке то, что мы читали. Под старость это чтение обратилось у него в потребность, и я провела много часов, читая ему после обеда, а иногда и во время обеда...

Много позднее, рассматривая в Поставмуках старые сундуки, содержащие в себе своего рода деревенский архив, я действительно нашел там интересные старые книги. Были там и сочинения Коцебу на немецком языке, в том числе и известный “Достопамятный год моей жизни”, и *Contes moraux* Мармонтеля с превосходными иллюстрациями Гравело, и сочинения Сведенборга во французском переводе, и все это с оттиснутым гербом фон Райзеров на заглавных листах. Для того времени и для деревенской глуши, особенно же такой глуши, как Поставмуки, это было что-то совсем из ряда выходящее.

Вот, собственно, все, что я знаю о Вильгельме Викентьевиче по рассказам моих родных. Но откуда у него такое образование и такие интересы? Родился он в конце шестидесятых годов XVIII века. В царствование Павла I он был уже офицером и попал в состав войск, отправленных в Голландию для совместного действия с англичанами, под начальством герцога Йоркского, против французов. Весь этот сборный корпус был взят в плен, и Вильгельму Викентьевичу пришлось поневоле прожить некоторое время во Франции.

Пребывание в плену, очень бедственное, продолжалось 14 месяцев. Возможно, что он воспользовался этим временем для пополнения своего образования.

Выйдя в отставку, в первые годы XIX века, он поступил в 1812 г. на службу в Полтавское Земское ополчение в звании губернского есаула и обозного. Он оставался на этой службе

до конца 1815 года и все это время прожил в Царстве Польском, где стояло ополчение. Можно думать, что это был вообще человек очень общительный. Это видно из писем, адресованных к нему его сослуживцами по Полтавскому ополчению 13—14 годов, хранившихся в семейных бумагах Е. Н. Скаржинской, и помещенных в “Киевской Старине” 1893 г., 6. Одно из этих писем (от Томары) писано на малорусском языке, и это показывает, что Вильгельм Викентьевич в то время был уже свой человек в среде украинского дворянства. Есть, кроме того, документальные сведения, что у Вильгельма Викентьевича были крепкие дружественные связи далеко за пределами Малороссии.

В семействе Кореневых, гораздо позднее, уже при его правнуках, нашлось несколько десятков писем, относящихся к 1834 году и писанных дочерям умершего уже тогда Вильгельма Викентьевича графом Санти. Он пишет им сначала из Лубен, потом из Москвы, из своего имения в Тверской губернии. Очевидно, он прожил довольно долгое время в Лубнах, по каким-то делам, и вернее всего, что по делам двух девиц, оставшихся одинокими в отеческом доме.

Тон всех этих писем дружеский, самый родственный, как будто их пишет самый близкий человек, опекун или попечитель, и писаны они прекрасным литературным русским языком, не устаревшим и до нашего времени. В Лубнах он думает обо всех их домашних потребностях, до мелких хозяйственных и туалетных предметов. Из Москвы он высылает им фортепиано с особым комиссионером и дает подробное наставление, куда надо высылать подводу, чтобы принять это фортепиано, и как его надо везти во избежание порчи. Из писем его видно, что девицы относятся к нему с большим доверием, как старому другу. Он знает, что одна из них заинтересована каким-то молодым человеком, и заботливо взвешивает, будет ли это выгодная партия или нет.

Сопоставляя различные обстоятельства, можно прийти к заключению, что дружба с графом Санти была старинной семейной дружбой. В словаре Ефрона есть сведения, что родоначальник этой фамилии был вызван Петром Великим из Пьемонта для строительных работ. Родоначальник фон Райзеров был тоже вызван Петром Великим для горных работ. Воз-

можно, что дружеские отношения между двумя иностранными фамилиями образовались еще в то далекое время.



Считаю своею обязанностью помянуть здесь добрым словом Василия Александровича Коренева, мужа Настасьи Вильгельмовны.

Отставной кавалерийский офицер, он и в штатском платье сохранил военную выправку на всю свою жизнь. Всегда бравый, всегда подтянутый, он был ровного, покладистого характера и очень умел поддерживать декорум семейной жизни. Все он делал истово, чинно и очень хотел, чтобы и дети его приучались к этой внешней корректности. Вместе с тем, он умел развивать в них бойкость, сообразительность. Отцы наши соперничали в этом отношении, и помню, что мне часто приходилось уступать сверстнику моему Коле, хотя знаний у меня было гораздо больше.

Василий Александрович был всегда осторожен и осмотрителен, но под старость он впал в этом отношении в некоторое преувеличение. Помню, например, что он стал бояться лошадей, перестал ездить в закрытом экипаже и не любил переезжать по льду через Удай. Бывало, собирается в гости, и Анюта спрашивает его: “Папенька, Вы едете с нами в карете?” — “Ни за пять печеных раков, моя милая”, — отвечает он своей любимице. — “Так не возьмете ли Вы к себе в сани кого-нибудь из кавалеров?” — “Ни за что на свете. Эти сорванцы вывалят еще меня из саней или пустят ко дну и меня, и сани, и лошадей”. И вот, дамы и молодые люди едут а карете, а Василий Александрович сзади, в открытых санях на тройке. Подъехав к Удаю, он вылезает из саней, в тяжелой шубе и меховых сапогах, и его ведут под руки два дюжих парня: Александр, лакей при карете, и Роман, состоящий при санях.

В Городище, к Паульсону, ездили обыкновенно зимой по льду, вдоль Удая; но Василий Александрович на своей тройке ехал непременно берегом, по косогорам, через Шеметову слободку и бывал чрезвычайно рад, когда ему удавалось приехать раньше кареты. — “Да, да, — говаривал он, — вот она, хваленая, гладкая дорога ... По нашей, неровной, выходит и скорее

и надежнее...” Иногда кто-нибудь из молодых людей заметит: “И чего бы, кажется, папеньке так бояться льда, ведь лед теперь свыше четверти толщиной”. “Та, та, та, — отвечает Василий Александрович с какою-то деланной пытливостью, — да ты, мой милый, не подрядился ли поставлять лед на Удай этою зимой?” При таком обороте разговора неудобно было его продолжать, того и гляди, надолго получишь у папеньки звание подрядчика: “А ну-ка, подрядчик, что ты скажешь...” или “Сделай мне такое одолжение, подрядчик...”



Когда оба его сына и я были уже офицерами, я иногда по неделям проживал в Поставмуках, и Василий Александрович всегда был очень добр ко мне.

“Я очень рад, что ты так дружен с Колей, — говаривал он. — Это пойдет на пользу вам обоим...” Да, эта дружба пошла мне действительно на пользу и оставила во мне самые теплые воспоминания.

С Николаем Васильевичем Корневым я вместе учился в кадетском корпусе, и, по выходе в офицеры, мы служили репетиторами военных наук при нашем родном Полтавском корпусе с 1858 по 1861 г.

Это были чудные годы, не [только] потому, что мы были молоды, но и потому, что в эти годы все русские люди как бы просыпались от долгого сна и переживали свою молодость. Мы были увлечены новыми течениями в литературе, читали с захватом “Обломова”, “Дворянское гнездо”, “Накануне” и чувствовали, что перед нами открываются новые, неведомые еще нам горизонты, что перед нами стоит задача расширения нашего мировоззрения, слишком суженного в только что закончившийся период нашего воспитания.

В это время работали губернские комитеты по крестьянским делам. В Полтаве жили мой отец и дядя, Алексей Степанович, состоящие членами Полтавского Комитета. Мы были как бы дома и были приняты во всех полтавских домах. По случаю съезда в городе царило большое оживление. Припоминаю, были в дворянском клубе, у тогдашнего полтавского губернатора Александра Павловича Волкова, у Михаила Андреевича

Белухи-Кохановского; припоминаю радушные дома Родиона Николаевича Милорадовича, Петра Федоровича Петровского, Федора Федоровича Киселева, у которого ежедневно был открытый обеденный стол для всех его знакомых; припоминаю любительские концерты, любительские спектакли. На концертах в дворянском собрании выступала иногда целая плеяда прелестных девиц, дочерей съехавшихся дворян, по большей части воспитанниц института; они исполняли на шести роялях какую-нибудь увертюру или симфонию под управлением старшего Едлички. Особенно же памятны мне спектакли, на которых любители обнаруживали иногда из ряда выходящие таланты. Удивительно хорошо шла “Наташка Полтавка”. Выборного играл неподражаемо актер-любитель Дмитрий Михайлович Старицкий, возного — Тимофеев, Терпелиху — Любовь Васильевна Ярошенко, Наташку — Ольга Алексеевна Попова. Художественное исполнение “Наташки Полтавки” я видел позднее в труппе Кропивницкого, но то прежнее исполнение производило на меня большее впечатление: в нем было меньше профессиональной твердости, меньше реализма, но больше того милого лиризма, который составляет чарующую черту этой пьесы. Все это давало нам в то время известный подъем. Было бы долго говорить здесь обо всем том, что захватывало нас и наполняло нашу жизнь.

Припоминаю, что мы страстно любили природу и просиживали иногда часами на раскате, любуясь далекими видами за Ворсклой; случалось, в городском саду мы усаживались у обрыва над Кобищанами, чтобы прислушиваться к замирающим звукам деревни: постепенно умолкает блеяние стад, людской говор, и все реже и реже слышится собачий лай... Замолкли последние звуки, тихо, темно, а мы, иногда, все еще сидим и мечтаем...

Бывало также, что в холодную зимнюю ночь мы предпринимали бесцельную поездку... Хотелось проверить впечатление Пушкинских “Бесов”... Однажды, в такую поездку из Лубен в Поставмуки, нас понесли лошади, опрокинули сани и разбили фарфоровый сервиз, который Коля, по поручению родителей, выбрал в Полтаве в приданое для Анюты.

Мы были баловнями еще и потому, что нас очень тепло приняли наши сослуживцы, учителя Полтавского корпуса. Года

четыре назад они нас учили, теперь они относились к нам с каким-то трогательным расположением.

Думаю, что мне еще придется возвратиться к этому времени в других отделах моих воспоминаний. Теперь мне хотелось вызвать еще раз те образы, те чувства и те мысли, которые волновали нас обоих в то время. Теперь образ этого милого много обещавшего юноши застилается для меня туманом многих, многих лет.

Он умер безвременно в трагической обстановке. Родители его приняли все меры, чтобы ослабить в нем страстную привязанность к женщине, состоявшей в родстве с семейством, правда, обворожительной, но уже далеко не первой молодости. Видя, что она уезжает, не прощаясь с ним, он без шапки, в одном мундире выбегает на балкон, садится к ней в экипаж и провожает через реку, пешком возвращается домой. Мороз был трескучий. Через день он слег в постель, а через три недели его уже не было... Ему тогда едва ли еще было полных 23 года. Какая злая ирония судьбы! Он был всеобщий любимец, у него были все задатки людей, которых не забывают; а между тем теперь уже никто даже из самых близких ему по крови людей не помнит, что он был на свете.



Спустя немного времени моя связь с семейством Кореневых еще более укрепилась. Моя сестра, Ольга Димитриевна, к которой я в молодости питал самые нежные дружеские чувства, вышла замуж за Александра Васильевича Коренева; внук Вильгельма Викентьевича фон Райзера женился на внучке Степана Викентьевича. Это было в 1865 году.

Старики умерли. Настасия Вильгельмовна раньше, в 60-х годах, Василий Александрович — в конце 70-х. В Поставмуках основались молодые хозяева, и на наших глазах поднялись и возмужали их дети, внуки Настасии Вильгельмовны и Василия Александровича.

Мне кажется, что в этой близкой мне и дорогой по воспоминаниям семейной картине будет пустой уголок, если я не скажу о старинном друге этой семьи — Настасии Алексеевне Литвиновой. Она была родная сестра жены моего дяди, Алек-

сея Степановича, Марии Алексеевны, и по смерти последней стала безраздельной владельницей довольно большого имения в Сухоносовке, верстах в трех или четырех от Поставмук. Она была дружна со стариками Кореневыми, а когда сестра моя вышла замуж, то очень привязалась к ней и стала посещать Поставмуки еще чаще, чем прежде.

По наружности это была королева. Высокая, прямая, стройная до старости, с седыми волосами, но с цветущим лицом. По склонностям своим и по манерам она тоже до конца своей жизни оставалась институткой. Говорила с приятной улыбкой без больших интонаций и жестов и временами впадала в юношеский экстаз.

Следила за всем современным, выписывала журналы, читала книги, но сердце ее лежало больше всего к французским классикам великого века (“Ah, Esther; ah, le Misanthrope”), а еще больше к книжкам *Bibliothèque de la jeunesse chrétienne*, которые она читала в институте. Она выписывала и модные журналы, но всю свою жизнь вместо шляпы носила крахмальный институтский капор.

Любила говорить по-французски, помню, когда я еще был совсем молодым, она сделала мне экзамен во французском языке: открыла крышку своих часов и дала прочесть надпись на внутренней крышке. Не помню уже, что я читал, но когда я произнес: “*échappement à Sylindre*”, она вдруг с восторгом сказала: “Ах, какое у него хорошее произношение”. И мне рассказывали, что потом, когда при ней обо мне упоминали, она непременно говорила: “Ах, какое у него хорошее французское произношение еще в детстве, и я его еще с тех пор за это любила”.

Она любила молодое поколение, снисходительно относилась к нам, когда мы при ней дурачились, нарушали у нее в Сухоносовке строгий порядок жизни, и мечтательно замечала, что “теперешнее” поколение не похоже на прежнее: то было такое чинное, и не знает она, что лучше: “во всяком случае этим веселее живется”.

Она любила общество и при всей своей чопорности пользовалась расположением и уважением всех ее знавших. В доме у нее все шло как по заведенному порядку, но, кажется, она была скуповата. Насмешливая молодежь заметила как-то,

что у себя за обедом она угощает, не упрасивая, — спросит: “Вы этого не хотите?” — и поставит в сторону. Но это, кажется, была выдумка. Мне приходилось бывать в Сухоносове целыми днями, и я не замечал у Настасии Алексеевны этой слабости. В ее гостеприимстве не было широкого размаха, да это и не шло бы к ее положению одинокой хозяйки, но в домашнем ее обиходе не было никакой скаредности. Все было очень чинно, прилично, и хозяйка всегда была приветлива и гостеприимна.

Последний раз я виделся с Настасией Алексеевной в 80-х годах. Я был уже женат. Она знала мою жену еще до замужества и была рада ее встретить. Мы много вспоминали, и было, что вспомнить: я так давно знал эту симпатичную старушку. Поговорили по-французски, затронули несколько текущих вопросов и в жизни, и в литературе. Она все также всем интересовалась и за всем следила... Прощаясь, она не упустила припомнить, что у меня еще в детстве был отличный французский выговор и что она еще с тех пор меня полюбила...

IV

Степан Викентьевич фон Райзер был человеком несколько иного склада, чем старший его брат; о нем всегда вспоминали как об очень красивом видном человеке. По характеру он был, кажется, мало деятелен и не практичен. Но это был эстетик в душе. Смолоду он прекрасно рисовал и был способен ко всякой ручной работе. У дочерей его долго сохранялись, как воспоминание, сделанные им игрушки.

У нас в семье было несколько акварелей, рисованных им еще в Петербурге и порядочно выцветших потом на малороссийском солнце. Дом его был всегда приютом для разных способных людей: то весельчаков, то непризнанных поэтов, то просто приживальщиков. Но в этой компании попадались и очень талантливые люди. Проживал у него одно время живописец-акварелист, должно быть, еще из петербургских знакомых. После него остались две—три мастерские вещицы, которые успели сберечь мои тетки.

Одним из его близких знакомых был Степан Иванович Афанасьев, когда-то довольно богатый, но потом обедневший помещик Лубенского уезда. Сын его, Александр Степанович, студент Нежинского лицея, потом кавалерийский офицер, известный в нашей литературе под псевдонимом Афанасьева-Чужбинского, был в очень хороших отношениях с моим дядей, а его сестры, Авдотья и Анна Степановны, были ближайшими подругами трех девиц фон Райзер.

Под старость Степан Викентьевич впал в ипохондрию и совсем опустил руки. Пока сын его был на службе, управление домом перешло в руки старшей из сестер, Анны Степановны, которая с материнской попечительностью относилась к младшим своим сестрам.

Боюсь, что не сумею объективно говорить о самых близких мне людях, детях Степана Викентьевича. Но у меня есть интересные заметки более беспристрастного наблюдателя, Николая Вильгельмовича, вносящего в свой дневник все впечатления во время своего отпуска в 1834—35 годах¹. Заимствую из этого дневника, кроме описания семейства Степана Викентьевича, также и сведения о Екатерине Вильгельмовне, о которой я только и знаю то, что записано Николаем Вильгельмовичем.

Он ехал в отпуск для раздела имущества с вышедшими замуж сестрами. По дороге из Могилева в Поставмуки он остановился в начале декабря 1834 г. близ Пирятина, Полтавской губернии, в Давыдовке — имении Дмитрия Васильевича Горленко, в этом только году женившегося на его сестре, Екатерине Вильгельмовне. Горленко женился уже вдовцом, имея восемь человек детей, и Николай Вильгельмович удивляется, как это его сестра могла согласиться на такой брак. Горленко ему вообще не нравится. Он не видит в нем порядочности. Он шесть лет уже не был в Малороссии и старательно записывает свои впечатления. “Какой огромный и толстый у меня зять”, — замечает он между прочим.

“Странно, — пишет он через несколько дней, — что Катенька не любит ни дядю (Степана Викентьевича), ни даже кого-либо из них, Дмитрий Васильевич тоже и очень дурно

¹ Часть этого дневника, взятая из бумаг Е. Н. Скаржинской, напечатана в “Киевской Старине” 1893 г.

относились об Анюте и Алексее. Но, несмотря на то, я желаю их видеть, и мне кажется, что я все еще не дома; да, признаюсь, мне что-то не нравится житье зятя”. Вообще Николай Вильгельмович был, по-видимому, больше привязан к другой своей сестре, вышедшей замуж в том же году, за Василия Александровича Коренева.

“К полноте моего удовольствия, — пишет он, — не доставало чего-то — это доброй моей Настеньки. Все заставляло меня желать ехать в Поставмуки”.

Мимоходом он симпатично отзывается о Василии Павловиче Горленко, отце Дмитрия Васильевича и моей бабки, Анны Васильевны. Любезный старик Василий Павлович провел у нас почти целый день. На другой день он записывает: “Сегодня пришла Наталия Василиевна (другая дочь Василия Павловича, сестра моей бабки) — что за смешная, одним словом, сорокалетняя девушка, толстая, высокая, безобразная, с большими претензиями на невинность. Перед вечером я с ней пошел к Павлу Васильевичу. Совершенный хохол. Жена его уморительно говорит по-русски, но они живут лучше моего зятя”.

Наконец, после долгих, ненужных задержек в Давыдовке Николай Вильгельмович приезжает в Поставмуки и на другой день, 13-го декабря, записывает: “В одиннадцать утра поехали в дяде (Степану Викентьевичу). Там еще не знали, что я в Поставмуках. Как были рады, довольны все. Часа через два приехали (из Сухоносовки) Алексей и Мари (Мария Алексеевна, его жена). Я девять лет его не видел: молодец, хорош собой, Мари — мила. Они все так рады, увидевши меня! За что же я их не буду любить? Да, при том я не верю тому, что о них мне рассказывали. Надя и Маша невесты, милые девушки, особенно Надя. Анюта же почти не постарела; дяденька крепко опустился и похудел. На завтра Алексей пригласил к себе (в Сухоносовку)”. После этого Николай Вильгельмович проводит почти все свое время в семействе Степана Викентьевича и делает такие отметки в своем дневнике: “14 декабря. Катенька и Дмитрий Васильевич сначала не хотели ехать (в Сухоносовку), но я их уговорил. Алексей живет изрядно: в доме порядок, и он смотрит настоящим помещиком; я его люблю душевно братски”.

15-го числа: “Обедали у дяди. Алексей и Мари тоже были, Павинька (Павел Александрович Остен-Сакен по дальнему родству постоянный приживальщик у Степана Викентьевича) преуморительный. Надя изрядно бы пела, если бы прибавляла больше смелости; у Мари голос сделался слабее; Маша препорядочно играет”.

16-го: “День провели тоже у дяди. Досадно видеть, что Катенька и Дмитрий Васильевич стараются удаляться и как бы чуждаются родных. На завтра мы пригласили к себе на обед”.

17-го: “Сестрам понравилась моя комната. Играли на Настенькиных фортепианах, которых тон очень хорош; как я чувствую недостаток, что нет моей милой сестры! Катенька как-то холодна со мной и заметно принуждение, но Настенька, я уверен, что иначе была бы”.

К этому месту в дневнике для его вразумительности надо добавить, что Настасия Вильгельмовна, тоже только что вышедшая замуж в этом году, жила с мужем в месте стоянки его полка, где-то на юге, в ожидании его отставки. Фортепиано, с хорошим тоном, было то самое, которое в начале года, с такой доброй готовностью, купил в Москве и прислал граф Санти. Я помню еще это фортепиано; оно было переименовано на рояль только в 1859 г., для моей милой кузины Анны Васильевны Кореневой (в замужестве Дзевчопольской).

25-го декабря: “Рождество. Пошел к обедне и застал там Надю, Машу и Дуню (Афанасьеву). При выходе из церкви все крестьянки стояли на улице, и между ними некоторые были довольно нарядные; я не замедлил им раскланяться. Потом поехали к дяде. К обеду приехал брат и Мари. Весь день провели чрезвычайно приятно, как обыкновенно в кругу добрых и милых родных. Вечером под окном раздалось пение — колядовали в честь мою и других. Играли в вист и был маленький маскарад. В Лубнах устроилось собрание; Алексей член его и к Новому году собирается туда. Если бы Настенька, то я бы ничего не желал...”.

26-го: “Поутру Алексей и Мари рано выехали домой, куда к обеду и я с сестрами приехал... Я уверен, что брат здесь лучше многих живет, и у него обед был хоть куда. Он рассказывал мне кой-что о Катеньке, которое дурно рекомендовало ее характер,

и жизнь Настеньки была очень незавидна. Вечером все поехали в Поставмуки...”.

Под 31-м декабря, пространно излагая свои впечатления на общественном балу в Лубнах, Николай Вильгельмович пишет: “Жаль, что Надя, а особливо Маша, так застенчивы, они были бы из лучших”.

Этим оканчиваются сведения о моих родных в дневнике Николая Вильгельмовича. Это довольно яркая характеристика семьи, какой она была в 1834—35 годах. На этом симпатичном фоне я могу наметить много подробностей, по рассказам или по личным воспоминаниям.

Степан Викентьевич не прилагал больших забот об умственном образовании своих детей. Но все дети были богато наделены духовными дарами от природы.

Сколько я себя помню, книга, именно книга интересная и поучительная, всегда занимала в их обиходе большое место.

У меня до сих пор хранятся, в деревне, как наследие того времени, периодические издания за длинную серию годов: “Библиотека для чтения”, “Сын Отечества”, “Отечественные Записки” и проч. Оттуда же, из Пятигорец, получали мы такие издания, как “Сто русских литераторов”, изящно иллюстрированные альманахи и т. п. Все это с интересом читалось всеми членами семьи.

До какой степени в этой семье были развиты литературные интересы, лучшим тому свидетельством могут служить изящные томики с прекрасно переписанными рукой моей матери (тогда еще молодой девочки) главами из Евгения Онегина. Постоянными участницами этих девичьих литературных интересов были сестры Афанасьевы, особенно одна из них, Дуня. Немало способствовал подъему литературного настроения и молодой нежинский студент Александр Степанович Афанасьев — ровесник младших девиц. Он уже в первые годы студенчества пробовал свои силы и посвящал иногда свои произведения девицам фон Райзер. Помещаю здесь одно из самых ранних его стихотворений, сохранившееся в наших семейных бумагах. Оно не лишено интереса, как первый проблеск таланта, а для меня оно дорого, как воспоминание о давно отошедшем, но близком мне человеке.

К луне

Катись, луна! Катись, луна!
В прогулке одинокой,
Как ты, душа моя, темна
В тоске своей глубокой.
Я одинокий здесь, как ты,
Без друга, сиротою;
Но есть в груди моей мечты,
Их выразить не смею.
Они в груди моей должны,
С снедающею страстью,
Быть в тишине погребены.
Увы! Не знать мне счастья!
Катись, луна, катись, луна,
В прогулке одинокой.
Здесь жизнь моя изныть должна
В несчастьи глубоком.
Как ты на небе без друзей,
Так я в печальном мире
Роняю слезы из очей.
На тихострунной лире
Играю я, но песнь мою
Никто здесь не внимает.
Увы, а та, о ком пою,
Совсем любви не знает.
Моя любовь чужда для ней;
Она уж полюбила.
Любовь моя веселых дней
Ее не возмутила.
Пускай блаженствует она,
А я в тоске глубокой
Умру один. Катись, луна,
В прогулке одинокой.

Афанасьев.

1831 г.
Октябрь, 10, вечер.
Нежин.

Дядя Алексей Степанович тоже не был чужд этих литературных интересов; но они были для него делом второстепенным.

Алексея Степановича я помню с тех пор, как помню самого себя, и всегда мне представляется фигура изящной внешности; всегда гладко выбритый, гладко подстриженный, щеголевато одетый, даже когда вы видите его в поле или в дороге, носящий с собой тонкий аромат каких-то духов или мыла; он не имел, однако, и тени фатовства, это было в его натуре и было очень просто. Отец мой говаривал, что за всю жизнь свою он не видел другого человека, умеющего так просто быть всегда приличным и даже щеголеватым.

Такая подтянутость не была в нравах тогдашнего мало-российского дворянства, даже очень богатого, и потому, когда Алексею Степановичу приходилось бывать в обществе, то он был всегда фигурой заметной и приятной, и так как у него был ровный, спокойный характер, то все, даже мало его знавшие, относились к нему дружелюбно. Случалось, что какой-нибудь толстый добродушный сосед встретит его в обществе, посмотрит, посмотрит на него, ласково улыбнется во все лицо, подойдет, не говоря ни слова, обнимет и поцелует в шею.

Жена его Мария Алексеевна, урожденная Литвинова, умерла в 1835 г., не оставив ему детей, и он остался вдовцом на все свою жизнь.

По смерти жены и отца он весь отдался устройству имения и скоро привел свое хозяйство в блистательное состояние. В сороковых годах он был одним из видных помещиков Лубенского уезда, а в начале пятидесятых был избран уездным предводителем дворянства и пробыл на этой должности несколько трехлетий. Он богато отделал Пятигорский дом, начатый еще около 1830 г. его старшим братом Александром Степановичем, посватавшимся в то время к лубенской красавице Лизе Полторацкой. Но Александр Степанович умер в холерную эпидемию, и дом несколько лет оставался неконченным. Замечу мимоходом, что у меня хранится медальон этого рано умершего молодого человека. Как и все дети Степана Викентьевича, он был очень хорош собой.

Этот пятигорский дом был деревянный, рубленый и штукатуреный с переднего фасада. За домом шел большой сад или, вернее, парк, так как фруктовых деревьев там было мало, а за садом, почти без перерыва, тянулась густая роща грабовых деревьев. Место было низкое, но имевшее свои прелести и свою поэзию во все времена года. Весной и летом тут была масса цветов, за которыми с любовью ухаживали мои тетки. Аромат левкоя, нарциссов, лилий и роз волною вносился в раскрытые двери залы. Множество ландышей и ранней весной неисчерпаемое количество подснежников и фиалок. Осенью, в длинные темные вечера, эта близость рощи, примыкавшей прямо к саду, заключала в себе для нас, детей, что-то жуткое, таинственное. Ребенком меня оставляли иногда в Пятигорцах одного с моей гувернанткой. Думали, что там я буду прилежнее учиться, не развлекаемый братьями и сестрами. К тому же и моя гувернантка, Юлия Осиповна Санковская, очень скучала у нас в Пелеховщине без общества. И вот, вспоминаются мне осенние вечера. Тети, а иногда и дядя, деловито раскладывают совместно большой семейный пасьянс. В доме глубокая тишина. В окна и в дверь на балкон ни зги не видно. К тому же я знаю, что стоит только повернуть ручку незапертой двери, и я в загадочном, темном, беспредельном пространстве; эта темнота как будто чувствуется и в зале, освещенной только несколькими свечами. И вдруг в этой безмолвной тиши, там где-то далеко, за дверью, в роще, раздается какой-то зловещий крик, не то плач, не то завывание. Помню, что в первый раз меня мороз подрал по коже. Но меня успокоили: это филин; он иногда кричит темными осенними вечерами. Это приводило к тому, что в такие вечера мы, дети, вообще не очень трусливые, не любили проходить через пятигорские неосвещенные комнаты. Впечатление усиливалось еще тем, что вся обстановка, как я говорил уже и раньше, имела здесь какой-то торжественный неприкосновенный вид; особенно тяжелая и, правду сказать, громоздкая и неудобная мебель красного дерева в гостиной.

В Грабине, как мы называли рощу, на поэтической площадке под горой, была погребена жена Алексея Степановича. К этой одинокой могиле, в течение десятков лет, присоединилось еще четыре. Первая из них была моего отца, умершего скоро-

постижно в Пятигорцах в 1865 г. Затем постепенно, в течение последующих двадцати лет, здесь легли и коренные жители Пятигорца.



Мне хотелось бы еще отметить здесь, что все члены этого семейства были одарены большим эстетическим чувством. Дядя, Алексей Степанович, был настоящим виртуозом на скрипке. Замечательно, что никогда не играл он по нотам; никогда не играл он также ничего законченного, но скрипка была в его руках удивительно послушным и изящным инструментом. Играл он редко, как бы не желая никому навязывать своей музыки, но когда играл, играл мастерски, какая бы ни была у него в руках скрипка. В длинные осенние или зимние сумерки вся семья собиралась в его так называемую угловую комнату. Он сидит на качалке, мы помещаемся кругом на диванах и креслах; идут разговоры, толки, воспоминания, и вот иногда невзначай берет Алексей Степанович домодельную скрипочку, оставленную на столе его сорванцом, воспитанником Ванею, подстраивает ее, заметив, что глухой Ваня никогда не настроит порядочно инструмента, и тонко выводит смычком какую-нибудь музыкальную фразу. Сестры просят его сыграть что-нибудь, и он начинает. Иногда это что-то старинное и бойкое и вместе грустное... “Вы это помните? — спрашивает он. Тетки догадываются, но безуспешно. — Да ведь это же тот экоссез, который ты, Анюта, танцевала с Ширманом, а я с моей покойной Мари”... Иногда вдруг из-под его смычка раздадутся блестящие бойкие звуки; тетки припоминают, что это “Колокольчики” Паганини, слышанные ими когда-то на Ильинской ярмарке в Ромнах в исполнении большого артиста.

Впрочем, дядя как-то умел приспособиться ко всякому инструменту, какой ни попадался ему в руки. Я помню его звучные фанфары на охотничьем роге. Матушка моя рассказывала мне, что раз он дал им неожиданно восхитительную серенаду на Удае. Они катались на лодке, ожидая его возвращения с охоты, и вот, где-то за поворотом слышится флейта. Светлым вечером на реке эффект был поразителен. В воздухе лились звуки какого-то любимого в то время романса. Поворачивают и ви-

дят, что это играет дядя, возвращаясь тоже на лодке с одним из своих приятелей. Сестры видывали у него флейту по возвращении его со службы, но никогда раньше не слышали его игры.

Эта способность Алексея Степановича ко всякому делу, его рассудительность и невозмутимость повели к тому, что в народе стали приписывать ему какие-то высшие знания. “Він щось зна, сей пан”, — говорили о нем окрестные люди.

Марья Степановна, несмотря на скудные уроки на фортепиано у военного капельмейстера, была настоящей художницей на этом инструменте. Она очень хорошо играла транскрипции и рапсодии Листа, ноктюрны Фильда и многие вещи тогдашней музыкальной литературы.

Рассказывали мне, что другой брат, Владимир Степанович, умерший почти в детском возрасте, был талантливым рисовальщиком.

Покойная моя матушка имела удивительный слух и в молодости хорошо пела. Припоминаю, что старшая из сестер, тетя Анна Степановна, очень старалась развить в нас, своих племянниках, духовную самостоятельность. Заметь в ком-нибудь из нас способность к рисованию или к музыке, она удивительно умела поощрить нас к этим занятиям.

Она всегда горячо интересовалась нашими успехами в учении и старалась, чтобы и в этом отношении мы не ограничивались только нашими учебными работами.

— Ты так правильно пишешь, и по письмам твоим я замечаю, что ты недурно излагаешь. Почему бы тебе не попробовать написать что-нибудь свое, изложить свои мысли, свои наблюдения... Вот ты поедешь с папой в Полтаву, возьми с собой тетрадку и записывай все, что увидишь и что с вами случится. Потом пусть папа непременно привезет эту тетрадку нам. Ведь это будет и для тебя поучительно и для нас очень, очень интересно. Посмотри, Афанасьев, он теперь печатает и его читают, а ведь начал он тоже как ученик...” И это говорила мальчику лет 9—10.

Родители наши тоже очень заботились о нашем образовании. Отец мой кончил Харьковский университет и был человек с большими сведениями, но думаю, что и милая тетя Анна Степановна внесла свой большой вклад в наше умственное и нравственное развитие.



Откуда же ведет свое начало это семейство фон Райзер, членов которого я пытался изобразить, насколько их помню и насколько удерживаю в памяти слышанные о них рассказы?

Мне говорили, что у представителя старшей линии фон Райзеров, Николая Вильгельмовича, хранились документы, устанавливающие родословную этой фамилии с очень древних времен и заключающие в себе материалы для биографии тех из ее членов, которые переселились в Россию. Я не видел этих документов. Вероятно, они поступили в наследство дочери Николая Вильгельмовича, Е. Н. Скаржинской, и именно из них были взяты те довольно многочисленные фактические сведения о членах этой фамилии, которые были приложены к дневнику Николая Вильгельмовича, помещенному в “Киевской старине” 1893 г., б.

Жалею очень, что не могу воспользоваться в настоящее время этими документами, и надеюсь, что когда-нибудь Екатерина Николаевна сама озаботится о предании их гласности.

Фон Райзеры не играли большой роли в событиях XVIII в., но иногда они стояли очень близко к этим событиям, и это, конечно, стоит того, чтобы сохранить о них память в их потомстве.

В настоящих набросках я могу воспользоваться только сведениями, почерпнутыми мной из разнородных исторических материалов. Кроме того, я твердо помню рассказы о моих предках, слышанные мной в старину от моих отошедших уже родных.

Сведения о первом фон Райзере, прибывшем в Россию, вообще очень краткие, встречаются в некоторых исторических сочинениях: Штелин, сказание о Петре III, 1778, 455; Бантыш-Каменский, словарь достопамятных людей, IV 276; его же: Список кавалеров четырех российских орденов. М., 1814; Hebbig, Biographie Peter des Dritten 1808 и др.

Сведения эти были собраны в приложении к “Русской Старине”, посвященном иностранцам, прибывшим в Россию при Петре. Вот что говорится там о фон Райзере:

“Винцент Райзер, родом из шведской Померании, обучался в Грейфсвальде. Он занимал очень мелкие должности по горному ведомству в Швеции. Во время разгоревшейся войны между Швецией и Россией, его рекомендовали Петру I, для вновь учрежденной берг-коллегии. Как этот государь, так и его преемники с большой выгодой пользовались услугами Райзера. Он умер уже в глубокой старости в 1775 г., будучи вице-президентом берг-коллегии.

Райзер оставил сына, который был флигель-адъютантом императора Петра III и остался ему предан в день 28 июня 1762 г.”.

К этим сведениям прибавлю, что Райзер, прибывший в Россию при Петре, был дворянского “рыцарского” рода и имел фамильный герб — “два восходящие льва”, оставленный его потомкам при утверждении их в звании русских дворян. На русской службе прослужил он более 50 лет и умер в чине действительного статского советника.

Кроме сына у первого Райзера были и дочери. Это последнее сведение я заимствую из “Киевской Старины” 1893 г., где сказано, что в 1780 г. они подавали кому-то какое-то прошение. Что случилось с ними впоследствии, не знаю.

Сведения о сыне первого фон Райзера, флигель-адъютанте Петра III, а потом генерал-поручике, мы имеем в истории Екатерины II, В. А. Бильбасова, т. II. Он называет его то Рейзен, то Рейзер, то Райзер, смотря по тому, как писалась эта фамилия в то время в официальных бумагах, но подробно излагает участие Викентия Викентьевича в июньском перевороте 1762 года, руководствуясь секретными делами сенатского архива.

Беру у Бильбасова все относящееся к флигель-адъютанту фон Райзеру.

В пятницу 28 июня 1762 г. Петр III едет из Ораниенбаума в гости к императрице в Петергоф и везет с собой избранное придворное общество. Весело болтая, никем не беспокоимые путники приехали в Петергоф на исходе 2-го часа, но Екатерины там не застали. В три часа дня стали ходить слухи, что в Петербурге совершается переворот, и Петр III начинает рассылать своих адъютантов и ординарцев на разведки. Флигель-адъютант Райзер был послан в Горелый Кабачок. Он

должен был отвезти туда семь гольштинских рекрут и оставить их там на заставе, приказав им никого не пропускать ни в Петербург, ни из Петербурга. Райзер был схвачен, привезен в Петербург. В полночь Сенат допрашивал его как подозреваемого “в разведовании о том, что происходит в Петербурге”. На допросе Райзер показал: “Сего числа пополудни в три часа послан он из Петергофа в Горелый Кабачок с вербованными в Гольштинскую армию рекрутами, семь человек; с таким приказом, чтоб их туда отведя оставить там на заставе с тем, чтобы во-первых, разведать, не проезжал ли какой курьер, а потом там рекрутам приказать, чтоб через то место никого как в Петербург, так и с Петербурга не пропускать, если б кто приехал; но токмо он не доехал до того кабачка, например, за версту, увидел марширующий воронежский полк, то спросил, куда он марширует, напротив сего и его Райзера спросили, от кого он едет и куда, и он Райзер сказал, что послан из Петергофа, от государя, и коль скоро он сие выговорил, то его офицеры того полку схватя арестовали и как его, так и показанных рекрут привезли под караулом в Петербург”.

“В бытность же его в Петергофе о том, что ее императорское величество соизволила принять родительский престол, как он, так и другие тамо живущие люди ведали, а через кого та эха произошла, он не знает. Комисиев же никаких против ее императорского величества и ее подданных поручено ни от кого не было, о чем он объявляет самую правду, подвергая себя за неистинное показание смертной казни”.

Относительно обстоятельств ареста флигель-адъютанта Райзера Бильбасов, пользуясь донесениями французского посольства, делает такое добавление:

Полковник Воронежского полка Олсуфьев совершенно случайно прибыл в Петербург 28 июня и тотчас же присягнул императрице. Ему предложили ехать немедленно в полк, который шел по приказу императора в Ораниенбаум, склонить полк на сторону Екатерины и привести в Петербург.

Узнав от Олсуфьева, что гвардия присягнула императрице, воронежцы приветствовали это известие громким ура.

Немного спустя после Олсуфьева прибыл в Воронежский полк флигель-адъютант Райзер, с приказанием полку идти в Петергоф; Райзера арестовали, полк двинули в Петербург.

Известие об арестовании Райзера пришло в Петергоф в 9-м часу и привело Петра III в крайнее раздражение.

Этим, собственно, и оканчивается описание участия фон Райзера в перевороте 1762 г. Рядом с этим эпизодом Биальбасов говорит об отрицательном отношении и других немцев к этому перевороту и отмечает к ним снисходительность Екатерины II.

Немцев, по его словам, недолго продержали под арестом, и только трое из них пострадали: по “Монаршей конфирмации”, последовавшей 29 июня, Лейб-Кирасирского полка полковник Будберг, доносивший Петру на Ребиндера, в отставку и жить в Лифляндии, подполковник Фермилен — тем же чином в другие керасирские полки, и флигель-адъютант Райзер — отправить к армии.

Исторической перспективе поведение в этот день некоторых офицеров немецкого происхождения представляется достойным порицания. Так на это смотрит и историк, вообще не обладающий спокойствием и беспристрастием, необходимым для большого исторического труда. Но, взвешивая поведение моего прадеда в этот исторический день, в связи с его последующей жизнью, я не вижу ничего, что могло бы поселить хоть малейшее сомнение в его нравственном достоинстве. Не знаю, был ли он лично привязан к Петру III, но он рыцарски честно служит своему законному государю, так же, как рыцарски честно продолжает служить и своей государыне, которой присягнул после всенародного признания ее императрицей. Эта черта характера тем более благородна, что, вместе с отправлением к армии, он впадает в немилость и вообще становится чужим человеком в тех сферах, где когда-то занимал видное место.

Один только человек в этих сферах вспоминает о нем, это — наследник престола Павел Петрович.

В 1775 г. Викентий Викентьевич фон Райзер, уже в чине генерала, награждается орденом св. Анны, и эта награда жалуются ему, как известно в “Киевской Старине” 1893 г., 6, при посредстве Павла Петровича, которому Екатерина предоставила право жалования этим голштинским орденом. Привожу из “Киевской Старины” текст письма Потемкина к фон Райзеру: “Милостивейший государь Викентий Викентьевич. С наиприятнейшим удовольствием моим имею честь препроводить к Вашему

превосходительству новый опыт высочайшей ее императорского величества за достохвальную службу Вашу милости, которой благоудно было почтить Вас, при высокою от его императорского величества орденом св. Анны, с получением которого, истинно приветствуя, поставляю себе непреоборимым правилом ходатайствовать к пользе и удовольствию Вашему, при всяком преподаваемом Вами мне случае, и быть всегда с совершенным почетом и преданностью Вашего превосходительства, милостивейшего государя моего, покорный слуга граф Потемкин. Июля 19 дня 1775 г. Его превосходительству Райзеру”.

Не знаю, были ли у Викентия Викентьевича какие-либо другие знаки отличия, но, во всяком случае, как у человека, заботого в центральных сферах, их не могло быть много. Большой крест св. Анны хранится у меня. Думаю, что это тот самый, который прислан Потемкиным; но письмо светлейшего и милостивое письмо Великого Князя находятся, вероятно, в семейных документах.

В генерал-майорском чине Викентий Викентьевич имел маленькую неприятность по службе. В эпоху покорения Крыма Суворов отправил его, с его бригадой, на восток, на Кавказскую границу, и, оставшись недовольным медлительностью фон Райзера или неудачным исполнением возложенного на него поручения, объявил ему выговор. Не припоминаю теперь, где я читал об этом выговоре; но выговор был, это факт, и возможно, что Викентий Викентьевич, смолоду не служивший в действующих войсках, действительно сделал какую-то оплошность.

Говорю возможно, учитывая горячий нрав великого полководца...

Это обстоятельство не помешало, однако, Викентию Викентьевичу правильно двигаться по службе. Он заканчивает свое поприще генерал-поручиком, командующим дивизией на Кавказе.

В царствование Екатерины имя Райзера еще раз упоминается, в связи с достопамятным событием. Готовясь к открытию памятника Петру I в 1782 г., императрица велела собрать сведения, нет ли в армии, из состоящих на службе генералов, таких, которые начали службу в офицерских чинах еще при Петре I. Она желала, чтобы они присутствовали в числе вид-

ных участников торжества при открытии памятника. Такой нашлся только один, и это был Викентий Викентьевич.

Это известие мне удалось прочесть в старинной книжке Вейдемейера, посвященной царствованию Екатерины II. Из этого можно заключить, во-первых, что Викентий Викентьевич, во уважение заслуг отца, был записан очень рано рядовым в один из полков и произведен в офицеры почти еще ребенком; во-вторых, что он умер не в 1780 г., как предположительно говорится в “Киевской Старине”, а позднее.

Викентий Викентьевич был женат на Анне Ивановне Лорих, и кроме сыновей имел дочь Екатерину, вышедшую замуж на Кавказе за князя Дмитрия Михайловича Цицианова.

После смерти Викентия Викентьевича вдова его поселилась в Лубнах, Полтавской губернии, и прожила в этом городе до самой смерти.

Почему она выбрала именно этот город — мне неизвестно, но у нее и ее сыновей там образовалось близкое общество из местных значительных людей. Ближе других к ним, по видимому, стояли немецкие семейства Пинкорнелли и Дель. Глава семейства Пинкорнелли был, кажется, одно время городничим в Лубнах, а семейство Дель, сколько помню, имело какое-то отношение к бывшему тогда в Лубнах ботаническому саду, основанному еще Петром Великим. Хорошие отношения с этим семейством поддерживались детьми и внуками Анны Ивановны. Старший из сыновей городничего, Петр Федорович в чине полковника был назначен батальонным командиром в Петровский-Полтавский кадетский корпус около 1845 г., через несколько лет после открытия этого заведения. В конце сороковых годов он был произведен в генералы и командовал бригадой. Второй его брат, Николай Федорович, лишившийся руки в Польскую кампанию, тоже служил в штаб-офицерских чинах в Полтавском корпусе, и с ним жили две его сестры — Анна Федоровна и Елизавета Федоровна, очень баловавшие меня и других Кореневых, учившихся тогда в корпусе. Особенно добра была Елизавета Федоровна, несколько неуклюжая пожилая девица чрезвычайной доброты, не имевшая в себе решительно никаких признаков своего немецкого происхождения. Третий брат, Иван Федорович, ветеран, долго служил плац-адъютантом в Петропавловской крепости в Петербурге.

Старший сын Анны Ивановны фон Райзер, Вильгельм Викентьевич, родился около 1766 г. и был на десять лет старше Степана Викентьевича.

Я говорил уже выше о его служебном поприще. Степан Викентьевич годам к двадцати тоже был определен на военную службу рядовым в Преображенский полк. Ничто решительно не предвещало какой-либо перемены к лучшему. Вдова жила на пенсию, вероятно, не очень большую, но достаточную для ее скромного обихода. Сыновья служили, как могли, не имея никакой сильной руки, чтобы их двигать, и никому в этой семье генерала, не пользовавшегося милостями, не приходило и в голову о каких-нибудь ходатайствах для улучшения своего положения.

Но тут случилось обстоятельство совершенно непредвиденное, негаданное и явившееся как бы воздаянием Промысла за скромную, корректную, чуждую каких бы то ни было попыток выставить себя или напомнить о себе службу Викентия Викентьевича.

Вот как рассказывали об этом наши старики.

Через несколько дней по вступлении на престол императора Павла, в том же ноябре 1796 г., Степану Викентьевичу, рядовому Преображенского полка, пришлось быть во внутреннем карауле в Зимнем дворце. Как юноша рослый, видный и очень красивый собой, он занимал пост у собственных покоев императора. Он был уже одет и хорошо вымуштрован по-гатчински. Проходя мимо, государь обратил внимание на эту стройную, изящную фигуру. “Откуда такой молодец?” — спросил он мимоходом. “Райзер, Ваше величество”, — отвечал мой дед. Император остановился. “Какой Райзер? Кем тебе приходится бывший флигель-адъютант моего отца?” “Я его сын, Ваше величество”. Император очень заинтересовался и стал расспрашивать, где живет мать, как велика семья, где находятся ее члены, каких лет остались они по смерти отца, какое получили воспитание. Потом, потрепав молодого человека по плечу, сказал ему: “Напиши Анне Ивановне, что я хорошо помню верную службу вашего отца и считаю себя в долгу у семьи”. Последствием этого разговора было письмо к Анне Ивановне фон Райзер статс-секретаря Трошинского, от 10-го декабря 1796 г. Содержание этого письма приведено в “Киевской Старине”, 1893 г., 6.

Трощинский писал, что государь “удостоил милостивым воспоминанием заслуг покойного супруга, в воздаяние которых намерение имеет пожаловать Вам деревню, предоставляя выбор оной или в Малой России из свободных казенных селений или в великороссийских губерниях”.

Вдова Райзера пожелала получить пожалование, как говорит “Киевская Старина”, в Малой России, и по указу 2 мая 1797 г., ей было дано крестьян 532 души мужского пола; из них в с. Поставмуках (Лохвицкого уезда) 277 душ; в д. Пятигорцах (Лубенского уезда) — 13 душ, в с. Селище (Переяславского уезда) — 161 душу, в д. Нестеровке (Остерского уезда) — 121 душу. Милость государя была велика, но потомки Анны Ивановны часто ломали себе голову, как это могло случиться, что такое, в сущности, не чрезмерно большое по размерам того времени имение было отведено в четырех совсем не близких один к другому пунктах, из которых один находился даже в другой губернии, Черниговской. Говорили о непрактичности генеральши и о неумении ее ладить с людьми власть имеющими, и о большом своеволии этих людей в это время, несмотря на большие строгости. Все это было приведено в порядок ее сыновьями. Имение сосредоточилось в Поставмуках и Пятигорцах, но старожилы рассказывали, что больше всего была виновата сама генеральша. Ей предложили, будто бы, имение в одном куске, в с. Чернече, Хорольского у., в черноземной плодородной местности. Но она не захотела уезжать далеко из Лубен, и это повело к тому, что ей набрали жалованное число душ в разных местах.

Когда умерла генеральша, я не знаю. Из детей Степана Викентьевича ее смутно помнила только ее внучка, старшая сестра моей матушки, Анна Степановна, родившаяся около 1800 г.

В нашей семье хранится несколько силуэтов художественной работы, которые знатоки приписывают Антингу или Сидо. Я умею безошибочно различить между ними силуэт прадеда, Викентия Викентьевича, его жены, Анны Ивановны, и двух их сыновей, Вильгельма и Степана Викентьевичей.

Трудно определить, когда сделаны эти силуэты и делались ли они одновременно, или заказывались при случае. Степану Викентьевичу на его портрете можно дать лет пятнадцать; он

родился в 1776 г., следовательно, силуэт его был исполнен в 1791 г.; брату его, как это и должно быть, если силуэты делались одновременно, можно дать лет двадцать пять. Но отец их тогда едва ли уже был в живых. Пожалуй, и по стилю можно сказать, что силуэты родителей вырезались не в одно время с силуэтами сыновей. Кому принадлежат другие силуэты, мне неизвестно. Очень вероятно, что это силуэты семейные, так как они бережно хранились у Анны Ивановны, а потом в семействе Степана Викентьевича.

VI

Возвращаюсь к последним фон Райзерам. Теперь уже никто не откликнется на это имя, и мне хочется еще раз вспомнить о них, вспомнить об их жизни в Пятигорцах, об их делах и о тех людях, которые были к ним более или менее близки. Для меня это воспоминания моей молодости, но они имеют и некоторый общий интерес, как бытовые картины далекого и забытого уже нам времени.

Дядя Алексей Степанович и тети вели довольно замкнутый образ жизни. Дядя был весь погружен в хозяйство, был занят винокурней, конским заводом, полевыми работами, иногда постройками, предпринимаемыми им для расширения своего дома и украшения усадьбы. Вообще он был образцовым хозяином и не только в своих имениях в Пятигорцах и в Поставмуках, но купил по поручению своего друга, Николая Вильгельмовича, часть большого имения Скаржинских, в Круглике близ Лубен, и управлял этим имением безвозмездно до смерти Николая Вильгельмовича и до приезда в Круглик его вдовы, малолетней дочери и тещи, Варвары Петровны Ладыгиной.

Тети усердно отдавались домоводству. Анна Степановна приняла на себя все обязанности домоправительницы и исполнила их с несравненным мастерством. В ее распоряжении был ученый повар, вышедший из рук знаменитого во всех окрестных уездах Паульсоновского повара. Сама она имела большие сведения по огородничеству и по всем отраслям домашнего хозяйства, и стол в Пятигорцах славился на всю окрестность.

Марья Степановна была мастерицей в рукоделиях. Под ее наблюдением ткались ковры, ткались скатерти, салфетки и всякого рода холсты. Под ее руководством дворовые девушки занимались шитьем и вышиванием, очень нередко по собственным ее рисункам.

Помню длинные зимние вечера, в которые слышалось иногда пение дворовых девушек, занимавшихся в девичьей комнате.



Никогда не мог я себе представить, каким Алексей Степанович был в молодости. Слыхивал я намеками, случайно, что это был развязный, разбитной юноша, и так как он был ловок, искусен во всех физических упражнениях, красив и высок ростом, то всегда бывал коноводом окружавшей его молодежи. Говорили, что в юнкерской школе он превосходно учился и предназначен был к выпуску в колонновожатые; но как раз во время экзаменов случился какой-то юнкерский дебош, какая-то история с жидами, и его выпустили в армию.

Проглядывали эти черты удальства и в его зрелом возрасте, но общий фон его характера был совсем другой. Как я уже говорил и раньше, он подкупал невозмутимой ровностью и приятным спокойствием своего настроения. Он любил и пошутить, и помечтать, и поговорить серьезно, но все это всегда в такой мере, которая оставляла собеседника в приятном удовлетворении. Заметной особенностью характера Алексея Степановича была его самостоятельность. Никогда и ни у кого он не искал, ни с кем не советовался по своим делам, а всегда все делал сам не спеша, без горячности и обстоятельно взвесив все условия и случайности предпринимаемого дела. Вместе с тем, у него вовсе не было склонности давать кому-нибудь и свои непрошенные советы. Особенно же не любил он принимать на себя какое-либо обязательство в деле помощи или поддержки чужим для него людям. Эта особенность давала иногда повод к нареканиям и к осуждению его характера. Говорили, что это человек черствый, эгоист, на которого нельзя положиться даже близким людям.

Никто, однако, не знал Алексея Степановича так близко, как я, и я могу с чистым сердцем сказать, что в этих разгово-

рах было много преувеличения. Правда, у него не было порыва стремиться во что бы то ни стало на помощь ближнему, для этого он был слишком практический человек, и к тому же он старательно сооружал и свое собственное благосостояние. Была у него, разумеется, и добрая доля эгоизма, но по существу он был человек благожелательный. На него нападали те, кто неосновательно ожидал от него каких-нибудь благ или завидовал его удачам в делах. К нам, детям своей сестры, он относился очень хорошо, он много помогал нам своими средствами и в нашем детстве, в годы нашего учения, и потом во время нашей службы в гвардейском полку.



Не будучи несколько расточительным, скорее даже впадая в бережливость, Алексей Степанович любил, однако, обставить себя с комфортом. Я уже говорил раньше, что он богато отделал свой дом. Дом этот был большой, слишком просторный только для него и для сестер, и обставлен он был заботливо и со вкусом. Рядом с его кабинетом, или угловой, была бильярдная комната, в которой он любил сыграть партию с хорошим игроком. Он любил хорошо принять даже случайного гостя, и после тонкого обеда угостить его вместе с чашкой душистого кофе удивительной рюмкой ликера, секрет которого принадлежал тете Анне Степановне, и папироской самого высокого турецкого дюбека. Сам Алексей Степанович курил немного, но курил только отборные сорта табаку. Раньше, до появления папирос, он курил трубку из длинного чубука, и в кабинете его, как воспоминание, красовались две высокие стойки с длинными чубуками, черешневыми, черного дерева, и одетыми в искусно вышитые гарусные чехлы, с большими янтарными мундштуками.

В раннем моем детстве я застал еще в Пятигорском обиходе пережитки старого времени. В то время тут доживали еще свой век прихлебатели моего деда. Припоминаю Павла Александровича Остен-Сакена, которого при дяде называли Павинькой. Я говорил уже о нем. Никогда не мог я добиться, в каком родстве он состоял с моим дедом, но это был странный, убогий и неприятный человек. При дяде он играл роль шута,

но теперь на него находили припадки самолюбия, хотя никто и не думал поднимать его на смех. Иногда смеялись его глупостям, и эти глупости бывали иногда из ряда вон. Иногда, в веселую минуту, дядя, бывало, пошутит с ним:

— А ну-ка, Павинька, расскажи, как на тебя нападали разбойники?

И начинается несуразный длинный рассказ, с каким-то акцентом, с неумелым согласованием слов... “Ну довольно, Павинька, кончай свой суп; после доскажешь”, — говорит дядя, чтобы прекратить эту нескончаемую дребедень. При умственной немощи Павел Александрович был как-то и физически изуродован: он ходил не сгибая ног и странно подергивая плечами. У него была комната во флигеле, вся прокуренная скверным табаком, и когда не было гостей, он появлялся в доме к обеду и к ужину. Мы, дети, его боялись, а он нас просто не любил, опасаясь, как бы не подняли его на смех.

Был и еще субъект, которого я, впрочем, едва припоминаю. Звали его Константин Устимович; и был он не то конторщиком, не то писарем, но вернее — просто приживальщиком. Помню его особенно потому, что носил он голубой фрак с длинными, остроконечными старомодными фалдами. Видишь, бывало, на горе в Грабине мелькает что-то голубое: ну, значит, Константин Устинович гуляет. Бывало, старушка-няня, приподнимая меня, двухлетнего ребенка, к картине, на которой изображена была Брюлловская терраса с гуляющими на ней кавалерами и дамами, непременно показывала мне кавалера в голубом фраке и говорила: “А вот это — Константин Устимович”. В доме этот субъект не показывался, где он жил и куда он потом девался, я не знаю.

Появлялись иногда и другие странствующие неудачники: какой-то шутовской поэт Арапов или Арапос; какой-то господин, приносивший с собой фрак и лакированные туфли и потешавший общество в скучные деревенские вечера своими рассказами, декламациями и танцами. Покормят, бывало, этих людей дня два—три во флигеле, наградят рублем или серебряной мелочью и отпустят на все четыре стороны.

Любопытно было отношение моего отца к этим приживальщикам. По принципам своим он не допускал насмешек или издевательства над такими людьми, а потому старался держать-

ся с ними с заметною вежливостью и серьезностью. Он наблюдал также, чтобы и мы, дети, не позволяли себе с ними ничего лишнего. Но у Павла Александровича решительно не хватало мозга, чтобы понять такое обращение. Когда ему заметили, как хорошо относится к нему Дмитрий Петрович, он испустил длинное хрипение вместо смеха и пролепетал на своем жаргоне: “Ну, что Дмитрий Петрович... он делает мне такое лицо... я сам умею такое лицо делать”. После этого Алексей Степанович говаривал ему иногда под веселую руку: “А ну-ка, Павинька, сделай такое лицо”.

Отец мой был, однако, большой юморист в душе и неожиданно для самого себя разражался иногда неудержимым смехом на его глупости. Это больше приходилось по душе Павлу Александровичу. Понемногу эта застарелая компания приживальщиков вывелась было в Пятигорцах. Это было еще во времена моего раннего детства. Наступил довольно длинный период времени, когда дом моего дяди был свободен от всяких приживальщиков.



По воскресным дням к дяде собирались ближайшие соседи, живущие тут же в Пятигорцах или в ближайших селах, Юсковцах и Михновцах. Это бывало обыкновенно в летние месяцы, когда можно было взять только шапку и палку и идти в гости пешком. Собирались обыкновенно днем, завтракали, иные оставались обедать и проводили целый день. Из числа таких воскресных посетителей назову прежде других Григория Ивановича Ивахненкова, довольно богатого помещика и ближайшего соседа тут же в Пятигорцах. При жизни первой своей жены, тетки моей Настасии Петровны, он часто бывал у Алексея Степановича со всей своей семьей. Две старшие его дочери, Варя и Наташа, были моими сверстницами, и с Варей, девочкой очень умной, мы были очень дружны. Часто бывал тут михновский помещик Андрей Прокофьевич Мисюра, страстный охотник, человек большого остроумия и близкий приятель Алексея Степановича. Приезжал из Юсковец Степан Иванович Афанасьев с умной и бойкой Авдотьей Степановной. Приходил Николай Евстафьевич Ивахненков, старый от-

ставной подпоручик еще того времени, когда пехотные офицеры не носили усов. В старом военном сюртуке, не всегда гладко выбритый, он представлял собою архаическую фигуру. Чаще, чем он, приходила к моим теткам дочь его Марья Николаевна, немолодая уже, но милая девушка, пользовавшаяся большим расположением моих тетей. Когда в такое воскресенье случилось и наше семейство, то общество образовывалось большое. Велась веселые громкие разговоры, поддерживать и оживлять которые был большой мастер мой отец. Случалось, что тетя Марья Степановна сыграет Соловья, Листа, или какую-нибудь другую из тогдашних пьес для фортепиано, и на некоторое время водворит раздумье в этом обществе... Устраивалась иногда и партия в вист, обыкновенно по почину Григория Ивановича и Андрея Прокофьевича, но Алексей Степанович не давал заигрывать в карты. После обеда всем обществом — кто в экипажах, кто пешком — отправлялись пить чай в Матяшовку, чудесный тенистый лесок, в котором стояла большая пасака. С вечерней прохладой возвращались домой к ужину. И так проходил летний пятигорский день.

Алексей Степанович любил охоту, и у него всегда были своры борзых и гончих собак. Осенью он обыкновенно устраивал большую партию охоты в обширных арендуемых им окрестных лесах. К нему съезжалось в это время довольно большое общество местных охотников. Бывали тут и люди важные, понимавшие охоту только как пикник; бывали и завзятые охотники, больше из мелкопоместных. Это были люди разудалые, болтливые и считавшие делом одну только охоту; они одни только что-нибудь в ней понимали и они одни только видали виды. Чего только, бывало, от них не наслушаешься. Серьезно рассказывали, например: что кто-то из них же проехал чуть не полверсты верхом на волке, поднятом из чащи гончими...

Слушая такие разговоры, Алексей Степанович обращался к своему доезжаему: “Ты, однако, Фома, присматривай за таким-то, чтобы он опять без толку не болтался под выстрелами...”

Приезжал иногда к таким собраниям и Афанасьев-Чужбинский, вышедший уже в отставку и имевший литературное имя. Он жил в то время в Киеве. Припоминаю, что в дни охоты он одевался в черкесский бешмет с патронташами и

имел на голове папаху. Количество убитых в такие дни волков, лисиц и зайцев было совершенно баснословно для теперешнего времени.

В холодные зимние лунные ночи пятигорские охотники, а там их было немало из мелкопоместных и из крестьян, устраивали, с разрешения дяди, засаду на волков, пробиравшихся ночью из лесных оврагов по полянам в деревню. Собирались для этого на горе, в пустом овине, и просиживали большую часть ночи. Такие засады в детстве всегда приводили мне на память очень образное шведское стихотворение, переведенное, если не ошибаюсь я, Гротом:

По небу бледный месяц пыл,
Голодный волк в ущелье выл,
В селе далеком лаял пес...

Я принимал однажды участие в засаде, и картина была именно такая. Но в ней было что-то больше располагающее к туманной мечте, чем к спорту.

Бывали иногда в Пятигорцах и большие приемы, особенно когда Алексей Степанович был предводителем дворянства. В мае он праздновал свои именины. Они приходились, собственно, к 17 марта, но так как в это время начиналось уже весеннее бездорожье, разливался Слеспород, на котором лежат Пятигорцы и нанизаны почти без перерыва другие деревни и села, то он перенес празднование своих именин на 1-е мая — лучший день в году, по его выражению, день соловьев и роз.

Приглашений на этот день не бывало. Но его помнили не в одном Лубенском уезде, и общество съезжалось большое. Приезжали и уездный судья Квитко, и окружной начальник Корунновский, и уездный исправник Кулябко, человек такой необъятной толщины, что ему надобно было ставить за обеденным столом два стула. Бывал тут и член Лубенского депутатского собрания, ближайший сотрудник предводителя, Степан Степанович Огранович. И непременно гостем был Андрей Прокофьевич с его тонкой и несколько ехидной улыбкой.

Появлялись и такие люди, которые по домоводству своему годами не бывали в Пятигорцах и вдруг вспоминали о дне 1-го мая. Так, приезжает, бывало, Степан Григорьевич Кирьяков,

когда-то хороший приятель дяди, но много лет не выезжавший уже из своих Гонцов.

“Вижу такое чудесное весеннее утро; вспомнил, что сегодня 1-е мая, и так захотелось побывать в Пятигорцах...”

Объятия, поцелуи, и замечательно, что много лет не виделись люди, а встретились, как будто виделись только вчера; и говорят они между собой так, как будто все вопросы ими уже решены и как будто они только двое знают что-то такое, чего другие еще не знают.

Сюрпризом приезжал иногда и другой, не менее интересный человек — Василий Иванович Паульсон.

❧ VII ❧

Произнося эти два имени, я удивляюсь нестойкости человеческой памяти. В свое время это были люди известные во всех окрестных уездах, люди популярные не потому только, что они были очень богаты, но и по некоторым их особенностям, выделившим их из общего уровня. Теперь уже никто не знает, что они жили на свете.

У Степана Григорьевича есть, по крайней мере, потомство по мужской и женской линии. У Василия Ивановича никого не осталось, и с ним кончилось все то, что когда-то делало его общим любимцем и заставляло так много говорить о нем.

Степана Григорьевича Кирьякова я мало помню; в моем детстве я видел его в Пятигорцах и раз или два во время его приездов к нам, в Кременчугский уезд, по соседству с нами в село Броварки, где жила его матушка Наталия Сергеевна, урожденная Плетнева. Эта умная, образованная старушка была очень расположена к нашему семейству и любила вспоминать с моим отцом о старом времени, когда девицы ходили в коротких платьях, когда носили короткие талии, имели в руках ридикюли и когда танцевали экоссесы и гросс-фатеры.

Родной брат Натальи Сергеевны, отставной моряк и киевский помещик, Адриан Сергеевич Плетнев был женат на дочери Петра Даниловича Бутовского, двоюродного брата моего деда. Приезжая временами к сестре и к тестю, он тоже очень

охотно бывал у нас и проводил иногда целые дни в беседах с моим отцом.

Позднее я не встречался со Степаном Григорьевичем, однако я много о нем слышал. Не знаю, сколько правды в этих рассказах, но думаю, что кто-нибудь из его потомков сделал бы хорошее дело, записав все то, что в них было правдивого.

Он был офицером генерального штаба, рано вышел в отставку, женился и взял за женой очень большое состояние.

В первые годы супружества молодая чета предприняла большое путешествие за границу. В то время не было еще ни железных дорог, ни пароходов; ехали в огромном дормезе с целым штатом крепостной прислуги. Степан Григорьевич с большим остроумием рассказывал потом об этом путешествии. Я слышал эти рассказы в художественной передаче одного из его родственников.

Вернувшись домой, Степан Григорьевич предоставил своей жене Прасковии Ивановне, умной и властной женщине, управление всеми хозяйственными делами, а сам замкнулся в идейную сторону жизни, или, вернее сказать, в тот мир непродуманных мыслей и фантазий, которыми живут иногда способные и хорошо обеспеченные люди.

Рассказывали о его большой эрудиции, о его остроумии и чудачествах, о его библиотеке, наполненной учеными книгами, о резном деревянном потолке, устроенном им у себя в доме в Гонцах, по образцу какого-то классического резного итальянского потолка в палаццо Дожей или где-то в другом месте; удивлялись его из ряда выходящей музыкальности и его чудной игре на фортепиано. Рассказывали мне, что когда-то в Полтаву приехал концерттировать какой-то пианист, кажется Шульгоф, и, услышав, как Кирьяков играет те самые вещи, которые он исполнял в концерте, сказал, что если бы он знал, что в числе слушателей есть такой исполнитель его пьес, он не стал бы их играть перед публикой. Рассказывали и многое другое, и рассказывали обыкновенно так, как будто бы было еще что-то такое недосказанное и очень интересное.

Если было хоть до некоторой степени верно то, что о нем говорили, то, разумеется, Степан Григорьевич был явлением выдающимся среди тогдашнего деревенского дворянства. Однако этот приятный, даровитый и остроумный человек прожил

свою жизнь как пустоцвет, не осуществив ни одной из своих фантазий и не выразив определенно ни одной из своих мыслей. Он рано опустил руки, впал в равнодушие и при жизни еще обрattился в прошедшее, о котором можно было вспоминать, но которого уже не было.

Одно время я был близок с его двумя сыновьями. Это были прекрасные, приятные и довольно образованные люди. Благодаря своей матери, они получили большое состояние. От отца они унаследовали его идейность и его бездеятельность. Они благоговейно чтити его память, но ни тот, ни другой не сумели сберечь полученного состояния.

Об одном из них близкий к нему человек рассказывал мне такой анекдот: “Что это у тебя, Ваня, — спрашиваю я его, — стоит там на столике?” “А это ступка для толчения алмазов”. “И ты толчешь?” “Толку”. “Зачем же это?” “Ах, нужно, очень нужно: нас ведь так плохо учили. Я никогда и представить себе не мог, что алмаз рассыпается на такую тонкую пыль”.

И вот этот Ваня за восемь лет своей супружеской жизни, не будучи ни игроком, ни кутилой, ни пьяницей, прожил огромное состояние. К счастью, у него не осталось наследников.



Помню я гораздо больше Василия Ивановича Паульсона. Это был очень богатый помещик Лохвицкого уезда. Имение его Городище лежало на берегу Удая в очень живописной местности в 7-ми верстах от Поставмук. Городище — одно из древних малороссийских сел. В начале XVII века оно было резиденцией коронного украинского гетмана Иеремии Вишневецкого. На горе, на верху, в усадьбе Василия Ивановича, сохранились даже развалины замка этого гетмана. Они были потом отремонтированы, надстроены и обращены в помещение крепостного музыкального хора. Как и когда основались в Городище Паульсоны, я достоверно не знаю. Говорили мне когда-то, что отец Василия Ивановича, какой-то большой делец и, кажется, служивший в свое время в таможне, купил Городище у разорившегося владельца.

Так ли это было — не знаю, но Василий Иванович жил в Городище, как родовитый барин.

Дядя и тети, бывая в Поставмуках, ездили к нему, и я, еще ребенком, помню его жену, красивую и стройную даму, Софию Антоновну. Прожив несколько лет в Городище, она покинула мужа и долгое время была директрисой Одесского женского института.

Василий Иванович остался один со своей матерью, дамой очень пожилой и под конец жизни впавшей в слабоумие. Каждый год на Рождество и на масленицу у Паульсона были большие съезды. Съезжались дворяне всех соседних уездов, и по нескольку дней со своими семьями жилали в Городище. К Новому году собирались накануне и разъезжались только пятого января утром. На масленицу приезжали в среду вечером и жили до первого дня великого поста. Иные уезжали, только отслушав первую великопостную службу.

В годы моей службы в Полтаве мы с Колей Кореневым всеми силами нашей души стремились на эти паульсоновские балы. Мы бывали на них всякий раз, как только позволяла наша служба. На масленицу урывались хоть на два, даже на один день... Мы пережили много веселых часов на этих съездах.

Приезжал и Саша Коренев из Белгорода, где он служил в Каргопольском драгунском полку. За эти года мы встречали у Паульсона семейства Милорадовичей, Тарнавских, Высоцких, Исаевичей, Савицких, Немировских, Гамалеев, Трипановских, Славутинских... Непременно бывали Кореневы с Анютой и дядя Алексей Степанович. Раньше бывали на этих балах и мои тети, но в это время они ограничивались, когда им случалось быть в Поставмуках, только краткими посещениями старухи Паульсон. Несколько раз за это время приезжал в Городище Александр Степанович Афанасьев-Чужбинский. Он был в эти годы командирован на юг, по распоряжению Вел. Кн. Константина Николаевича, для описания Днепра, так же, как был командирован Максимов на север, как были командированы Гончаров на фрегат "Паллада", Григорович на корабль "Ретвизан"... Это было время новых веяний, и понятно, что такого человека, как Афанасьев-Чужбинский, встречали со всеобщим интересом и удовольствием.

Надо было удивляться, как это в одноэтажном паульсоновском доме находилось помещение для всего этого общества, но помещение находилось. К дому были пристроены просторные

флигеля. В левом располагалось женское общество, в правом помещались мужчины. Эти мужские помещения были не обширны, но в них можно было удобно расположиться, они несколько походили на гостиничные номера.

У дам все было много шире и была специальная гостиная, в которую допускался в приемные часы и мужской элемент.

Время распределялось обыкновенно так: в день приезда — музыкальный вечер. Превосходный оркестр исполнял большие вещи: попурри, транскрипции, сольные вещи, иногда симфонии великих классиков. Во все следующие дни утренний чай и кофе разносились по номерам. К часу все общество в дневных туалетах собиралось к завтраку а-ля-фуршет. Между завтраком и обедом время полной свободы. Кто хотел, оставался в парадных покоях. Солидные господа засаживались в преферанс или ералаш. В хороший зимний день выходили гулять в огромный сад и любоваться бесконечными перспективами по Удаю и его берегам. Молодежь составляла свои кружки; играли на фортепиано, пели, болтали... Иногда дамы устраивали прием у себя в помещении, и на таких приемах милая Настасья Вильгельмовна всегда являлась общепризнанной руководительницей. В 6 часов обед, какие умел задавать только Василий Иванович. Это были веселые обеды. Собравшиеся с разных концов солидные люди обменивались веселыми и ласковыми словами, чокались стаканами доброго старого вина и охотно лобызались друг с другом в знак взаимного расположения. Люди помоложе занимали дам, а сколько тут было благодушия, остроумия, кокетства, а иногда и серьезно зарождающегося чувства. После обеда дамы удалялись для вечернего туалета; мужчины постарше уходили отдохнуть... В девять часов начинался бал и длился часов до двух, с перерывами для ужина в 12 часов. И все это каждый день, пока живут гости.

Эти паульсоновские балы имели свое большое значение в жизни тогдашнего дворянства. Тут сходились люди, которые без этого, может быть, никогда бы не встретились. Тут они обменивались своими общественными и сельскохозяйственными интересами, и весьма понятно, что им приятно было еще и еще раз встретиться на этих балах. Знакомства приобретали тут тем более приятный и тесный характер, что они составлялись не при обычной будничной обстановке... Люди приезжали

сюда, чтобы отдохнуть от этой будничной обстановки, чтобы, благодаря радушному хозяину, провести несколько праздничных дней в большом и приятном обществе. И понятно, что ожидание паульсоновского бала заранее приводило уже в хорошее настроение всех членов семьи.

Были семьи, в которых многие памятные события были связаны с паульсоновскими балами. Рассказывали, например, об известной в свое время красавице Марфе Павловне С., что ей было сделано предложение ее первым мужем на балу у Паульсона, и что она венчалась даже в Городище, выехав в церковь из паульсоновского дома. Год спустя она разрешилась своим первенцем тоже на балу у Паульсона. Прошло восемнадцать лет, и на таком же балу было сделано предложение ее дочери Марии Алексеевне; а года два спустя, опять-таки на балу у Паульсона, Марфа Павловна дала свое согласие на вступление во второй брак с человеком, давно уже питавшим к ней платоническую привязанность.

Был ли Василий Иванович гостеприимен по своему характеру, скучал ли он, хотелось ли ему почета и известности — трудно сказать. Было, вероятно, и то, и другое, и третье, но это был, во всяком случае, очень своеобразный и интересный человек. Росту он был немного ниже среднего и был не то толст, а как-то мягок. Все его гладко выбритое лицо было мягкое, с несколько отвислыми щеками и небольшим, но мясистым носом. Платье он носил широкое и тоже мягкое; даже сапоги у него были всегда мягкие, без каблуков. Говорил он тонким голосом, несколько прищелпывая губами, и очень любил целоваться. Поговорит, поговорит, обнимет за талию и поцелует. Дядя Алексей Степанович говорил, бывало, что когда целуешь Паульсона, то это похоже, как будто прикладываешь губы к мягкому, сдобному папушнику. Во время обеда на почетное место сажали матушку Василия Ивановича; сам он не садился за стол, а ходил кругом и разговаривал то с тем, то с другим, иногда присаживался к кому-нибудь, и в руках у него все время была трубка с длинным чубуком и с большим янтарем. Когда докуривалась трубка, он ни к кому не обращался, никого не звал, а просто протягивал в сторону руку с трубкой, и какой-то человек принимал у него эту трубку и тут же вкладывал ему в руку другую, которую Василий Иванович тут же и начинал посасывать.

Василий Иванович был изысканно любезен со своими гостями. Каждому из них он хотел и умел сказать приятное слово. Но в разговорах его не было ничего, что бы заставляло думать о его глубоком внутреннем содержании. Так и считалось, что это простой, добрый барин, помещик, как и все, и только побогаче. Однако, иногда в разговорах Василия Ивановича промелькнет такая мысль, такая фраза, такое слово, что наблюдательному человеку вдруг приходит на мысль: да ведь мы не знаем Василия Ивановича... И тогда только начинаешь соображать, что, повеселившись с гостями два раза в год, Василий Иванович на долгие месяцы остается совершенно один, никуда не ездит, никто у него не бывает.

Что он делает в это время, едва ли кто задавал себе вопрос... А между тем в его кабинете на длинном столе лежит много аккуратно прибранных его камердинером русских и иностранных журналов, много новых русских, французских, английских книг, которые по их внешности, очевидно, не только читались, но даже штудировались.

Да, у него была своя святая святых, в которую он неохотно допускал непосвященных.

Василий Иванович был, кроме того, и большой знаток музыки. Не было у него ничего дилетантского, столь обычного у нас в то время, когда еще не было консерваторий; он был музыкант в самом серьезном значении этого слова. Он сам создал свой превосходный оркестр. Бывали у него сначала наемные капельмейстеры, итальянцы или немцы, но потом он отказался от них и взял оркестр в свои руки. Талантливого скрипача солиста Данила он воспитал для капельмейстерской должности; большие вещи он разучивал с оркестром сам. Из числа чудесных солистов помню еще Зиновия, настоящего художника на виолончели.



Дядя, Алексей Степанович, критически относился к Паульсону, как и к Кирьякову. Он считал их людьми непрактичными. Потом они много теряли в его глазах, как люди физически немощные, малосильные и избалованные. Но Паульсона он лю-

бил и всегда охотно и радостно встречался с ним, не только на его балах, но и во всякое другое время. Паульсон тоже очень любил дядю и относился к нему иначе, чем к другим своим многочисленным знакомым. Я часто задавал себе вопрос, что могло привлекать этих двух столь различных людей друг к другу. Теперь мне ясно: оба они были эстетиками. У Алексея Степановича это было врожденное, не воспитанное чувство, но он, конечно, больше всех других мог откликаться на художественные фантазии Паульсона, и мне приходилось слышать не раз, как Василий Иванович с жаром излагает дяде свои планы и как Алексей Степанович осторожно вносит свои практические соображения в эти планы, а иногда и просто расхолаживал увлекающегося эстетика.

Паульсон и Кирьяков были хорошо знакомы друг с другом. Гонцы были всего в нескольких верстах, за Удаем, от Городища. Намекали, что между ними была какая-то связь по масонским делам, и что будто бы, когда к Кирьякову приехал какой-то таинственный человек из Петербурга, то сейчас же посылались нарочный за Паульсоном. Но это, кажется, плод фантазии. Едва ли они часто виделись. Показной дилетантизм одного не ладился с совершенной непосредственностью другого. Во всяком случае, за мою память, никто из Кирьяковых не бывал на балах у Паульсона.



Я говорил уже, что паульсоновские балы вносили в жизнь тогдашних людей известный подъем, давали пищу мечтам. Мечтал и мой дядя, человек уже тогда на шестом десятке жизни. “Что за прелесть эта Анна Андреевна. Вот бы тебе на ней жениться, — говорил он мне. — А знаешь, если б только ты вздумал жениться, и я бы сейчас же сделал предложение.

Юлия Семеновна давно уже мне нравится; она уже не самой первой молодости, и я уверен, что отец ее был бы счастлив выдать ее за солидного человека... Вот зажили бы мы славно двумя семьями в Пятигорцах”.

Тети сидели и молчали. Они думали: “Как мы тебя упрасивали после смерти твоей первой жены, чтобы ты вторич-

но женился и отдался мирной, спокойной и почетной семейной жизни... Этого в свое время не случилось... Теперь уже поздно”.



Паульсон не выдержал. Приемы его разорили. Постепенно он перешел на содержание к своему управляющему, который после его смерти купил с торгов его имение. Оно было, кажется, еще раз продано и теперь оно принадлежит Горвицу.

Как-то позднее, приехав в отпуск, я слышал от дяди такой рассказ: “Ты ведь знаешь, что раз в год Паульсон принимал поездку, чтобы побывать у всех знакомых, собиравшихся к нему на балы. Он выбирал для этого, обыкновенно, самое сухое, осеннее время, когда никто не выезжает со двора и когда, следовательно, всех можно застать дома. Выезжал он надолго в карете шестеркой лошадей, брал с собою книгу, закрывал все стекла и отдавал себя в распоряжение кучера, фореитора и лакея: “Вези, как знаешь!” Такой уж был у него характер во всех делах... И вот в один из таких глухих ноябрьских дней приехал он ко мне; пробыл целый день, много мы с ним говорили, как всегда, но я заметил в нем что-то особенное, как будто бы какую забывчивость, растерянность... Как всегда, он оставался у меня ночевать, ему приготовили комнату рядом с бильярдной и, когда все разошлись, мне пришло на мысль заглянуть к нему, чтобы еще перекинуться словом перед сном. Вижу, и что же. Сидит он в кресле, а перед ним на столе его погребец; из погребца вынут большой хрустальный графин водки, а перед графином стоит полный стаканчик... Он несколько смутился. “Вас это удивляет, мой дорогой друг, — говорил он заплетающимся голосом, — да это — падение... я не могу теперь заснуть без этого...” А по лицу его катятся слезы”.

❧ VIII ❧

Воспоминания о Паульсоне заставили меня много уклониться в сторону. Возвращаюсь в Пятигорцы к дяде и тетям.

Приходит и на память случай, сам по себе незначительный, но послуживший как бы прологом больших событий, оказавших влияние на строй Пятигорской жизни.

Это было в конце 1857 г. Сидим мы по обыкновению перед ужином в дядине кабинете: он, тети и я. В кабинете темно, свет доходит только из столовой, через комнату. Я говорил уже, что в Пятигорцах любили сидеть в сумерках в полутемноте. Так казалось уютнее, и разговоры приобретали как будто более душевный характер. На дворе мороз и метель. На окнах видны полосы снега, набивающиеся над переплетами. В доме и на дворе тихо. Изредка слышны только порывы вьюги. Вдруг дядя прислушивается своим чутким ухом и говорит: “А ведь я слышу колокольчик”. Все мы начинаем прислушиваться. “Это еще на горе, — говорит дядя. — А вот теперь спустился, едет мимо усадьбы Григория Ивановича...” Слышим теперь колокольчик и все мы, и так как он миновал усадьбу Ивахненкова, то не остается сомнения, что кто-то едет к нам.

Действительно, колокольчик умолкает у наших ворот и, судя по лошадиному топоту, подъехал какой-то грузный экипаж. “Кто бы то мог быть, — догадывается дядя, — в такую ночь, конечно, всякий выедет с колокольчиком; и уж если выехал, то, вероятно, по экстренному делу”.

Отперли ворота, колокольчик зазвенел по двору, Фома выбежал встречать приезжих, и минуту спустя входит и таинственно докладывает чуть не на ухо дяде: “Господин Познанский”. “Проси”, — говорит дядя, никому и ничему не удивляющийся очень наглядно.

Фамилия Познанского была известна в губернии. Он был значительное лицо в Полтаве, был отставной кавалерист, носил большие усы, служил раньше чуть ли не по коннозаводству, и в данное время был, кажется, членом губернского депутатского собрания. Но какое дело могло его привести в Пятигорцы, да еще в такую ночь?

Входит Познанский. Фома зажигает свечи, дядя знакомит его со своими сестрами, представляет ему и меня, и завязывается общая беседа, разумеется, прежде всего о такой метели, о дурных дорогах из Лубен в Пятигорцы, об опасных косогорах, о том, что тут легко сбиться с дороги, потом пересчитали общих знакомых в Полтаве, и после некоторой заминки Познан-

ский говорит: “Я думал быть у вас гораздо раньше и сегодня же выехать в Лохвицкий уезд к Степану Степановичу Высоцкому. Мне нельзя терять времени, а потому прошу позволения выехать завтра, как можно раньше, а сегодня уделить мне час-другой для очень серьезного дела, которое я имею передать вам по поручению нашего губернского предводителя дворянства князя Льва Викторовича Кочубея”.

Дядя предлагает ему сначала с дороги отогреться, поужинать, а потом предоставляет себя в его распоряжение хоть на целую ночь.

Так и сделали. На другой день утром, когда мы вышли к общему кофе, Познанского уже не было. Дядя пришел серьезный и как бы задумчивый. Когда кончили кофе, он позвал всех нас к себе в кабинет, тщательно закрыл все двери и начал вполголоса: “Вам, конечно, интересно знать, зачем ко мне приезжал Познанский. Дело чрезвычайной важности и дело чрезвычайно секретное, такое секретное, что о нем не должно быть сказано ни слова, пока оно не будет объявлено во всеобщее сведение высшей властью. Вопрос идет об освобождении крестьян из крепостной зависимости. Губернский предводитель сообщает всем нам, уездным предводителям, через Познанского, что государь твердо решил принять безотлагательные меры для освобождения крестьян. Сведения эти дошли до Кочубея частным образом, и он поручил Познанскому как человеку, умеющему говорить, потолковать обстоятельно об этом с нами и поразведать у нас, не отзовется ли дворянство Полтавской губернии самостоятельно на эту меру и не будет ли оно склонно повергнуть на высочайшее благоволение свою полную готовность к освобождению крестьян, не ожидая имеющих быть в последствии распоряжений.

Для этого, — продолжает дядя, — безотлагательно во всех уездах будут собраны дворянские съезды. Дворяне, конечно, с готовностью подпишут всеподданнейшее прошение, но что из этого выйдет, как это дело пойдет дальше, я пока решительно недоумеваю...”

Много потом гадал дядя, а иногда привлекал и меня к этим гаданьям, каким способом можно было бы освободить крестьян так, чтобы дело обошлось совсем спокойно. Он опасался распространения слухов, будто дворянство противится освобождению крестьян.

В то время все помещики были как бы выбиты из колеи и находились в возбужденном состоянии. Смешно бывало иной раз видеть, как ваш собеседник, очень солидный господин, спешил притворять двери, как только разговор заходил об эмансипации. Мне, молодому человеку, не давали и заикнуться об этом деле. Бывало, только начнешь, сейчас раздастся “тсс...” и притворяются все двери.

Но через полгода были уже образованы губернские комитеты по крестьянским делам. Мой отец и дядя Алексей Степанович вошли в состав Полтавского комитета. Оба они много и усердно работали. Отец мой написал проект положения об устройстве быта освобожденных крестьян и первый произнес слово “мировой посредник”, указав на важное значение именно такого посредствующего элемента, как для крестьян, так и для помещиков.

За эту работу он получил письменную благодарность от Ростовцова. Дядя тоже работал, но вместе с тем он был постоянным посетителем всех собраний, балов, концертов и спектаклей, как я уже говорил, во множестве устраивавшихся тогда по случаю дворянского съезда. У него было даже нечто вроде романа, стоившего ему пары превосходных упряжных лошадей своего завода. Подарок был сделан во время катанья, в нежном увлечении; но принят он был, надо правду сказать, очень просто: как будто иначе этого и быть не могло.

По возвращении из Полтавы в кабинете у дяди появился портрет очень красивой, но несколько полной дамы. В кругу интимных собеседников он любил иногда припомнить, что это была за прелесть, эта Настасия Петровна; но о подарке он не любил вспоминать.

Знаменательный день 19-го февраля 1861 года не отразился какими-либо заметными последствиями на жизни в Пятигорцах. Алексей Степанович вернулся из Полтавы с некоторыми запросами для своей домашней жизни. Он оклеил комнаты новыми обоями, появились новые канделябры, новые сервизы и стала готовиться новая модная мебель бывшими крепостными, но искусными столярами из Поставмук и Городища, по образцам, одобренным Паульсоном и другими знатоками. Правду сказать, мне было жалко прежней старой мебели красного дерева, может быть неудобной, но солидной, серьезной и всег-

да импонировавшей мне в моем детстве. Но требования моды были, разумеется, сильнее всяких личных желаний.

Вообще наступила как бы кульминационная точка в барстве Алексея Степановича. Обеды и ужины сервировались параднее. Камердинер Фома стал появляться в зеленом полуфраке со светлыми пуговицами; лакей Степан подавал в перчатках даже и за домашним столом. После обеда вместо турецкого дюбека закуривался иногда тонкий упман.

Но как это всегда бывает и в истории, и в жизни каждого отдельного человека, и даже в окружающей нас неодушевленной природе, полный расцвет заключал уже в себе и начало разложения. Началось с того, что Алексей Степанович прекратил винокурение. Прежде это был даровой труд, теперь он обратился в труд наемный. Потом, винокурение производилось от избытка хлеба, теперь, при изменившихся условиях барщины, такого избытка не было. Разумеется, другой человек помоложе и предприимчивее сумел бы выйти из этого и из многих других появившихся затруднений. Но Алексей Степанович, осевший на своем барстве, не мог и, главное, не хотел этого делать. Он как-то на многое махнул рукою: “хватит с меня и того, что у меня есть!” И правда, ему еще надолго хватало. Сложив с себя звание предводителя дворянства, он был избран мировым судьей и превосходно исполнял эту должность. Он стал даже популярным человеком в этом звании. Своею ровностью, своим разумным, спокойным словом он приводил иногда к благоприятному окончанию очень запутанные дела.

Я видел его в этой должности в 1866 и в 1870 году. Он любил, когда у него в камере присутствует публика, и меня приятно поражало то достоинство, с каким он делал свое дело. Камера была, к слову сказать, рядом с бильярдной. Это была та самая комната, в которой прежде приготавливали ночлег для гостей.

Так дело шло до смерти тети Анны Степановны. Она была старше Алексея Степановича и ревниво наблюдала за сохранением в своем доме достоинства, приличествующего почтенному дворянскому роду. Она умерла в 1872 г., и с тех пор стал постепенно замечаться видимый упадок этой порядочности. Надо сказать, что у Алексея Степановича, с тех пор, как умерла его жена, всегда бывала какая-нибудь дама сердца. К чести

его надо прибавить, что никогда у него их не было двух или нескольких в одно и то же время, и что, по большей части, эти дамы были не из его крепостных девиц. При жизни Анны Степановны эти особы жили в отдельном доме, на другом дворе, и не смели ногою ступить в большой дом, без особого разрешения или без зова Анны Степановны. По этому поводу у нее с дядей бывали иногда, впрочем редко, острые разговоры. Алексей Степанович сердился, но все-таки подчинялся требованиям старшей сестры. Все было по наружности гладко, но только по наружности. У Алексея Степановича никогда не было детей, но своих девиц ему приходилось выдавать замуж, когда у них объявлялись женихи. Надо было выдавать им приданое; и в замужестве эти девицы производили на свет довольно многочисленное поколение, о котором тоже надо было втихомолку заботиться. Анна Степановна ни знать, ни слышать об этом не хотела. Но вот не стало этой чудной, любящей, твердой и рассудительной женщины, и весь этот подпольный мир выплыла наружу. В доме понемногу стали показываться то отцы, то матери, то дети, чтобы проведать старого скучающего барина. Барин действительно скучал и стал привыкать к этим посещениям. Особенно полюбил он детей, которых в народе стали называть воспитанниками барина. И вот понемногу эти люди, и малые и старые, решительно обнаглели. Они обставили его жизнь так, что он уже не мог без них обойтись, и стали одолеваять его сначала просьбами, а потом требованиями, которые барин спешил удовлетворять, чтобы сохранить при себе эту компанию. Обнаглел даже Фома, который прежде мог обращаться к барину только с докладами, а теперь лез к барину с советами и наставлениями, как какой-нибудь гувернер.

И вот, Алексей Степанович кому купил усадьбу, кому построил дом, на кого перевел кусок удобной земли на хуторе, кому помог хорошими деньгами для торговых предприятий. И остался он к концу своей жизни только со своим родовым имуществом, которого он все-таки не тронул; а все большое благоприобретенное им состояние пошло в эти хищный руки, и было проиграно, прокучено или пропито.

Умер он в 1882 году, приближаясь к восьмидесятилетнему возрасту, и умер все-таки как барин, произведя впечатление на окружавших его дармоедов.

Как-то после обеда эта компания развлекала его игрой в дурачки. И вот стал он, чтобы пройтись, сделал два шага и грохнулся во весь рост на пол. Один из воспитанников, тот самый глухой Ваня, который делал и скрипки, смастерил ему тяжелый дубовый гроб, и похоронили его на поэтической площадке в Грабине, у подножия горы, рядом с могилами его жены, моего отца и тети Анны Степановны...

Милая, кроткая тетя Марья Степановна прожила еще лет шесть или семь. Она очень привязалась к моей жене и проводила у нас в Пелеховщине летние месяцы. Мы тоже сердечно ее любили и усердно упрашивали жить у нас в Петербурге. Но она не могла оставить Пятигорцы, у нее было там и хозяйство, и слишком много воспоминаний. В 1888 году, зимой, она неожиданно скончалась, и не было при ней никого из своих, чтобы закрыть ей глаза...

Так умерли последние Райзеры...

Потомство этой фамилии по боковым линиям Кореневых, Бутовских, Скаржинских многочисленно, но прямого потомства по мужской линии представители этой фамилии не оставили. Это — прекратившийся род...





Полтавский губернский комитет. Под № 33 отец А. Д. Бутовского



Генерал-лейтенант М. Д. Бутовский (младший брат Алексея Дмитриевича, 1850 года рождения). Военный писатель. Некоторые его сочинения изданы на немецком, французском, румынском и болгарском языках



Полтава времен Алексея Бутовского. Александровская улица

В родном гнезде¹

(Летопись рода Бутовских)



I

Я родился в Пятигорцах², но детство свое я провел в деревне Пелеховщине Кременчугского уезда. Это было родовое имение моего отца. Тут не было того, что мне так нравилось в Пятигорцах, и особенно в Поставмуках. Это была гладкая, безводная степь. Ближайшие реки протекали верстах в двенадцати от нас; тут Сула впадала в Днепр, образуя бесчисленные рукава. У устья Сулы раскинулось большое село или местечко Чигрин-Дуброва, хорошо известное нам потому, что тут же по соседству были наши заливные луга, или как их называют помалорусски “плавни”. В старину Чигрин-Дуброва была местом расположения казачьей сотни Лубенского полка. Сотня так и называлась Чигрин-Дубровской.

Эта гладкая степь имела, однако, свои привлекательные стороны. То там, то сям на ней издали виднеются малорусские курганы, и когда вы всходите на такой курган “или могилу”, перед вами открывается необъятная перспектива. Эта головокружительная даль меняет свой характер, свою окраску, свою ясность не только по временам года, но и по часам дня. Весной, в то далекое время, это было зеленое царство, испещренное яркими полевыми цветами, а там далеко на горизонте, в весенней мгле, вы замечали какое-то волнение, как будто двигались какие-то большие стада. “Это святой Петр овец гонит”, — поясняли вам старые люди. “Придет Петров день и не будет больше петровых овец до следующей весны...”

¹ В родном гнезде (Летопись рода Бутовских). — Петроград, 1916. — 95 с.

² См. “Прекратившийся род”.

Осенью степь окрашивалась яркими тонами скошенных полей и сжатых нив. Едете вы в теплый осенний день и вдруг вам видится вдали, обыкновенно где-нибудь под группой деревьев, большое водное пространство; вода ярко блестит, как бы отражая солнечные лучи. Приближаетесь, и все это вдруг исчезает: это был мираж.

Но в течение дня степь несколько раз меняет свой облик. Выйдя ранним утром, с восходом солнца, и повернувшись на запад, вы с изумлением замечаете, что перед вами открывается нечто такое, чего вы не видите в другие часы дня. Вон там, за Сулой, тянется высокий нагорный берег; он постепенно удаляется, но глаз ваш может далеко следить за ним и различать стоящие на горе церкви, целые ряды ветряных мельниц, иногда даже сады и избы, спускающиеся по берегу. Днем ничего этого не видно, а теперь вы различаете все это в ясных очертаниях и в яркой окраске... Вечером, когда солнце склоняется уже к закату, повернитесь на восток, и перед вами в чудном освещении выступит панорама хуторов и сел с яркими белыми хатами, рисующимися на густой зелени вишневых садов и развесистых украинских верб.

В степи не только дальше видишь, но и гораздо дальше слышишь. Спускается темная зимняя ночь. Все затихает, наступает царство молчания во всей далекой темной окрестности. Но вот где-то далеко раздается собачий лай. Опытный человек сейчас уже говорит вам, что это в таком-то казачьем хуторе, верстах в семи от нас; и если спустя немного собаки залают ближе, в Кирьяковке, то сейчас же делается предположение, что кто-то идет к нам. "Некуда больше, — догадывается Кондрат, наш лакей. — Должно быть, Иван Григорьевич из Пронозовки".

И действительно, смотришь — старый дедушка Иван Григорьевич, в волчьей шубе, с плотно обмотанным шарфом и с заиндевевшим мехом на воротнике.

Отец мой сердечно рад дорогому гостю в такое глухое зимнее время. "Как это рискнули, дядюшка, так поздно, в такую темноту и в такой холод?.."

Но Иван Григорьевич ничего не боится. Его характерная высокая фигура александровской эпохи показывается в гостинной, и он с шутливой серьезностью обращается к нам, детям: "А, вот они, мои непримиримые партнеры в мельника!..."

Страшной становится степная зимняя ночь в метель, и не то что в настоящую метель, а просто когда начинается зимняя мгла, даже в лунную ночь. Светло, а ничего не видно, все гладко и никаких местных признаков. У нас рассказывалось много случаев, как люди сбивались с дороги в такое время на очень небольших переездах. Как-то раз дядя Иван Иванович, проведя у нас вечер, выехал к себе домой в Вишеньки, всего в версте от нас, часу в одиннадцатом, а прибыл домой только утром, когда уже стало рассветать. Сам он рассказывал, что, проплутав порядочно, он наткнулся на какие-то избы; показалось, что это хутор Посьмашновка, лежащий несколько в стороне от Пелеховщины и Вишенек. “Ну, теперь дорогу знаем, думаем себе... но ехали; казалось, рукой подать, а между тем, ездили долго. Теперь, кажется, дома. Справляемся, где это мы? Оказывается, опять Посьмашновка... И только на этот раз проехали, кажется, не забирая в стороны...”

Был тоже случай с новым исправником. Он знакомился с дворянами. Просидев у нас вечер, он довольно рано выехал в Кирьяковку, к тамошнему владельцу Адаму Алексеевичу Кирьякову. На другой день отец мой, встававший очень рано, слышит дорожный колокольчик. К крыльцу подъезжают сани, и в комнату входит исправник. И он и мой отец оба в изумлении:

— Я у Адама Алексеевича? — спрашивает исправник.

— Нет, вы у меня, — отвечает отец.

Исправник проезжал всю ночь. Но тут случилось и еще одно недоразумение, направившее его на ложный путь: нашу Пелеховщину в простонародии называли “Кирьячинков хутор”, а Кирьяковку называли “Майдан”. И вот под утро исправника вместо Кирьяковки проводили в Кирьячинков хутор.

Было раз, что и родители мои вместе со мной, выехав из Петрашовки, в двух верстах от нас, в светлую мгlistую ночь проездили часа четыре и приехали в Пелеховщину совсем с другой стороны.

В этой степи, такой открытой, что вы сразу обнимаете ее всю вашим глазом, есть, однако, своя таинственность, своя загадочность. Эти бесконечные горизонты заставляют вас мечтать, и в этих мечтах всегда есть оттенок какой-то грусти. Это настроение слышится и в малорусской песне... Все тут, кажется, ровно и гладко, а между тем, тут есть места, отмеченные народ-

ными преданиями и рассказами бывалых людей. Вон там к югу, верстах в двух от Пелеховщины, виднеется могила; ее называют Гайдамацкой, и старые люди рассказывали, что тут в тернах стояла когда-то гайдамацкая шайка и наводила ужас на всю окрестность. Когда это было и на какую окрестность тут можно было наводить страх, когда не так еще давно это была совершенно голая степь, — этого никто не может объяснить: “Деды наши так рассказывали, а так ли оно было, кто его знает?...”

А вот тут, совсем недалеко от Пелеховщины к северу, вышается Острая могила. Есть и в других местах Острые могилы, но эта считается почему-то особенно замечательной. Когда случается произнести это название, то вас непременно спросят: “Это какая же Острая могила?”. И на ваш ответ, что это по дороге из Горбов в Мозолеевку, близ Пелеховщины, собеседник ваш многозначительно протянет: “А!”

Тут не задаются розысками, что такое эти могилы, и даже мало различают их от другого рода могил, которые здесь называются “раскопанными”. Я не буду много говорить здесь об этом, но мне так много приходилось видеть этих раскопанных могил, что все-таки хочется сказать о них слова два. Эти могилы не имеют никакого отношения к обыкновенным могилам — курганам. Это старинные укрепленные пункты, видимо различной силы и различного значения. Можно различить передовые посты и укрепления второй линии, обыкновенно более сложные, состоящие из двух или трех ям, обнесенных высоким валом. Думают, что это казацкие укрепления, и подтверждают это тем, что они видимо устроены для спешенных кавалеристов, так как с тыльной их стороны всегда есть довольно длинный вал, укрывавший привязанных за ним лошадей; кроме того, иногда в ямах попадаются земляные насыпи для постановки пушки.

Очень вероятно, что казаки пользовались такими круглыми ямами, но если разобраться, где и в каких местах находятся такие укрепления и как они построены, то становится еще более вероятным, что это сторожевые посты какого-то очень древнего кочевого народа, менявшего свои кочевья из одной степи в другую, например, от берегов Сулы к берегам Псла, и окапывавшего место своего кочевья кругом такими сторожевыми постами.

Особенность всякой раскопанной могилы состоит в том, что когда вы всходите на ее вал, перед вами в одну сторону открывается огромное пространство, иногда на несколько десятков верст; обыкновенно это вид на реку, на Днепр, на Сулу и на заречное пространство. Посмотрите в стороны и непременно увидите вдаль, и вправо и влево, такую же сторожевую могилу. Очевидно, это было основное правило их расположения.

Но и кроме могил в степи всегда есть места, отмеченные какими-либо происшествиями или чудесами. Вот тут около Пелеховщины есть перекресток, когда возвращаешься домой в ночное время, там непременно увидишь что-нибудь несуразное. Однажды Иван Федорина, почтенный мужик, возвращался из Жовнина, с ярмарки, и что же? На этом перекрестке у него выпрягли волов и пустили гулять в поле, а он проспал себе посреди дороги в незапряженном возу, к стыду своему, чуть не до полудня. Когда он рассказывал об этом соседям, то все единогласно решили, что волов выпрягла ведьма и что она не одному ему наделала хлопот: кто-то видел на этом перекрестке большую белую лошадь, напугавшую волов, которые взяли влево и чуть не вывалили хозяина в ров. А кто-то видел на этом перекрестке просто ведьму; хотел схватить ее за косу, но она во что-то превратилась, такое маленькое и быстрое, что ее никак и схватить нельзя было...

Говаривали у нас и о кладах. Кто-то, когда-то давно, накануне Ивана Купала, проходя мимо калинового куста в господском саду, вдруг увидел в поле, как раз по направлению Острой могилы, горящую свечу. отошел немного в сторону — свечи нет; вернулся к калине — опять горит; попробовал было идти к свечке — потухло; искал, искал того места, где она горела, и найти не мог... Люди решили, что там непременно зарыт клад, да только парень не умел приняться за дело.

Этот рассказ служил обыкновенно как бы велением к другому, пожалуй, более достоверному. Проходил тут у нас какой-то человек из Молдавии или Валахии, вообще откуда-то издалека, с юга, и услышал, что наша могила называется Острой, задумался. Знал он где-то там одного человека, выходца из этих мест и тот человек говорил ему, что в степи между Днепром и Сулой есть Острая могила. Эту могилу нетрудно найти, ее знают все люди; и вот если взойти на эту могилу и повернуться

лицом к полудню, то так, в расстоянии одного гона от могилы, будет другая низкая могила, едва заметная. Не все люди ее и знают, так вот в этой-то могилке и зарыт большой клад.

Рассказали люди об этом деле моему деду, Петру Кирьяковичу. Это был человек спокойного, доброго и веселого нрава. Он сначала не придавал значения этому рассказу; но присмотревшись, что в указанном месте есть действительно чуть заметная могила, он задумал было разрыть ее и посмотреть, не найдется ли в ней и в самом деле чего-нибудь ценного. Начали рыть, работали целое утро. После обеда дед мой, по обыкновению, прилег отдохнуть, и вот снится ему старый человек странного вида. Стоит он будто бы у могилы и говорит ему: “Зачем ты тревожишь мои старые кости, так долго и спокойно лежавшие в этой могиле? Ты делаешь большой грех, который не будет тебе прощен ни в этой, ни в будущей жизни...”

Проснулся дед, пошел к рабочим, а там ему как раз и докладывают, что вырыли какие-то кости и что тут должно быть похоронен какой-то человек. Это встревожило деда; он велел бережно положить кости на прежнее место и засыпать могилу. С тех пор о кладе не было больше и разговоров.

Такова моя родная степь. Я записываю здесь мои ранние впечатления. Кто не знает степи, тому едва ли много скажут эти беглые наброски. Но тот, кому степь родная стихия, пожалуй, пробежит их с интересом и не поставит мне в упрек мои, может быть, несколько длинные описания.

II

Я был первенцем у моих родителей. У нас в деревне давно не видели господских детей и потому, вероятно, все наши люди, и малые и старые, относились ко мне в моем детстве с большим расположением. Иду, бывало, с няней по улице, и мальчишки издали провожают меня с веселыми лицами. Все гладко выстриженные, точно выбритые, с чубом, оставленным спереди надо лбом и аккуратнo обрезанным в виде четырехугольника. Тут и гигиена, и педагогика: на голове не будет паразитов и есть за что схватить, если надо будет выдрать за волосы.

Встречающиеся взрослые люди с длинными усами, бритыми щеками и подбритыми висками и затылком, норовили иногда подхватить меня на руки и ловко подкинуть, чтобы вырос из меня высокий парень. Старики ласково смотрели на меня и кивали головой из-за своих плетней.

Было у нас в Пелеховщине в то время два древних старца: дед Хома Дуброва и дед Яков Позывайло, или, как его у нас называли, Якивец. Оба они были седые, как лунь и носили широчайшие штаны “с матней”, собиравшиеся у ступни на завязках и больше похожие на женскую юбку, чем на штаны; на ногах у них были “постолы”, то есть куски кожи, обертывавшие ступню и прикрепляемые ремешками. Летом и тот и другой сидел у себя на завалинке в серой смушковой шапке и грелся на солнце.

Дед Хома был как будто немного пониже ростом и больше охотник до беседы; дед Яков был покрупнее и не такой речистый. Ничем другим, впрочем, они не были особенно заметны; просто были очень старые люди, но они передали свои имена потомству. И у того и у другого было по сыну и каждого из этих сыновей звали Павлом. И вот одному Павлу дали, по уличному названию Павло Хоменко, а другому Павло Яковенко. Так с тех пор Хоменки и Яковенки и не выводятся у нас в Пелеховщине.

От этих двух старых людей получил я первые сведения из истории Пелеховщины и из истории моего рода.

— Вы, дед Хома, пожалуй, знаете таким же маленьким и их папеньку? — спрашивает кто-нибудь.

— Папеньку?... Дмитрия Петровича? — восторженно спрашивает Хома. — Хе-е! Да я помню таким и его дедушку, Петра Кирьяковича; я уже был полупарубком, как он родился... Мы служили еще тогда покойному нашему барину Кирьяку Александровичу и разумной нашей барыне Варваре Ивановне.... Эх, давно это было, — вздыхает Хома, — мы жили еще тогда в Шушваловке...

— И-и, разумная была барыня, — протягивает как бы нехотя Якивец. — Оттож она после смерти Кирьяка Александровича выехала с сыном своим Петром Кирьяковичем жить сюда в степь. Она часть усадьбы нам отвела и господский дом построила...

— Мы барыню Варвару Ивановну помним, — говорят слушатели, кто постарше. — Хозяйка была покойница; сидит, бывало, в кресле, на боковом крыльце, девушки тут около нее работают, а она все видит и все знает, что делается на деревне. И всем она распорядится, и никого она напрасно не обидит... Тут же она у нас на кладбище и похоронена...

Была у нас тогда в Пелеховщине и еще одна живая душа, не только помнившая мою прабабку Варвару Ивановну, но и ближе всех ее знавшая. Это была старая-престарая баба Хотина, бывшая ее горничная. Любопытная это была старуха, совсем не дряхлая, худая, прямая, подвижная и как бы сохранившая еще свою девическую юркость. Не было у нее ни одного зуба и подбородок иногда высоко поднимался к носу, но это не мешало ей быть очень говорливой. Говорила она как-то истово, чинно... В ее многоглаголии не все было достоверно и дельно, но иногда ее рассказы были очень любопытны. Жила она у нас в доме на таком же положении, как жила в старину при покойной своей барыне; никакой работы от нее не требовалось, но она с чрезвычайной охотой делала все, что только было ей под силу.

У нас в Пелеховщине и до сих пор еще есть своего рода памятник бабе Хотине. Возвращалась она как-то, еще в молодости, в вербную субботу из Броварок, где мои предки были тогда прихожанами, и недалеко от деревни, в поле, воткнула в сырую землю один из прутиков освященной вербы. Прутик разросся в высокое развесистое дерево еще при жизни бабы Хотины. И теперь еще стоит эта старая верба, лет через семьдесят после смерти старой бабы.... Падали от дряхлости ее боковые стволы, но всегда на их месте начинали зеленеть новые побеги.

Хотина появлялась в комнатах обыкновенно в то время, когда для нее и для моей милой няни приносили обед или ужин. Набожно перекрестившись, чинно садились обе они на пол перед стоящей на полу на подстилке миской и начинали есть. Очень часто присаживался и я туда же, ко вкусному борщу с сухими карасями и к пшенной каше на постном масле, и слушал их разговоры. Няня моя была тихая женщина, и болтала больше Хотина. Она посвящала свою собеседницу, поставицу уроженку, в наши пелеховские порядки. Она говорила

о своей бывшей барыне, как о каком-то верховном распорядителе всякими делами. У прабабушки было два сына, Иван Кирьякович и Петр Кирьякович, у сыновей были дети и все это тяготело к прабабушке, как к центру. Жили они в селе Шушваловке, верстах в десяти от теперешней Пелеховщины. Там было наследственное имение моего прадеда Кирьяка Александровича, мужа Варвары Ивановны.

В нашей степи, между Острой и Гайдамацкой могилами, стояла одна только хатка, как раз в том месте, где теперь долина и большая верба в господском саду, и жил в ней человек по имени Пелех.

Когда умер старый Кирьяк Александрович, а сыновья Иван Кирьякович и Петр Кирьякович поженились, выехала с ними Варвара Ивановна на жительство в степь. Петр Кирьякович поселился у долины, где жил Пелех, от этого и теперешнее название деревни Пелеховщина, а Иван Кирьякович ближе к Гайдамацкой могиле, недалеко от которой были небольшие заросли дикого терна и диких вишен. Это место так и назвали Вишеньками.

Прабабушка поселилась у младшего сына в Пелеховщине; но вишеньковские господа чуть не ежедневно приезжали или приходили на поклон к Варваре Ивановне и ничего не предпринимали, не спросив ее согласия или совета.

Много рассказывала Хотина и о тетке Настасье Петровне, и о моих вишеньковских дядях и тетях, но, кажется, не все ее рассказы были достоверны. Многое она путала. От нее я знаю, однако, что дядя Иван Иванович был в свое время очень резвым мальчиком, что тетка моя Настасья Петровна была довольно балованной девушкой и что отец мой был любимцем своей бабушки.

В доме у нас висел портрет Варвары Ивановны, масляными красками, погрудной. Она изображена уже старухой с очень умным, серьезным лицом. Я бережно храню этот портрет и теперь в Пелеховском доме. Баба Хотина рассказывала мне, что писал этот портрет броварский дьякон, отец Демьян, и подробно описывала, как он приезжал для этого в Пелеховщину и где и как прабабушка садилась в кресло для сеанса. Должно быть этот дьякон Демьян был очень одаренный художник, так как прабабушка смотрит с холста, как живая.

Я помню еще и это кресло Варвары Ивановны: какое-то складное из многих перекрещивающихся фигурных решетин, вообще что-то очень стародавнее. Должно быть, в таких креслах сживали в старину казацкие чиновные люди. К сожалению, это кресло куда-то бесследно пропало.

Остались у нас и другие вещественные воспоминания о прабабушке Варваре Ивановне: это — книга “Житие Варвары великомученицы”, старинной киевской славянской печати, и толстый молитвенник, тоже киевского издания, по которому она ежедневно совершала свои молитвы.

Вот то, что доходило до меня о моих предках по слухам и по случайным воспоминаниям. Позднее я гораздо основательнее ознакомился с моей родословной. Этим вопросом очень интересовался мой отец и он один, кажется, из всех Бутовских хорошо знал историю нашего рода. Он вспомнил как-то, когда мне было уже лет 13—14 и когда я учился в корпусе, что в начале столетия были собраны материалы о нашем роде для утверждения нас, где следует, в звании родовитого потомственного дворянства; он стал деятельно их разыскивать и у себя и у других представителей нашей фамилии.

Документы нашлись. Назывались они “Список, родословная и доказательства на дворянство Хорольского повета помещиков Бутовских. Сочинен марта дня 1801 года”. Помню, что приехав летом на каникулы в 1851 году, я с любопытством их рассматривал вместе с отцом.

Я бережно храню теперь эти старые бумаги и на основании их могу дать несколько несомненных сведений о наших предках.

III

Родоначальником нашей фамилии был выходец из Молдавии Александр Юрьевич Бутовский. Какую фамилию носил он у себя дома, достоверных сведений мы не имеем, но Бутовским он стал называться уже в новом своем отечестве, вероятно, по созвучию с прежней своей фамилией. В “Родословной” говорится, что он был “благородный уроженец Молдавский” и “вые-

хал в Россию в 1730 году в царствование блаженной и вечно достойной памяти Государыни Императрицы Анны Иоановны с Молдавской нации, оставя тамо свое отечество местности и немалое число грунтов, начал продолжать службу Всероссийскому Престолу с того же 1730 года в Армии при господину Генерал-Фельдмаршалу Генерал-Фельдцейхмейстеру Лудвих Лант-Графу Гессенскому и Наследному Принцу Гессен-Гомбургскому и был при нем во всех Польских и Турецких походах безотлучно, и в сражениях находился против неприятелей Российского Государства, оказывал поверно присяжной своей должности ревностно не щадя живота и здоровья своего. Чинами происходил 1732-го октября, ротмистром Волоских-Хоренг; 1737-го апреля 8-го в Малороссийский Лубенский полк в сотню Чигрин-Дубровскую Сотником и 1763 года октября 31 числа в отставку Полковым Асаулом и будучи в чине Сотничьем там же был в походах и в сражениях с неприятелем: в 1737 в Очаковских, в 1738 и 1739 годах в Крымских; с 1746 по 1748 год по сентябрь месяц на Днепровских форпостах в команде Обозного Полкового Переяславского Безбородка; в 1750 и 1756 на линии в охранении Российских границ; в 1760 в Днепровских местах в предосторожности от неприятеля и с 1762-го года на Дону над работниками Командиром в делании Крепости Святого Димитрия Ростовского через один год, и в прочих указанных командирациях до глубокой своей старости до отставки. Между тем по именному блажению и вечно достойной памяти Государыни Императрицы Анны Иоанновны Указу пожаловано было ему Бутовскому в Малороссии, ныне в Хорольском повите состоящие деревни: Гриньки, Горбы и Сидоры, но по жалобе бывшего Сотника Чигрин-Дубровского Ивана Булюбаша, что те деревни по учиненному следствию отошли во владение ему Булюбашу, то вместо того от Войсковой Генеральной Канцелярии в 1743 году июля 4 дня определено вышеупомянутому Бутовскому в полку Лубенском в Местечке Лукомье дворов посполитых тридцать со всеми угодиями и принадлежностями на ранг Сотничества, которого имения за отбором в казну в них Бутовских во владении не имеется”.

Таков послужной список родоначальника нашей фамилии. Для удобопонятности этого документа считаю не лишним сказать два слова о тогдашнем малорусском казачьем войске.



Еще в начале XVI столетия польское правительство учредило в Малороссии двадцать казачьих “непрерывных” полков, в две тысячи каждый, назвав их по знатнейшим городам. В теперешней Полтавской губернии были полки: Переяславский, Миргородский, Полтавский, Гадяцкий, Лубенский, Прилуцкий. Каждый полк был разделен на сотни, названные также по городам и местечкам. Полки эти наполнялись выбранными из куреней и околлиц шляхетских молодыми казаками, записанными в реестр военный до положенного на выслугу срока, и оттого названными реестровыми казаками. Полками и сотнями командовали выбранные почетными “товарищами” заслуженные казаки; выбирались также и другие полковые “старшины”: полковой обозный, полковой судья, полковой есаул... Все эти выборные начальники, по словам историка, у которого я заимствую эти сведения¹, оставались в чинах на всю их жизнь и завели с тех пор чиновное в Малороссии шляхетство, или, так сказать, наследное боярство.

Чигрин-Дубровская сотня Лубенского полка занимала важный стратегический пункт на левом берегу Днепра, при впадении в него Сулы, как раз в таком месте, где заднепровские татары особенно часто пытались переправляться для набегов в Малороссию. Чигрин-Дуброва стояла верст за сто от Лубен, а потому на Чигрин-Дубровском сотнике всегда лежала большая задача самостоятельного отражения неожиданных нападений татарских орд. Назначение нашего родоначальника сотником именно в Чигрин-Дуброву показывает, что он пользовался репутацией надежного начальника отдельной части. Замечу при этом, что чин сотника был немалым чином в малороссийском полку; это была единственная действительная командная ступень после полковника. Чины другого звания, полковые обозные, полковые судьи имели свои специальные обязанности, относящиеся к командованию и управлению отдельными частями.

При отставке Александр Юрьевич получил чин полкового есаула. Это было, кажется, просто почетное звание, так как были есаулы разных рангов: полковые, войсковые и генеральные. Для нашего родоначальника это было только формальное повышение за беспорочную службу.

¹История Русов или Малой России, соч. Георгия Конискаго. М. 1846.

В этом послужном списке есть еще довольно запутанное сведение о пожаловании ему деревень и угодий. По этому поводу надо сказать, что в XVII веке в Малороссии были так называемые “ранговые деревни”, которые отдавались во владение войсковым и полковым чинам на все время действительной их службы, а по выходе их в отставку переходили к следующим заступающим на их место. Высшие “генеральные” чины получали во владение от 200 до 400 душ; “полковым” чинам жаловалось, конечно, гораздо меньше и 30 дворов в Лукомье были, по видимому, пожалованы в виде ранговых дворов для Чигрин-Дубровского сотника. Но в этом вопросе о пожаловании есть какая-то неясность: почему первоначально были ему пожалованы такие большие уже и в то время деревни как Гриньки, Горбы и Сидоры и на каком основании их потребовал себе обратно Иван Булюбаш, из этого документа не видно. Но если возможны были такие ошибки, как пожалование угодий, заведомо принадлежащих другому, то очевидно, что в то время дела о ранговых деревнях велись не в большом порядке.

Во всяком случае, надо думать, что по выходе в отставку Александр Юрьевич имел порядочное собственное недвижимое имущество, независимо от отошедших от него 30-ти посполитых дворов в Лукомье; заключаю это из того, что все сыновья его владели и людьми, и землей в местечках Еремеевке и Чигрин-Дуброве, в селах Шушваловке и Великом-Узвозе — ныне Пронозовка, в Броварках (тогда еще деревне), а также большой степью, на которую выехали некоторые из его внуков.

На моей памяти Горбы и Сидоры принадлежали уже не Булюбашам, а Родзянкам, Платону Гавриловичу и Михаилу Гавриловичу. Только в Гриньках было большое имение Булюбаша, Николая Павловича, вероятно, потомка того Ивана Булюбаша, которому были отданы все эти три деревни. Детей у Николая Павловича не было, и теперь в Гриньках нет Булюбашей.

Не буду говорить о тех походах и военных делах, в которых принимал участие наш родоначальник; эти войны первой половины XVIII века с поляками и турками известны из истории, отмечу только, что работы по сооружению крепости Св. Дмитрия Ростовского, над которыми в течение последнего года своей службы наблюдал престарелый уже Александр Юрьевич, входили в план той укрепленной линии, которая была устроена

малороссийскими казаками в защиту от татар между Днепром и Доном.

В 1737 г., когда Александр Юрьевич поступил в казачье войско, Малороссией управляла коллегия из трех чинов великороссийских и трех малороссийских, образованная в 1734 г. после смерти гетмана Даниила Апостола, а в год выхода его в отставку малороссийским гетманом был граф Кирилл Григорьевич Разумовский; Лубенским полковником, в год определения Чигрин-Дубровским сотником, был Петр Апостол.

К этим сведениям об Александре Юрьевиче прибавлю, что в старину я слышал рассказ, будто отец его, молдавский боярин Юрий, был в родстве с Кантемирами и оказал услуги Петру Великому во время Прусского похода. Этим и объясняли, почему сын его был так радушно принят в новом отечестве.

Наш старый родственник, Иван Григорьевич Бутовский, помнивший то, что молодое поколение стало уже забывать, рассказывал, что Александр Юрьевич был хорошо известен на тогдашней пограничной линии. Было даже урочище, верстах в 20 от Кременчуга, называвшееся “Шанцы Бутовского”, и только позднее переименованное в Павлыш.

Иван Григорьевич хорошо помнил также, что Александр Юрьевич был женат на Ефросиньи Иваненко, принадлежавшей к знатному малороссийскому роду. Можно думать, что эта женитьба и побудила его перейти из драгун в малороссийский Лубенский полк.

У Александра Юрьевича было четыре сына: бунчуковый товарищ Даниил, капитан Григорий, корнет Федор и возный Кирыак.

Даниил был самый богатый из братьев. Вдова его, Анна Федоровна, как видно из рассматриваемого дела, имела в Еремеевке 160 душ мужского пола, в Тимашовке 71, в Чигрин-Дуброве, в Броварках и Великом Узвозе 87. Эти последние считались наследственными ее сына Петра. Все прочие числились за ней и неизвестно, принесла ли она их своему мужу в приданое или это были родовые, унаследованные им от отца. Во всяком случае, это было имение без сравнения большее, чем имения других сыновей Александра. Следующий по богатству был возный Кирыак, но у вдовы его, Варвары Ивановны, в 1801 г. значилось всего в Чигрин-Дуброве 6 душ, в Шушваловке 37, в Броварках 1 и в Пелеховщине 1, Григорий и Федор были еще менее богаты.

Даниил Бутовский, как и отец его, служил в Чигрин-Дубровской сотне, был сотником, а при отставке получил почетное звание бунчукового товарища, равнявшееся по рангу полковому обозному, второму чину после полковника. Участвовал в войнах: в 1770 году был при осаде и штурме Бендер, в 1771 г. в Крыму при взятии Перекопской крепости и города Кефы в самом сражении. “А за открытием Киевской губернии по выбору благородного Дворянства была с 1785 года в Городижском уезде Земским Исправником три года и в продолжении оной должности находился в 1787 году во время шествия блаженной и вечно-достойной памяти Великой Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны с Киева рекой Днепром, при чем за отличность, оказанную им в этом случае, награжден знаком, золотой табакеркой овальной синей”¹.

Капитан Григорий служил в “Желтом Гусарском полку”, но обстоятельства его жизни и службы неизвестны. Вдова, его Федосья Ивановна, была еще жива в 1801 году, не была пожилой женщиной (42 г.), но не дала никаких сведений о своем муже для доказательства его дворянства.

Корнет Федор служил квартирмейстером, потом вахмейстером в Кирасирском полку и чин корнета получил при отставке.

Кирыак Бутовский “вступил в службу к письменным делам в Полковую Лубенскую канцелярию. Происходил чинами 768 значковым товарищем, в 1770 году выбран Шляхетством в сотню Чигрин-Дубровскую возным и в том чине за отлучкой в походе настоящего сотника по определению Полковой Лубенской канцелярии был на месте сотника в Сотенном Чигрин-Дубровском правлении в отправлении указных дел, и между тем исправлял и возническую должность по 1781 год, при увольнении же от службы был аттестован к повышению чина”.

Жена его, моя прабабушка Варвара Ивановна, была урожденная Кодинец, из большого имения Ракиты, где еще на моей памяти жили ее родные племянники, двоюродные братья моего деда, Федор Федорович и Дмитрий Федорович Кодинцы.

¹ Из этого мы видим, что наш город Градижск, по прежнему Городище, до открытия Полтавской губернии был уездным городом Киевской губернии.

Дмитрий Федорович долго служил в министерстве иностранных дел, занимая какую-то большую должность при нашем посольстве в Персии. Оба они умерли бездетными. Варвара Ивановне в 1801 году было 54 года.

Людей следующего поколения, по крайней мере некоторых, я уже помню; это для меня живые образы, тесно связанные с моими воспоминаниями о раннем детстве.

У Даниила Александровича был сын Петр Данилович. В год составления “Родословной” (1801) ему было уже 45 лет, он был женат и был в отставке в чине майора. У него было еще три брата, моложе его, Александр, Даниил и Василий; в 1801 году Александр был уже в отставке и женат, но ни один из этих трех младших братьев не оставил потомства и мне никогда не приходилось слышать какого-либо упоминания о них.

Григорий Александрович оставил сына Ивана Григорьевича, который родился в 1785 году и шестнадцатилетним юношей служил уже канцеляристом в Киевском губернском правлении. У него тоже были братья, старший Данило 19 лет, служивший уже в военной службе унтер-офицером, и Иосиф, 15-ти лет, живший еще при матери. Эти два последние тоже не оставили после себя детей.

У Федора Александровича не было сыновей, была только дочь Пульхерия Федоровна, она вышла замуж за пехотного капитана Петра Карловича фон Розенберга. Наши родственники фон Розенберги составили себе почетное имя своей деятельностью в северных губерниях, но мне не приходилось встречать ни одного из них уже более тридцати лет.

У Кирьяка Александровича было два сына: Иван и Петр. Петр Кирьякович был моим дедом.

Ивану Кирьяковичу в 1801 г. было 36 лет, он был уже женат и имел чин Коллежского протоколиста. Ивана Кирьяковича я не помню, он умер задолго до моего рождения. У него было большое семейство, но ни сыновья, ни его дочери не оставили после себя потомства.

Петру Кирьяковичу было в это время 30 лет; он был еще холост и значился отставным урядником бывшего Бугского казачьего полка.

Таким образом, теперешние Бутовские происходят от трех корней. Одна ветвь ведет свое начало от Петра Даниловича; другая — от Ивана Григорьевича, третья — от Петра Кирьяковича.



Вот те сведения, которые я имею о моих предках из “Родословной” помещиков Бутовских. Дело это подписано тремя лицами: вдовой Даниила Александровича Анной Федоровной, корнетом Федором Александровичем и вдовой Кирьяка Александровича Варварой Ивановной Бутовскими.

Любопытно, что обе женщины, которым надо было подписать это дело, не умели писать. За Анну Федоровну подписался “с ее веления” сын ее майор Петр Бутовский, а за Варвару Ивановну — тоже ее сын, коллежский протоколист Иван Бутовский. Это характерно для того времени: жены чиновных людей, как моя прабабушка, могли разбирать славянскую печать, но подписать своего имени не умели.

Кажется, эта “Родословная”, очень обстоятельно составленная, не была представлена в Киевское депутатское собрание, а оставалась дома. Заключаю это из того, что на имеющейся у меня рукописи я вижу подлинные подписи. Но у меня есть сведения, что еще во второй половине XVIII века сыновья Александра Бутовского в доказательство своего дворянского происхождения представили в Киевское дворянское депутатское собрание необходимые документы, и это собрание после их рассмотрения постановлением 28 мая 1784 г. признало Бутовских потомственными дворянами и определило всех четырех братьев внести в 4-ю часть дворянской родословной книги и каждому из них выдать грамоты.

По-видимому, Бутовские были внесены тогда в дворянскую родословную книгу не по собственным своим или их отцов заслугам, потому что в таком случае на основании законов они были бы внесены не в 4-ю часть, а во 2-ю; в 4-ю же часть они внесены потому, что собрание признало их и их предков происходящими от иностранных дворян еще до переселения в Россию. Тогда же, вероятно, был утвержден и герб фамилии Бутовских: на голубом поле воловья голова, на верху которой рука, держащая саблю.

В конце 40-х годов прошлого столетия отец мой Дмитрий Петрович Бутовский представил в Полтавское дворянское депутатское собрание метрические свидетельства Полтавской духовной консистории в удовлетворение происхождения его по прямой линии от Александра Бутовского; он доставил также метрики своих детей и документы о своей службе и просил о занесении его с семейством в ту же 4-ю часть родословной книги. Полтавское дворянское депутатское собрание, рассмотрев, что фамилия Бутовских уже более 100 лет пользуется в России дворянством и что происхождение Дмитрия по прямой линии от Александра доказано метрическими свидетельствами, определением 20 декабря 1849 г. внесло Дмитрия Бутовского с семейством не в 4-ю, а в 6-ю часть дворянской родословной книги, куда определило перенести и весь род Бутовских, после доставления прочими лицами метрических свидетельств. Грамота, выданная отцу 27 ноября 1850 г, подписана Полтавским губернским предводителем дворянства Иваном Скоропадским и девятью уездными депутатами.

Однако Правительствующий Сенат указом 31 января 1851 г. не согласился с определениями, состоявшимися как в Киевском, так и в Полтавском депутатских собраниях, на том основании, что не было удостоверено должными документами, имел ли Александр Бутовский офицерский чин, когда родились у него его четыре сына. Полтавскому депутатскому собранию предложено было внести Бутовских во 2-ю часть дворянской родословной книги.

Очевидно, определение Сената состоялось вследствие непредставления некоторых существенных сведений о службе и семейном положении наших предков. Для пополнения этих сведений отец мой и изучил в 1851 г. “Родословную” рода Бутовских, составленную в 1801 году.

Мне не приходилось слышать от отца, представлял ли он куда-нибудь собранные им сведения и состоялись ли по ним какие-либо новые определения.

В моих бумагах я тоже не имею на это никаких указаний, но в настоящее время это и не важно; теперь, по прошествии более чем полувека, все потомки Александра Юрьевича Бутовского имеют почетное право, по заслугам их отцов и дедов, считаться родовитыми русскими дворянами.

IV

Деда моего, Петра Кирьяковича, я едва припоминаю: он умер 22 мая 1841 г., когда мне было едва лишь три года. В 1801 г. ему, как мы видели, было 30 лет; из этого я заключаю, что он умер на 70-м году своей жизни. Это был добрый, невысокого роста человек, гладко выбритый и в зимнее время одетый в заячий тулупчик. По утрам, когда няня приводила меня к нему, он ласково целовал меня и усаживал около себя пить кофе.

Сведения мои о Петре Кирьяковиче я заимствую отчасти из документов, собранных моим отцом в конце сороковых годов о его службе, отчасти же из слышанных мною рассказов от знавших его людей.

Он вышел в отставку из Бугского казачьего полка со званием урядника из дворян в 1797 г., следовательно, в возрасте 26 лет.

Впрочем, все эти сведения о его возрасте я не считаю безошибочными, так как в одном из позднейших документов, "именном списке", поданном о нем и о его семействе в 1834 г., ему значится не 63 года, а всего 59 лет. Следовательно, он мог выйти в отставку не 26, а 22 лет, и умер он в таком случае не на 70-м, а на 66-м году жизни. Выйдя в отставку, он поселился в Шушваловке, где жили в то время Варвара Ивановна и старший его брат Иван Кирьякович.

Женился он, вероятно, около 1804 г., так как старший из его детей, мой отец, Дмитрий Петрович родился в 1805 году.

К этому же периоду относится, по всей вероятности, и переселение Варвары Ивановны с сыновьями из Шушваловки в Пелеховщину и Вишеньки.

Жена Петра Кирьяковича, Анна Васильевна, происходила из рода Пещанских, помещиков Херсонской губернии. Можно думать, что она умерла очень рано, так как мне не случалось слышать о ней никаких воспоминаний; но с Пещанскими, ее херсонскими родственниками, наша семья всегда сохраняла хорошие отношения.

Кроме моего отца, у деда была еще одна только дочь — Настасья Петровна.

В 1807 г. Петр Кирьякович, по избранию полтавского дворянства, поступил сотником в образованное тогда Полтавское земское ополчение, а когда ополченские сотни были преобразованы в батальоны, определен казначеем и квартирмейстром в 3-й батальон третьей бригады земского ополчения.

В 1808 г., по заключении Тильзитского мира, ополчение было распущено и дед мой вышел в отставку с чином коллежского регистратора, с пожалованием золотой медали на владимирской ленте в память этого ополчения и с правом носить ополченский мундир.

В 1814 г. деду была препровождена маршалом Полтавского дворянства, Алексеем Данилевским, бронзовая медаль в память войны 1812 г.

Где и у кого учился мой дед, я не знаю, но писал он довольно правильно и складно, что видно из сохранившихся у меня его писем к моему отцу во время его службы.

Дети его воспитывались под присмотром и руководством своей бабушки, Варвары Ивановны, которая, как надо думать, всю свою жизнь прожила в этой семье.

Умерла она на 84 году жизни 24 марта в 1829 г., и внуки вспоминали о ней с большим уважением.

Это событие было записано дедом, по тогдашнему обычаю, на полях в старом молитвеннике, куда отец записал и его кончину, и дни рождения своих детей.

По рассказам помнивших его людей, дедушка Петр Кирьякович был нрава мягкого и веселого. Родные охотно его навещали, и Настасья Петровна очень любила устраивать для гостей, особенно для своих вишеньковских и петрашовских родственниц, разные деревенские развлечения, то переодевание, то поездки в зимнее время по первопутку, то танцы.

В 1834 г. она была уже замужем в Лубенском уезде, в деревне Пятигорцы, за помещиком Григорием Ивановичем Ивахненковым. Об этом мне приходилось уже говорить в моих прежних воспоминаниях (“Прекратившийся род”).

Отмечу здесь, как интересную черту малорусской хуторской жизни, что деда моего в простонародии именовали не Петром Кирьяковичем, а Петром Кирилловичем, но “прозывали” его Кирьяченком, а наша Пелеховщина, как я уже раньше заметил, слыла в народе за “Кирьячинков хутор”. Почему это

так вышло, трудно объяснить; южное население любит такие переименования и прозвания, но это вело иногда к смешному недоразумению, как это случилось с исправником: ехал в Кирьяковку, а попал в Кирьячинков хутор.

Отец мой имел все данные для широкой и полезной общественной деятельности. Он был человек хорошо образованный.

В детстве, когда он подросток до учебного возраста, его отдали в Хорольское уездное (поветовое) училище.

В время Кременчугский уезд, как и Полтавская губерния, только что были образованы; раньше земли моих предков принадлежали к Хорольскому уезду Киевской губернии и ближайшим просветительным центром был Хорол. В училище отец обнаружил незаурядные способности. На выпускном экзамене ему, тринадцатилетнему мальчику, поручено было даже произнести перед собравшейся публикой речь о пользе просвещения. Текст этой речи, старательно переписанный несмелой еще ученической рукой, хранится в моих бумагах¹.

¹ Для характеристики наших старинных школьных и общественных нравов считаю не лишним привести текст этой речи “Краткая благодарственная речь”.

“С живейшими чувствами глубочайшей признательности приемом посвящение ваше, почтенное собрание! позвольте мне от лица всех сотрудников моих принести вам благодарность за то участие, которое вы принимаете в торжестве нашем: тем оно приятнее, тем восхитительнее для нас, что мы в присутствии вашем показали теперь успехи годовых наших занятий и тем оправдали труды собственные и труды наставников наших. Правда, сведений, доселе уже нами приобретенных, еще недовольно для отечества, оно ожидает от нас более: плоды успехов наших еще не зрелы; по крайней мере здесь, в сем мирном убежище наук, получили мы первые образования ума и сердца, приобрели первые, самые необходимые сведения для человека — здесь показаны нам все средства для достижения той высокой цели, которая столь явственно отличает воспитание от грубого невежества; здесь, говорю, вопреки мнению неблагоприятных, показан нам беспрепятственный путь к дальнейшему прохождению трудного поприща наук”.

“Щастливы мы, щастливы стократно, что родились во время Благословенного царствования Премудрого Александра, пекущегося об образовании юных умов и сердец: прими же чадолюбивый Монарх, сидящий на Севере во славе сердечную дань любви от юнейших чад твоих, обитающих на Юге России! да воссияет имя твое подобно имени Августа и Тита в истории рода человеческого”.

“Говорена при публичном испытании учеников Хорольского поветового училища 1818 г. июня 26 дня учеником сего училища второго класса высшего отделения Дмитрием Бутовским”.

Возможно, что речь была тронута рукою учителя, но это не умаляет ее значения, как характерного педагогического документа того времени, особенно, если принять во внимание, что ее произносил маленький ученик.

Из училища он перешел в Полтавскую гимназию, из гимназии в Харьковский университет, который и окончил действительным студентом нравственно-политического факультета.

По окончании университета, в 1827 г., он определился в канцелярии киевского военного губернатора, но пробыл там недолго; в 1828 г. он поступил на военную службу и, по тогдашним правилам, прослужив шесть месяцев юнкером в Низовском Егерском полку (2-й армейский корпус, 7-я дивизия), был произведен в тот же полк прапорщиком.

Полк его находился в то время сначала на юге в Одессе, а потом в Западном крае, и менял свои квартиры от Гомеля до Гродно, от Гродно до Смоленска и т. д. В 1831 г. отец принимал участие в усмирении шаек польских мятежников в губерниях Западного края.

Как офицер с университетским образованием, отец обратил на себя внимание начальства. 5-го апреля 1834 года он получил такое предписание за подписью своего командира полка, полковника Падейского: “Низовского Егерского полка господину подпоручику Бутовскому.

В следствие отношения ко мне дежурного штаб-офицера майора Маковеева от 4-го сего месяца за № 930, предлагаю Вашему Благородию с получения сего отправиться в Корпусную Квартиру г. Плоцк и явиться в Корпусное Дежурство, для исправления в оном должности Старшего Адьютанта...”¹.

Отец охотно принял на себя эту должность адьютанта в корпусном дежурстве, так как это была ступень, обещавшая ему незаурядное движение по службе. Работа, сопряженная с этой должностью, вполне соответствовала его характеру и наклонностям. Но дед мой, выдав дочь замуж и чувствуя свое одиночество, а вместе с тем и упадок сил, вызвал его управлять имением.

Отец вышел в отставку осенью 1836 г. с чином штабс-капитана.

По-видимому, и в годы учения и на службе он пользовался расположением своих товарищей. У него завязались теплые отношения, которые поддерживались до конца его жизни.

¹ Сохраняю правописание подлинника.

Припоминаю, что, отдавая меня в Полтавский кадетский корпус, он встретил там, между служащими, двух своих гимназических одноклассников: полковника Александра Михайловича Ярошенко, занимавшего должность полицмейстера, и доктора Исаева — старшего врача корпуса. Александр Михайлович рассказывал мне потом, что отец мой, находясь в должности адъютанта, узнал его в корпусном штабе, куда он являлся молодым офицером по делам службы, обошелся с ним очень тепло и охотно облегчил ему исполнение всех служебных формальностей.

В Полтаве был и еще один товарищ отца по гимназии, Иван Иванович Боровиковский. В конце сороковых годов он был инспектором гимназии, и в то время я бывал у него с отцом раза два или три.

Иван Иванович был родным племянником известного живописца Владимира Лукича Боровиковского, и я помню, что он охотно рассказывал отцу о своем дяде. Помню также превосходную небольшую икону нерукотворенного образа работы великого художника, на которую мой отец всегда смотрел с большим благоговением.

Из университетских товарищей отца я близко знал Андрея Васильевича Остроградского, родного брата известного математика Михаила Васильевича. Это был богатый помещик Кобелякского уезда; крупный человек живого и отзывчивого нрава. Он был хорошо образован, свободно говорил по-французски, читал *Journal des Debats* и по тогдашнему времени был романтиком и даже отчасти мистиком. Многие явления в жизни он склонен был объяснять таинственными влияниями.

Когда отец возил меня в Полтаву, мы обыкновенно заезжали к нему, в его имение Пашенную, и оставались там целый день. Он был сердечно привязан к моему отцу. Раза два, три в год, навещая свою дочь, бывшую в замужестве за Николаем Осиповичем Милькевичем в Тереняках, в девяти верстах от нас, он бывал и в Пелеховщине, и это был настоящий праздник для моего отца.

Хорошо помню также и другого университетского товарища отца, Харлампия Даниловича Здорова. Он был директором Хорольского уездного училища. Выйдя в отставку, он

поселился с двумя своими сестрами в Решетилловке, большом местечке между Хоролом и Полтавой, где у него была наследственная усадьба. По дороге в Полтаву отец мой непременно заезжал ночевать к Харлампию Даниловичу. Это был простой и добрый человека, большой любитель и знаток малороссийской старины. Припоминаю, что у него видел грамоту, подписанную Мазепой, а на стенах превосходные литографии работы Шевченко.

Университетские связи были тогда очень тесны, поэтому неудивительно, что и Андрей Васильевич Остроградский, по пути в Полтаву, тоже непременно останавливался у Здорова. Эти приятельские отношения между тремя сверстниками продолжались всю их жизнь. У Здорова была сестра Мотрона Даниловна, типичная малорусская полумещанка, полубарыня; она радушно и заботливо принимала друзей брата.

В Низовском полку мой отец дружески сошелся с Дмитрием Михайловичем Старицким, который был также его одноклассником по гимназии. Старицкий был помещиком Константиноградского уезда.

Я говорил уже о Дмитрие Михайловиче (“Прекратившийся род”), как об очень талантливом актере, особенно в малороссийских пьесах. Скажу здесь, что это был человек превосходного сердца и доброго, веселого нрава. Случилось так, что сын его, Миша, учился в том же пансионе Ганнота, где и я. В суровую зиму 47-го года отец мой не решился взять меня домой на рождественские праздники. Дмитрий Михайлович, узнав, что я остаюсь в городе, взял меня к себе в свою Ладыженку, верстах в сорока от Полтавы. И он и милая его супруга, Екатерина Лаврентьевна, были чрезвычайно добры ко мне. Припоминаю, что вместе с Мишей мы провели праздники так весело и разнообразно, что нам ужасно не хотелось возвращаться в пансион. Оба мы плакали. Дмитрий Михайлович шутовски говорил нам, что мы пошли не в отцов: те никогда не уклонялись от своих обязанностей.

По выходе в отставку ему не приходилось встречаться с моим отцом до 1858 г., когда отец мой приехал в Полтаву как член комитета по крестьянским делам. Но зато как сердечно, как дружески встретились они после с лишком двадцатилетнего перерыва.

Помню я и другого сослуживца отца по Низовскому Егерскому полку, Василия Николаевича Сухинского. И тут случилось так, что сын его Дмитрий, чудесный мальчик, был моим одноклассником в Полтавском корпусе. Услышав от меня эту фамилию, отец мой восторженно встрепенулся. Это был его приятель, о котором он вспоминал, как о герое, тяжело раненом в турецкую кампанию 1829 г. и, по рассказам, стойко выдержавшем болезненную процедуру извлечения пули. Тогда не было еще анестезирующих средств; но Василий Николаевич лежал, не проронив ни звука, и попросил только позволения закурить трубку.

Рассказывали, что при этом присутствовал адъютант Великого Князя Михаила Павловича, Ростовцов, и пришел в восторг от такой удивительной выносливости.

Мой милый товарищ, Дмитрий Сухинский, умер кадетом, но отцы наши свиделись, когда он был еще жив, и это было тоже очень трогательное свидание.

V

Выйдя в отставку и поселившись в Пелеховщине, отец мой временами ездил в Пятигорцы к своей сестре и ее мужу и проводил у них обыкновенно по несколько дней. Пятигорцы, как мне приходилось уже говорить, находятся в Лубенском уезде, верстах в семидесяти от нас. Тут он познакомился с семейством фон Райзер и летом 1837 г. сделал предложение средней из трех сестер, Надежде Степановне. Осенью состоялась свадьба. Скажу к слову, что венчал их в селе Юсковцах священник Иван Яновский, который через год крестил меня, лет через двадцать пять венчал мою сестру Ольгу Дмитриевну с Александром Васильевичем Кореневым, а спустя еще лет десять венчал моего брата Федора Дмитриевича с Надеждой Григорьевной Ивахненковой.

Родители мои поселились в Пелеховщине. Дедушка Петр Кирьяковичь очень привязался к моей милой, кроткой и любящей маме. Он прожил еще почти четыре года после их свадьбы, и я думаю, что эти годы были спокойными и приятными годами для старого человека.

Мне приходится теперь говорить о моем детстве. То, что складывается о нем в моей памяти, может быть, и не всегда отвечает действительности, но, во всяком случае, в моем воображении живут картины и образы, на которых мне хочется остановиться, так как с ними связаны мои далекие, отрадные для меня воспоминания.

Нас было семеро детей у наших родителей: пять братьев и две сестры. По возрасту мы следовали так: после меня сестра Ольга, потом братья Владимир, Федор, Николай, Евгений и сестра Мария. Разница в годах была большая; Маша родилась в год моего производства в офицеры, когда мне было уже 18 с половиной лет.

Мы жили дружной семьей и жизнь наша протекала в полном спокойствии и равновесии. За всю мою молодость я не припомню, чтобы это спокойствие было когда-либо поколеблено какими-нибудь семейными несогласиями.

Мы любили отца, но, вместе с тем, не скажу боялись, а признавали его непреложный авторитет.

Это был сложный характер. Он был живого нрава, отзывчив, чуток, прекрасно владел речью, всегда и везде он был интересным собеседником и был замечен в обществе. В житейских своих отношениях он был человек очень добрый. По живости характера он легко возбуждался, но сразу остывал и становился добр до слабости. Это хорошо знали все наши люди; они любили и уважали отца, охотно делали в угоду ему многое, чего не делали для других господ крепостные люди, но случалось, что и пользовались его сердечностью. Хозяйство шло у него недурно, но оно могло бы идти гораздо лучше, если бы у него было не так много этой сердечной снисходительности. На это не раз дружески указывал ему мой дядя Алексей Степанович.

— Твой отец, — говаривал он мне, когда я был уже офицером, — остается поэтом и в своих хозяйственных делах, и это, конечно, тормозит иногда его хорошо задуманные предприятия...

При таких свойствах своего характера, отец мой был в высокой степени точен в исполнении всего того, что он считал своим нравственным или служебным долгом. В этом отношении он доходил даже до мнительности и часто тревожился

тем, что не сделал и не мог сделать того-то и того-то. Это была другая сторона его характера, и люди близко его знавшие могли различать в нем эту двойственность: обыкновенно веселый, разговорчивый, снисходительный человек становился вдруг озабоченным, молчаливым, иногда нетерпеливым... Но такие колебания были редки.

Обыкновенно его высокая нравственная добросовестность хорошо сочеталась с его живым нравом, и в таком уравновешенном состоянии он был прекрасным любящим мужем, чудесным отцом и образцовым воспитателем своих детей.

Вдумываясь теперь в его характер, я не могу утверждать, что это преклонение перед долгом было в его натуре, но тем почтеннее и тем удивительнее представляется он мне теперь: никогда и ни в каком отношении не изменил он себе в наших глазах. Никогда не позволял он себе в нашем присутствии легкомысленного отзыва в разговоре о вещах, требующих уважения, никогда не видели мы у него ни одного поступка, идущего вразрез с теми понятиями о нравственных обязанностях, которые он хотел запечатлеть в нас с детства.

Понятно поэтому, что и мы рано научались различать наши обязанности от наших удовольствий, и делалось это не словами, не нравоучениями, не наказаниями, а тем примером, который мы всегда имели перед глазами. Довольно было, чтобы отец сказал кому-нибудь из нас с тем серьезным видом, который он один умел принимать: “Боже сохрани, чтобы мой сын когда-нибудь допустил себя до этого...”; это становилось чем-то неизгладимым в нашем сознании.

И между тем, это был человек, охотно идущий на шутку, любящий поговорить, позабавиться и посмеяться.

Практическая жизнь притупляет остроту детских впечатлений, но воспринятый в детстве принцип остается жить в человеке до конца его дней и является обыкновенно бессознательным направителем его поступков.

Нашу милую маму все мы любили с детской теплотой и сохранили эту любовь до конца ее жизни. Она удивительно умела согреть домашний очаг своим чистым любящим сердцем. Уже взрослыми людьми, после смерти отца, мы приезжали к ней в Пелеховщину, как в какое-то заветное место, в котором для нас воскресали милые детские воспоминания, а наша чудная мама

своей негаснущей любовью заставляла нас снова чувствовать себя детьми.

Она много сделала для нашего душевного развития. Еще в детстве, слушая ее или читая вместе с ней, мы научались понимать прекрасное в родной поэзии; она была сама очень чутка к красотах природы и не упускала случая пробудить в нас такое же чувство; часто рассматривая с нами книжки с картинками, она указывала нам то особенно хорошее, на что следовало обратить внимание, и мы положительно обязаны ей чуткостью ко всему прекрасному в литературе и искусстве.

Семья наша редко бывала в полном сборе. По мере того, как мы подрастали, нас отдавали — братьев в Полтавский кадетский корпус, сестер в Полтавский институт. Правила тогдашних закрытых заведений и отсутствие железных дорог вело к тому, что некоторые из нас, особенно старшие, подолгу не бывали дома.

Я после перевода из Полтавского корпуса в Дворянский полк не был дома свыше четырех лет. Случалось, однако, позднее, когда я был уже офицером, а Ольга Дмитриевна окончила институт, что мы собирались все вместе, и какие это были веселые, полные жизни счастливые дни.

Несмотря на большую разницу в нашем возрасте, всех нас вынянчила, одного за другим, одна и та же старая няня Агафья Федоровна. Родом она была из Поставмук и приехала в Пелеховщину вместе с мамой. Она была маминой кормилицей и потом ухаживала за всеми ее детьми. Это была добрая, высоконравственная, глубоко религиозная, простая женщина, тихая, молчаливая и трогательно преданная маме. Нас, детей, она берегла, как зеницу ока, и все свои мысли и всю свою заботу сосредоточивала на нас. Она пела нам наивные и мелодичные малорусские колыбельные песни, она рассказывала нам интересные, то волшебные, то забавные, малорусские сказки; она положительно не отходила от нас, когда нам нездоровилось; с ее небольшой дочкой Марусей мы играли в домашние малорусские игры и все мы очень были привязаны к нашей доброй няне. Все мы научились у нее малорусскому языку так твердо, что не забываем его до преклонного возраста.

IV

Наш детский день был обыкновенно хорошо заполнен.

Конечно, веселье и скука — понятия относительные. Моя гувернантка Юлия Осиповна Санковская скучала в Пелеховщине, и меня отвозили с ней в Пятигорцы в надежде, что ей там будет веселее; меня, однако, оставляли там не для развлечения, а, напротив, думали, что там буду сосредоточеннее учиться. Расчеты эти, сколько помню, не оправдывались. Юлия Осиповна скучала в Пятигорцах не меньше, чем в Пелеховщине, а меня там баловали, пожалуй, еще больше, чем дома. Тетя Анна Степановна души во мне не чаяла.

Наш деревенский дом был невелик, но вместителен; по крайней мере, никогда в нем не было нам тесно. Это был типичный помещичий дом средней руки: рубленый, плотно обмазанный глиной снаружи и внутри и потому теплый зимой и прохладный летом. Уже при Варваре Ивановне он был обставлен “по-пански”, были тут и стулья, и диваны, и кресла (“по-рушньщи”, как их называла Хотина), но все это было неудобное, старое и топорное. На моей уже памяти к нам приходили из Пятигорец столяры и делали новую мебель “под красное дерево” для гостиной.

За исключением учебных часов, дети проводили у нас почти все время на воздухе, и летом и зимой; отец хотел закалить нас физически и потому требовал, чтобы после летнего дождя мы непременно снимали обувь и шли бродить по лужам босыми ногами.

Были у нас развлечения во все времена года. В осеннее или зимнее ненастье у нас были и книжки, и игры, и нянины сказки. Окончив утренние уроки или послеобеденное письмо, под руководством Юлии Осиповны, бывало, с наслаждением идем гулять даже в морозные дни, и в таком случае непременно попадаешь на замерзшую лужу и начинаешь пробовать свои силы в катаньи по льду, хорошо очищенном уже деревенскими мальчишками, которые при этом случае начинают состязаться с панычом. Коньков тогда еще не было, мы скользили прямо подошвами.

У нас в Пелеховщине был большой сад, со старыми развесистыми дубами и вербами, с высокими берестами и сере-



брыстыми тополями... Теперь он стал вдвое больше благодаря работам моей милой жены, но и тогда он был велик для обыкновенного господского сада. Деревья были так крупны и так богаты зеленью, что нашу Пелеховщину можно было издали отличить между всеми соседними селами, деревнями и хуторами. Бывало, возвращаешься с дальней поездки и верст за восемь уже радостно показываешь маме: “Посмотрите, вон и Пелеховщина уже видна”... И действительно, ее ясно можно было различить в степной дали.

Отец и мать очень заботливо ухаживали за садом. Отец насадил в нем длинную липовую аллею, она и теперь является лучшим его украшением и представляется мне как бы памятником, который воздвиг себе отец в родной Пелеховщине.

Его же заботами выращены те огромные клены, которые окаймляют наш сад.

Мама отдавала много забот фруктовым деревьям, и мы наслаждались в нашем детстве превосходными грушами, яблоками, сливами, вишнями.

В стороне от липовой аллеи стояла большая пасека, тихое укромное место с несмолкаемым гуденьем пчел, с образом Зосимы и Савватия в глубине под небольшим навесиком и с дедом Моисеем, всегда чем-то серьезно занятым у своей катраги и говорящим не иначе как отрывисто и вполголоса. Говорили, что пчелы никогда его не кусали.

По другую сторону сада в “долине” была копанка, всегда полная воды и прячущаяся в высоких осококах. Должно быть, у этого самого места и жил старый Пелех, давший свое имя нашей деревне.

Мы, дети, целыми летними днями гуляли в саду, и я думаю, что он у всех нас остался в воспоминаниях, как милое, родное место.

Когда я погрел, отец мой стал довольно часто брать меня с собой по хозяйству. Ему хотелось, чтобы я узнал всех наших людей и чтобы люди часто видели меня и полюбили.

Подходим мы, бывало, к косарям, он приветливо здоровается с ними, говорит общепринятое в Малороссии у рабочих людей “помогай Бог” и требует, чтобы и я с ними непременно поздоровался. Случается при этом так, что какой-нибудь Олекса или Иверко подносит мне выкошенное перепелиное гнездо,

полное яйцо, и объясняет, что они нарочно оставили его для паньча. А то бывало и так, что под косой у разумного Павла Дубровы оказывается конфета, и он зовет меня: “А пожалуйста сюда, паньчу, не разберете ли вы, что это такое?..”. Такими приемами отец мой хотел приохотить меня к хозяйству. Подобным же образом вел он и других моих братьев.

В хорошую погоду мы ездили иногда всей семьей на косовицу в “плавни”, верст за 15 от дому, и иногда оставались там и на ночь под шатром, устроенным из ковров и крестьянских вил. Эти плавни лежали близ Чигрин-Дубровы, на рукавах, отделяющихся от главного русла Днепра. Это были славные дни: мы, дети, купались, бродили босиком по песку, собирали разнообразных раковинки, ходили с кучером Ванькой на охоту, ловили рыбу с заправскими рыболовами и потом вечером, проголодавшись, с наслаждением ели уху и гречневые галушки или пшеничный кулеш. Одно неудобство было в плавнях, это — комары; они не давали мне спать и потом я целую неделю носил волдыри на лице, на шее и на руках.

У отца был небольшой, но превосходный конский завод. Были две чудные лошади с дипломами, свидетельствовавшими об их породистом происхождении, Леопольд и Снукс. Один из них резвый, изящный, блестел на солнце как червонное золото, другой — солидный, статный, гнедой масти, отличался мерными движениями и чудесно выгибал свою шею. Видя постоянно перед глазами такие красивые экземпляры, все мы естественно становились любителями и даже до некоторой степени знатоками лошадей.

Хочу отметить, что все мы особенно радовались в Пелеховщине, когда к нам приезжали из Пятигорец дядя и тети фон Райзер. Они бывали у нас по нескольку раз в год и оставались обыкновенно дней пять—шесть, а то и больше. Они очень тепло относились ко всем нам, и мы от мала до велика платили им тем же. Ожидая их, обыкновенно перед вечером, все мы, и родители и дети, выходили на Острую Могилу и смотрели вдоль дороги по направлению к Гринькам — не покажется ли вдали дормез, запряженный шестеркой с фореитором; первый почти всегда заметит папа и все мы с нетерпением ждем приближения кареты, в которую тети забирают детей помоложе, чтобы прокатить их до дому. В свою очередь, и мы несколько раз в год

ездили в Пятигорцы, выбирая для этого время, свободное от хозяйственных работ и удобное по состоянию дорог. В весеннюю распутицу, когда в Лукомье разливалась Сула, сообщение между Пелеховщиной и Пятигорцами прекращалось. Я описывал уже эти поездки в Пятигорцы в моих воспоминаниях о семействе фон Райзер (“Прекратившийся род”).

Соседи-помещики охотно у нас бывали, и когда мои родители ездили в гости, то часто брали с собой и меня, так что я с детства еще помню всех наших окрестных помещиков.

Кажется, не ошибусь, если скажу, что хотя мы не пользовались большими средствами и не могли делать роскошных приемов, но бывать у нас считалось своего рода преимуществом, так как мой отец пользовался в соседстве большим уважением, как человек образованный, твердый в нравственных правилах и очень приятный собеседник.

Раз в год у нас бывал исключительный большой прием, именно 20 октября, в день именин отца. Приезжали к этому дню дяди и тети из Пятигорец, непременно бывали все наши родственники из Вишенек, из Петрашевки, приезжал из Пронозовки Иван Григорьевич, всегда бывали близкие соседи — почтенный отставной полковник Леонтий Дмитриевич Пестржецкий со своей супругой, Валерьян Александрович и Амалия Осиповна Булюбаш, а иногда и еще кое-кто. Большинство собиралось к обеду, и мне приходится теперь серьезно удивляться тому искусству и радушию, с каким мои родители умели принять всех этих гостей. Большую помощь в хозяйственном отношении оказывала маме тетя, Анна Степановна.

В детстве моем я очень любил, когда мой отец брал меня с собой в какую-нибудь поездку. Он был превосходным спутником, разговорчивым и поучительным. Ничто встречающееся на пути не ускользало от его внимания, и по поводу всего у него был готовый рассказ. Я много узнал от него и бытовых, и исторических, и анекдотических подробностей о разных местностях и о разных людях, и старых, и новых. В Градижске, в Кременчуге и на пути в Полтаву он умел уютно расположиться на постоялом дворе (гостиниц тогда еще не было) и любил вести беседу с хозяевами.

Он вообще прекрасно приспособлялся к пониманию своих слушателей. Никто не умел говорить вразумительнее и, когда нужно, добродушнее с простым народом; он чудесно выдерживал

вал военный склад речи с тогдашними отставными солдатами. Содержатели постоялых дворов встречали его обыкновенно с большим радушием, и я думаю, никому они с такой охотой не рассказывали о разных происшествиях, слухах и толках, как моему отцу. Позднее мне приходилось слышать от этих людей, что такого барина, как Дмитрий Петрович, не было другого в околотке. Все-то он знает, все-то он выслушает, на всякий вопрос даст хороший ответ, и такой уж добрый, обходительный господин.

В дневнике у отца, в 1858 г., есть такая запись: “Приехали в Омельник (первый ночлег по пути в Полтаву), хозяин старик (Коновалов) сидит на крыльце, а уже стемнело: “Можно заехать?” “Нельзя, скот на дворе, ищите другого двора”. “Так нас и не пустите, Николай Тимофеевич?” “А! Это вы, Дмитрий Петровичу, просим покорно”. “А скот?” “Да скота немного, для ваших лошадей место будет”.

Скажу к слову, что и эти содержатели постоялых дворов, и эти дворы представляются мне теперь чем-то очень стародавним, а между тем, я много бы дал, чтобы очутиться теперь в Градижске, заштатном городе верстах в 18 от нас, на хорошо известном в то время постоялом дворе Симона Леонтьевича и Елены Петровны. Сколько эти люди знали забытой уже украинской старины!

Приезжаем мы, бывало, с отцом холодным зимним вечером в Градижск, накануне Никольской ярмарки, пьем чай с вкусными градижскими бубликами в парадной комнатке постоялого двора и отец мой непременно приглашает к чаю и хозяина, и хозяйку.

Симон Леонтьевич, высокий и худой человек с какими-то уродливыми наростами на длинном носу, говорит степенно, не торопясь, и касается больше градижских дел. Рассказывает он о градижской старине и никак не хочет уступить первенства Кременчугу.

— Помилуйте! Кременчуг и городом-то стал только с тех пор, как покойная царица, царство ей небесное, проехала вниз по Днепру, а Градижск был уже тогда старинным городом, называли его просто Городище, и папенька мой был как раз в то время городским головой, а исправником был большой пан и ваш родственник Данило Александрович...

Вспоминает Симон Леонтьевич как и сам он был потом Градижским городским головой, как приходили к нему пакеты с припечатанным пером, в знак чрезвычайной важности и спешности дела, и как умело справлялся он с такими делами.

Рассказывает он и о старых людях, окрестных помещиках, которых всех он хорошо знал, и какие интересные яркие картины воскресают в его рассказах. Любил он толковать и о современных происшествиях:

— Скажу вам, Дмитрий Петрович, какой тепер народ стал легковерный, просто срам. Пустите самую несуразную молву — поверят, ей Богу поверят...

— Из чего вы это заключаете? — спрашивает отец.

— А вот был у нас такой случай, — начинает Симон Леонтьевич своим мерным голосом. — Разнесся как-то слух, что по нашей окрестности рыскают французские солдатики и разыскивают помещика Мусенко. Откуда, зачем? А затем, говорят, что писал он будто бы Наполеону, чтобы он немедленно вывел свои войска из Крыма, а то рано или поздно он с ними разделяется...

И поверили, да как поверили! Одно время все об этом только и говорили, и что бы вы думали? Сам этот господин, большой шутник, и пустил этот слух, да так ловко: рассказал под строжайшим секретом Олександру Лукичу, а тот, конечно, под таким же секретом стал рассказывать и направо и налево... Нашелся, однако, человек, который вывел все это на чистую воду. Да перестаньте, говорит, вздор болтать! Скрываться-то он действительно скрывался, и теперь иногда скрывается, да только не от Наполеона, а от еврея, который ловит его за долги...

Елена Петровна — дама живого характера; она перебивает мужа и вставляет свои замечания, но любит она говорить больше о духовных делах. Любит она возвращаться мыслью к упраздненному градижскому монастырю, стоявшему на высокой горе, круто, почти отвесно спускающейся к Гирману, рукаву Днепра, за которым с горы открывалась необъятная заднепровская даль. Рассказывала она об архиерейских приездах в монастырь, сетовала, что тепер в большие праздники, как завтра, не бывает уже таких торжественных служений, как прежде, когда, бывало, приезжали и духовенство и певчие, не

то что из Хорола, а даже из Миргорода. Но много она знает и о том, что делается в околотке, и относится к этому совсем не так спокойно, как Симон Леонтьевич... Говорит она очень красноречиво, особенно прихлебнувши из рюмочки, от которой долго отказывается и которую пьет маленькими глотками с большими гримасами...

Отец мой умеет их слушать и особенно умеет побудить их к дальнейшим рассказам. Он и любил и знал старину, он прекрасно умел очистить правду в этих рассказах от неизбежных выдумок и потому никогда не скучал такими вечерами.

Самые комнаты в этих постоялых дворах могли бы теперь представить некоторый интерес для любителя старины. В комнатах у Симона Леонтьевича я видел такие картинки, за которые теперь платят деньги. Там я увидел в первый раз известную гравюру "Кончина Императора Александра I", и отец показывал мне фигуры Виллие, Дибича, Тарасова, Волконского... Там же была редкая теперь картинка с изображением Николая Павловича и Александры Федоровны, катающихся в шарабане... Была целая серия больших французских гравюр с историей о блудном сыне, были старинные лубочные картины, которые теперь тщетно разыскиваются собирателями.

Ничего этого теперь нет, как будто никогда не бывало. Хозяев теперь едва ли кто и помнит, а дом сгорел дотла еще при жизни Елены Петровны.



Это описание страдало бы большим пробелом, если бы я ничего не сказал о том религиозном настроении, которое царилло у нас в доме.

Мама моя была глубоко набожна. Когда сложилась у нее эта набожность, я не умею сказать, думаю, однако, что она окрепла уже в Пелеховщине, после выхода ее замуж. Не знаю также, имел ли на нее в этом отношении какое-нибудь влияние мой отец. Он, по-видимому, не носил в себе непрерывного молитвенного настроения, но был очень тверд в исполнении всех религиозных требований; ежедневно утром и вечером набожно молился Богу, по праздникам ездил в церковь и никогда даже не говорил о религии иначе, как с набожным выражением

лица. Мама моя временами вся погружалась в религиозное созерцание, читала жития святых, иногда привлекая кого-нибудь из нас к слушанию этого чтения, подолгу углублялась в молитву и любила беседовать со странниками. Сколько припоминаю, однако, у нее не было и тени ханжества; ее набожность связывалась с ее большой отзывчивостью ко всему высокому, доброму и прекрасному, она молилась как бы удовлетворяя внутреннему стремлению к высоким идеалам.

Няня тоже была религиозна, и утром, и вечером она вполголоса читала перед образом молитвы, не всегда правильно произнося славянские выражения, но молилась она так истово, что ни один из нас не решился бы потревожить ее в это время.

Мой дед и все наши родственники, выселившиеся в степь, были прихожанами села Броварки, верстах в пяти от нас. Но, на моей уже памяти, когда мне было года два, была закончена и освящена новая церковь в Кирьяковке, во имя митрополита Алексея. Это было всего верстах в трех от нас, и родители мои стали прихожанами этой новой церкви. Владельцем Кирьяковки был Адам Алексеевич Кирьяков, большой приятель моего отца. Я буду говорить о нем ниже.

Священником в Кирьяковке был отец Кирилл Стаховский, человек крупный, с резкими чертами лица, но с хорошим голосом, и служил он, пока не опустился, очень торжественно.

Священником в Броварках был отец Иван Ильчинский.

Сколько помню, оба священника, и броварский и кирьяковский, всегда приезжали к нам славить Христа на Рождество, на Крещение, на Пасху. По малорусскому обычаю, начало которого надо искать, вероятно, в старинных бурсацких христославлениях, псаломщики в Крещение рисовали мелом на дверях схематическое изображение креста, адамовой головы и двух копий, испещренное инициалами этих предметов, и такой рисунок оставался у нас нетронутым до Светлого праздника.

В страстной четверг надо было привезти домой из церкви зажженную свечу. Баба Хотина, как это было заведено еще при прабабушке Варваре Ивановне, чертила пламенем такой свечки маленький крестик на притолоке входной двери. От ежегодного повторения этого обычая крестик имел стойкий черный цвет и был даже несколько углублен. Тут было много детской чистой веры в этих маленьких обрядах.

Надо вообще сказать, что большие праздники проводились у нас как-то истово, чинно и с соблюдением старинных мало-российских обычаев. В рождественский сочельник с утра в столовой, перед образами, на особом столике стояли в сене горшки с кутьей и узваром. День был постный, полагалось не есть до звезды, а потом торжественно с молитвой все садились за стол, уставленный, тоже по родному обычаю, пирогами с разной начинкой: с грибами, с рыбой, с маком... На первый день, в Рождество вечером парубки и подростки колядовали под окнами и получали за это то сушеных фруктов, то пряников, то маковников...

Канун Нового года — “щедрый вечер” — бывал у нас действительно веселым и щедрым. В этот вечер у нас бывала елка; приезжали Иван Григорьевич, Иван Иванович, а иногда далекие пятигорские родные. Под окнами щедровали веселые хлопцы и дивчата и мы мирно, дружной семьей проводили старый и встречали новый год.

На следующее утро мальчишки, наши сверстники, приходили “посыпать” нас зерном, пока мы лежали еще в постели. Близко подойдя к кровати, кидали из пригоршни зерно прямо на одеяло и в лицо, и приговаривали: “Роди Боже жито и пшеницу, всяку пашницу, на счастье, на здоровье такого-то”.

Вечером, перед большими праздниками, мама зажигала обыкновенно большую восковую свечу из собственного воска и собственной работы. Свеча в большом медном подсвечнике, поставленном из предосторожности в широкий медный таз, горела до утра, и это придавало какую-то торжественность предпраздничной ночи.

Рисуется в моем воображении и Светлый праздник с торжественным крестным ходом вокруг деревянной церкви в звездную весеннюю ночь, со всеобщим христосованием, с малорусскими “писанками”, каких теперь больше не делают, и с жареным барашком за праздничным столом; ярко представляю я себе и Зеленый праздник, настоящий зеленый, так как зелено у нас и в комнатах: на полу свежая душистая трава, по стенам роскошные кленовые ветки; в воздухе запах сирени и белой акации.

Вспоминаю все это с теплым чувством, и мне как-то грустно, что ничего этого теперь уже не встретишь в интеллигент-

ной помещичьей среде. Это уважение к старинным обрядам и обычаям вносило какую-то теплоту и вдумчивость в общий строй семьи; так создавалось что-то дорогое и родное, что дети долго хранили потом в своем сердце.

Из странников, появлявшихся у нас, я помню двух: Якова и Иуду. Последний заходил к нам раза по два в год в течение многих лет. Он побывал в Иерусалиме, и все мы с любопытством слушали его рассказы о Святой земле. Все ли в них было правда, Бог его знает, но рассказывал он очень занимательно. Он принес нам из Иерусалима большой перламутровый крест и модель гроба Господня.

Человек он был совсем не просвещенный, едва умел читать, и в разговоре его чувствовался простодушный малорусский крестьянин. Родом он был из Буромки, за Сулою, и был крепостным Багреевых. Казалось бы, что могло быть общего между ним и изысканным французским сочинением о Святой земле. Однако мне попались как-то под руки воспоминания г-жи Багреевой; они писаны на французском языке, и в них она отводит довольно видное место своему крепостному Иуде (a son serf Judas), которого она встретила в Иерусалиме и который оказал ей даже какие-то услуги, как знаток местных обычаев и нравов.

❧ VII ❧

В течение всей своей жизни, несмотря на разнообразную служебную, а потом хозяйственную деятельность, мой отец не охладевал к интеллектуальным интересам. Он очень много читал и, живя в деревне, в нашей глухой Пелеховщине, был очень хорошо знаком со всеми новыми явлениями и в литературе и в тех научных областях, которые его интересовали. Он также много писал, особенно в молодости, и если не печатал, то потому, что сам относился к своим произведениям с большой строгостью. У меня есть свидетельство, что люди, понимающие дело, ценили его литературные работы. Вот что писал ему, например, в 1832 г. редактор альманаха “Северные цветы” Орест Сомов: “М. г. Дмитрий Петрович! К сожалению, письмо ваше

и приложенная при нем повесть дошли до меня уже поздно: ибо тогда (в начале декабря) прозаическая часть “Северных цветов” была уже совсем окончена печатанием, и оставалось допечатывать только половину стихотворений. Вот единственная причина, почему повесть ваша, замечательная по многим отношениям, не вошла в состав “Северных Цветов”. Удерживая оную до вашего ответа, я вместе с сим покорнейше прошу вашего позволения поместить оную в одном из шести литературных сборников, которые издаю я в нынешнем году, для дополнения недоданного мною полугодия литературной газеты. В сих сборниках будут также пьесы А. С. Пушкина, кн. Вяземского, Языкова, Ф. Н. Глинки и прочих друзей Русской словесности и ее успехов”.

“Если вам угодно будет согласиться на мою просьбу, то повесть ваша непременно будет напечатана в одной из помянутых книжек. Первая уже печатается”.

Отец мой не дал разрешения на напечатание этой повести в литературных сборниках, и причина тому была такая: сюжетом для своей повести он взял одно романическое приключение, о котором много говорили в то время; в том же году были изданы повести Белкина, и одна из повестей, “Метель”, была основана как раз на том же самом происшествии.

Освоившись с хозяйством, отец помещал время от времени сельскохозяйственные статьи в специальных журналах. Такова, например, “Ручная книга Новороссийского крестьянина”, написанная им на задачу, утвержденную Императорским обществом сельского хозяйства Южной России 22 января 1846 г.

Статьи, написанные им в 1858 и 1859 гг., именно: “Статистические данные для проекта положения об улучшении быта помещичьих крестьян Полтавской губернии” и “Продажные цены на земли в Полтавской губернии” дали солидный материал для суждений о крестьянском вопросе.

В 1858 году были учреждены губернские комитеты по крестьянским делам. От каждого уезда в губернский комитет должны были войти предводитель дворянства и два выборных члена из дворян. Предводителем дворянства Кременчугского уезда был в то время Александр Александрович Остроградский, двумя выборными членами от нашего уезда вошли Василий Семенович Капнист и мой отец.

Отцу было в то время уже 53 года, но этот выбор был для него едва ли не самым значительным событием в его жизни. Дворяне выбирали членов в эти комитеты с большой осмотрительностью, крестьянский вопрос слишком близко затрагивал их интересы, и если они остановились на моем отце, помещике небогатом, никогда не искавшем никаких выборных должностей, то значит — они видели в нем человека, заметно выделявшегося из общего уровня. Его все знали в уезде, и в данном случае положились на его большую хозяйственную опытность, на его способность к общественным делам, а главное на его нравственную стойкость.

Для отца это была неожиданность, и со свойственной ему мнительностью в делах совести он со страхом принял это избрание, но он оправдал оказанное ему доверие.

Комитет открыл свои действия в начале октября 1858 г., и отец мой сразу занял в нем видное и особенное место.

Говорю это со слов дяди Алексея Степановича, который, как Лубенский предводитель, тоже был членом комитета; слышал это и от других членов комитета, с которыми был знаком, так как служил в то время репетитором при Полтавском корпусе.

Особое положение моего отца в комитете состояло в том, что он был человек совершенно беспартийный. Он не принадлежал ни к крепостникам, отстаивавшим помещичьи интересы в ущерб крестьянским, ни к тем немногим в то время передовым людям, которые стремились создать новое сословие на развалинах помещичьего благосостояния. Он убежденно заботился о согласовании интересов помещиков и крестьян и о равновесии между теми выгодами и теми неминуемыми обоюдными лишениями, какие должна была принести с собой обсуждаемая реформа.

На первых порах это, разумеется, не создало ему популярности в комитете. Но в его доводах всегда была неопровержимая логика, и он умел убедительно излагать свои мысли; этими своими качествами он завоевал себе общее уважение и в нем признали, наконец, одного из самых деловых работников в комитете.

В первый раз после своей женитьбы он выехал на такое продолжительное время из своей Пелеховщины; ему предстояло прожить в Полтаве целых шесть месяцев; никогда еще не был он в такой долгой разлуке со своей женой; правда, в

Полтаве было у него в то время три сына — офицер, кадет и гимназист и дочь (Ольга Дмитриевна) в институте; это было для него, конечно, утешением, но дома оставались еще два маленьких сына и двухлетняя дочь; дома оставался он, наконец, все свои хозяйственные интересы и свой насиженный уютный угол. Естественно, что мысль его постоянно возвращалась к дому и что он ежедневно писал длинные письма к маме, в форме дневника, и что мама начала отвечать ему такими же ежедневными письмами, с подробными сведениями обо всех домашних и хозяйственных делах. Этот интереснейший для меня двойной дневник находится теперь в моем распоряжении. Он интересен не теми сведениями о решениях Полтавского комитета, которые отец аккуратно в него заносит — это дело старое и давно уже пережитое, — а теми иногда случайными замечками и правдивыми чертами, которые характеризуют отношение отца к своим сочленам и вообще к губернскому обществу, его жизнь в Полтаве на одной квартире с дядей Алексеем Степановичем, его любовное отношение к детям и прочее. О собственных своих работах в комитете он ничего почти не говорит, но из нескольких случайно проскальзывающих фраз видно, что он много и внимательно работает для комитета.

Беру несколько выдержек из его дневника.

Вот первое его знакомство с его будущими сотрудниками. “8 октября 1858 г. Сейчас от (Михаила Павловича) Позена... К Позену мы, т. е. я и брат, приехали в 3 часа и застали уже всех его гостей, депутатов, всех нас было только десять, кроме нас А. А. Остроградский, Алексеев, Бакланов, Маркевич, Катеринич, Богданович, но самое замечательное лицо — это известный поэт Василий Туманский, с прекрасной, доброй, умной физиономией, старичок лет за 60, в парике, который, впрочем, много скрывает его лета. По приезде, через четверть часа, пошли в столовую... Общество отличное: приятно и весело было быть в кругу стольких умных людей, но до стола и за столом ни слова об эмансипации; после кофе... завел кто-то разговор об эмансипации, и разговор этот уже не прерывался до нашего отъезда. Позен читал нам свой проект, им написанный в опровержение устройства начальников уезда, станowych исправников и волостей... Проект написан умно, основательно и с полным знанием дела. Завтра открывается комитет”.

На следующей день он описывает торжественное открытие занятий комитета. Около полудня в дом дворянского собрания прибыли все члены комитета, с губернским предводителем дворянства князем Львом Викторовичем Кочубеем во главе. Приехал губернатор и речью открыл комитет; “вслед за тем из боковой комнаты вышел архиерей (Нафанаил, епископ полтавский) во всем облачении со многим священством, причтом и певчими, в форменных голубых с золотыми кистями и позументами стихарях, начался молебен о благополучном успехе предстоящего великого дела; все стали на колени, после многолетия царской фамилии и полтавскому благородному боярству архиерей каждому из нас дал поцеловать крест, окропил каждого святой водой, потом окропил залу, возвратившись на свое место, сказал речь. Речь мне и многим не понравилась, видно, что архиерей не дворянин и не знает или не хочет знать, что были до сих пор дворяне. Сколько могу припомнить, он говорил: “Вам предстоит смыть пятно с ваших прародителей, с ваших дедов и отцов и с себя самих. Вам предстоит восстановить правду и воздать должное людям, которые неправо, не по праву зависели от произвола ваших предков”, и прочее в этом роде, заключил речь хорошо, но удивляюсь, как умный человек мог так не знать прежних отношений помещиков к крестьянам.

Кочубей болен, говорят, каменной болезнью, он ужасно изменился и похудел, кажется, он не думает долго быть председателем комитета, и тем более, что предложил нам завтра в заседании избрать вице-председателя. Кто-то будет избран, поговариваем и о Позене, и о Туманском и о Белухе, промелькнуло словцо и об Остроградском. Завтра узнаем”.

С первых дней уже отец мой становится человеком заметным; с его взглядами считаются и у него образовывается кружок знакомых.

11 октября. “Сейчас из института. Оля здорова, весела, свежа и с бантиком... В институте видел князя Голицына, члена комитета. Сегодня он был у нас часа три раньше, и первый подал мне руку, говоря “здравствуйте, мой антагонист”. Надобно сказать тебе, что вчера в комитете я оспаривал некоторые его предложения, и многие со мною согласились”.

30 октября. "...Пришел Кирьяков (Григорий Степанович)¹ разговорились, было очень весело. Кирьяков так умеет по-рассказать кое-что; мы смеялись, слышим: в передней кто-то спрашивает: дома ли Алексей Степанович? и входит генерал-лейтенант Ушаков, он сегодня приехал, нигде не был и первый визит сделал брату². Поговорили о завтрашнем заседании. Ушаков того мнения, что можно покончить комитетские занятия месяца в три... Пошли рассуждения, предположения... Ушаков просидел еще с час, говорили о многом. Я прочитал Ушакову мнение князя Меншикова, Ушаков сказал, что и он написал в этом роде статью, но гораздо пространнее и обещал доставить ее мне; обещал также доставить мне мнение о подобном предмете историографа Карамзина, написанное еще в 1808 г. для императора Александра I, когда Александр имел мысль приступить к подобной реформе. Ушаков ушел, Кирьяков еще оставался до 11 часов и много порассказал анекдотов о Горленковых, Жевахове, Катериниче и проч. и проч., мы смеялись до умуру³".

2 ноября. "...Я собирался после чаю идти к Кирьякову, но он сам пришел к нам и по обыкновению оживил нашу беседу, какой он любезный, какой ловкий, острый человек. Только-то мы вдоволь рассмеялись от его неистощимых рассказов, вошел генерал Ушаков; разговор склонился на прошлую войну; Ушаков пишет ее историю и написал уже тома два. Часа два мы проговорили с ним, и он рассказал и вполне объяснил разные обстоятельства прошедшей войны. Его история еще не печаталась, нельзя. Он оставит ее, сказал он, своей дочери, чтобы издала, когда будет можно, лет через тридцать. Между прочим, он спросил меня, не родня ли мне юнкер Бутовский, юнкер 1805 г., который так прекрасно описал войну тех лет, который, конечно, обессмертил свое имя тем, что пополнил и так удачно пополнил пробел русской истории. Много мы говорили о моем почтеннейшем дядюшке³, порассказал я о его занятиях, мне известных, и

¹ Старший сын Степана Григорьевича (см. "Прекратившийся род"), кандидат от Лубенского дворянства.

² Николай Иванович Ушаков, бывший дежурный генерал Крымской армии (1854—56 г.г.), член комитета от Лубенского дворянства.

³ См. тут же гл. X.

Ушаков сказал мне: радуюсь сердечно, что этот достойный человек умел обессмертить свое имя, может быть, и не подзревая, что он это уже сделал”.

17 ноября. “...Генерал Ушаков просил меня, чтобы я почаще заходил к нему, и сказал, что до 10 часов он всегда дома и будет поджидать меня к себе. Я пошел к нему пешком; он живет недалеко. Генерал был один в шлафроке и писал что-то. Закурили сигары, и сигары превосходные, уселись; я располагал пробывать у него четверть часа, а пробыл ровно два часа, и время улетело как одна минута. Он разбирал вывод второй главы положения, вчера доставленной нам комиссией, чтобы рассмотреть до завтрашнего заседания. Посудили, порядили, кое-что он прочитал мне: я за шапку, а он за руку: куда? Пойдите, сидите, время наше; кончилось тем, что он непременно доставит мне историю последней войны, но с тем, чтобы прочитал ее я один. История еще не переписана, поспеет через две недели. Что прикажешь делать? В разговорах я чуть-чуть не назвал генерала дядюшкой; так и вообразил, что говорю с Иваном Григорьевичем. Сам не понимаю, за что эти умные люди меня полюбили”.

Кроме Кирьякова, которого он знал, когда тот был еще почти ребенком, и Ушакова, с которым он познакомился только теперь, в Полтаве, отец поддерживал хорошие приятельские отношения со своим уездным предводителем дворянства Александром Александровичем Остроградским и возобновил старинное знакомство с бывшим своим гимназическим товарищем, а теперь членом комитета Павлом Алексеевичем Трипольским. Два сына Трипольского учились в корпусе вместе с нашим Володей, и это, разумеется, еще более связывало родителей. Он поддерживал также и прежние свои знакомства: с Александром Михайловичем Ярошенко, у которого тоже был сын в корпусе, в одном классе с Володей, и со старинными приятелями семейства Райзер, генералом Петром Федоровичем и полковником Николаем Федоровичем Пинкорнелли. Очень хорошо относились к отцу сановитые члены комитета — Кочубей, Позен, Белуха-Кохановский. Благодаря именно моему отцу, я и только что приехавший тогда на должность репетитора в Корпус Николай Васильевич Коренев не раз были и танцевали этой зимой у Белухи.

Под 3-м ноября отец отмечает, что утром он был у Позена и тот, между прочим, сказал ему:

— Поздравляю вас, ваш племянник получил славное место, он назначен директором мануфактурного департамента.

— Не племянник, а брат мой, в. пр-во.

— Да, да, Александр Иванович, я знаком с ним, он дельный человек, и непременно при первой почте напишу к министру, поздравляю его с таким удачным выбором...

Вот несколько беглых черт, характеризующих ход занятий в комитете.

3 ноября. Рассмотрение первого вопроса программы. “...Брат уже завтракал, а Кирьяков стоял подле него, когда я приехал (от Позена); наскоро позавтракал и я, и втроем поехали в собрание; опоздали немного, но еще ни о чем не рассуждали. Нет возможности рассказать, сколько было говору, споров, выявлялась оппозиция, с одной стороны Позен, с другой — Гудим-Левкович и Остроградский. Я держал нейтралитет, если говорил, то по чувству убеждения и сознания дела. О прямом деле мало и говорили, просидели с 11 до 5 с половиною часов, и больше часа при свечах; устали страшно, а со всего этого вышло то, что избрали редакторов, вот они: Туманский, Маркевич, Богданович. Говорят, что они люди умные; о Туманском знает вся Россия, а о прочих увидим впоследствии”...

11 ноября. “...Мы пошли в собрание...раздался колокольчик князя, все сели по местам, началось чтение выводов, составленных редакционной подготовительной комиссией, начались споры, суждения всякие и вкривь и вкось: одни требовали отнести начало первой главы к концу проекта. Тут и я высказал мнение, что без уничтожения крепостного права не может быть и положения, что все положение вытекает из уничтожения этого права и поэтому именно этим нужно начать. Сначала князь, Позен, многие члены, а потом и все члены согласились со мной, и в половине четвертого была обсуждена вся глава и утверждены положения для составления журнала, по которому редакторы составят статьи проекта положения”.

18 ноября. “Устал невыносимо; с 11 часов до половины пятого был на собрании и читал громко и много говорил тоже громко, чтоб все слышали: оспаривал мудреные предложения, вытекшие из мнения, поданного Позеном”...

29 ноября. "...Поданная мной восемнадцатого числа записка делает свое дело. Вчера многие члены пристали к моему мнению, и в том числе Маркевич и Туманский, что для меня очень лестно, но это по секрету. Теперь обдумываю другую записку, не знаю, поможет ли Бог изложить ее так, как она развивается в голове. Надо же наконец кончить комедию и приняться за дело. Это, может быть, восстановит против меня главных эмансипаторов: князя Кочубея, Позена, Остроградского и N; но я членом не для того, чтобы доставить им чины, ордена, места, а для того, чтобы устроить дело в пользу дворян, удостоивших избрать меня, и в пользу крестьян, моих меньших братьев, и прямо высказывать те убеждения, какие угодно было всемогущему Богу усвоить мне. Впрочем, со стороны N действует одно только самолюбие, убеждения нет, а цель: *знайте меня*, спорит обо всем, чтобы только спорить и мешать делу". Это место в дневнике обведено чертой и на полях написано "секретно". Отец не хотел, чтобы эти его совершенно интимные сообщения распространялись.

2 декабря. "С 11 до 5 часов были в собрании. Ура! наша взяла! Весело на душе и усталости вовсе нет, начала правды всплыли наверх и теперь преобладают в комитете; хватились за ум, и положение о переходе крестьян во время срочно-обязанного положения на купленные земли, целыми обществами и семействами, без воли помещика, это положение, которое три заседания назад было принято 30-ю членами против 2-х, именно против Бутовского и Райзера; это самое положение отвергнуто сегодня 31-м против 1-го, именно против Высоцкого. Мнения до того перемешались, что сам Позен, который больше всего настаивал, сегодня предложил вновь баллотировать, говоря: нельзя не согласиться с изложением доводов Дмитрия Петровича... Туманский, когда мы встали с мест и начали составлять кружки, подошел ко мне и положил мне руку на плечо, говоря: вот наш консерватор, потом пожал мне руку по-дружески. Во время заседания и особенно при конце досталось и мне поговорить порядочно, но теперь это уже не так трудно, как было на первых порах с непривычки..."

Думаю, что этих выдержек довольно, чтобы показать, как относился отец к своей работе в комитете. Прибавлю лишь

несколько строк, в которых с особенной сосредоточенностью выражается его настроение:

28 ноября. “Сегодня ровно месяц как я уехал из дому¹. Скучно, грустно, да что делать — служба, и служба важная. Авось и я с Божьей помощью принесу свою лепту на алтарь отечества, для будущей его пользы и возможного благоденствия. Дай то Бог, чтобы и мой вполне беспристрастный и глубоко обдуманый мной взгляд на предмет нашел сочувствие в комитете. Впрочем: да будет воля Божья, да направит Бог дела наши к прямому, а не мечтательному благу *русского* человечества”.

Говорили мне, что ввиду предстоящего избрания одного из членов комитета, для участия в работах главного комитета по крестьянским делам в Петербурге, члены Полтавского комитета просили дядю моего Алексея Степановича осведомиться у моего отца, не согласится ли он выставить себя кандидатом на такое избрание. Но отец мой решительно отклонил от себя эту почетную кандидатуру. Он чувствовал себя выбитым из своей нормальной колеи уже в Полтаве, хотя у него были тут и дети и жил он с близким ему человеком, нашим дядей; поэтому понятно, что он с тревогой относился к перспективе ехать на неопределенное время в далекую столицу и жить там совсем одиноким, отрезанным от семьи и в совершенно непривычных для него условиях. Членом главного комитета от Полтавы был избран Александр Васильевич Богданович и, кроме того, по распоряжению свыше, к работам этого комитета был привлечен также и М. П. Позен.

Но, как бы взамен этой отстраненной им от себя более широкой общественной деятельности, отец мой, в последние месяцы своей жизни в Полтаве, предпринял капитальную работу: “Проект уплаты помещикам за отведенные в пользование срочнообязанных крестьян земли и усадьбы”. Работа эта была окончена уже в Пелеховщине, в мае 1859 г., следовательно, вскоре по возвращении из Полтавы, и немедленно отправлена на имя генерал-адъютанта Ростовцова. Отец получил от него официальное благодарственное письмо с извещением, что проект передан для соображения в состоящие под его председательством комиссии.

¹ В октябре он уезжал на некоторое время в деревню.

Есть основание думать, что проект этот не потерялся в комиссиях бесследно. А. В. Богданович извещал отца в октябре того же года из Петербурга: “Проект ваш ... поступил в финансовое отделение, а оно идет так туго — что до сих пор, с апреля, было только три заседания и теперь дело приумолкло, — как видно, хотят прежде распутать общий государственный финансовый вопрос, выражающийся в нововыпускаемых облигациях. Надо, однако, полагать, что он снова всплывет наверх, так как многие комитеты исходом ставят обязательный выкуп земель, — признаюсь вам, что, вполне убежденный в практической этой меры и в неудобстве всех других предположений, у меня руки зудели написать и от себя тоже, но не имея полномочия — не решился”...

В дневнике есть много заметок, рисующих личность писавшего и общество, в котором он жил, но чувствую, что после многих и многих лет эти черты сохраняют свой жизненный интерес разве только для меня, близко знавшего это стародавнее общество и сердечно любившего автора этого дневника. Остановлюсь на немногих еще чертах, имеющих ближайшее отношение к истории нашего семейства.

У губернатора, Александра Павловича Волкова, по субботам вечером собиралось все полтавское общество; отец мой тоже получал приглашение на эти вечера; он не любил больших официальных собраний, но для этих вечеров нарушал иногда свой патриархальный образ жизни. Его побуждало к этому родительское чувство: третий сын Волкова, маленький Володя, учился в корпусе как приходящий кадет и подружился с нашим кадетом Володей, который стал часто бывать у Волкова и был обласкан в этом семействе. Вот как описывает отец свой первый вечер у Волкова.

15 ноября. “Ровно в 8 часов мы приехали к губернатору; полный дом уже был гостей, вся Полтава, то есть вся здешняя аристократия: на диванах в кружке сидело разряженных дам до сотни. Губернатор встретил меня очень приветливо, подвел к губернаторше и сказал: отец нашего приятеля Володи Бутовского; она сказала мне несколько слов в похвалу Володи, а губернатор спросил: “Он здесь?”. “Не отпустили, Ваше пр-во, из корпуса”. “Почему?”. “Завтра смотр”. “А, да, приехал Клюпфель”. Между тем зала и все комнаты все более наполнялись гостями, я и не думал, чтобы в Полтаве было так много звезд на фраках

и на блестящих мундирах, разумеется, военных; было до десяти генералов, а о полковничьих эполетах и говорить нечего. Не успел я осмотреться, как подошел ко мне сын губернатора Володя, с которым я познакомился в корпусе уже ровно две недели и сегодня за полчаса прежде видел в корпусе. Славный мальчик, пристал ко мне и целый час почти занимал. Было много и знакомых; но в таком большом обществе не всех сейчас и заметишь, а если и увидишь, то иногда и пробраться невозможно”.

Другой мой брат, Федя, был зачислен в корпус только в следующем году. Этой зимой он учился в гражданской гимназии и жил на квартире у отца. Ежедневно отец сообщает в своем дневнике о здоровье, об учении и о времяпрепровождении этих двух бодрых и способных мальчиков. Володя бывает в отпуску каждый праздник, а Федя ежедневно, перед вечерней молитвой и отходом ко сну сдает отцу приготовленные им уроки.

Всякий праздник отец непременно бывает в институте у сестры Ольги Дмитриевны, оказывающей выдающиеся успехи по научным предметам и незаурядные способности к музыке, и аккуратно сообщает нашей маме о ее здоровье и обо всем, касающемся духовных и житейских интересов нашей милой сестры.

Вместе с тем, его никогда не покидает мысль о младших детях, о жене и о близких людях, живущих там, в так любимой им деревенской глуши. Ежедневно посылает он трогательные благословения нашей маме и маленьким — Коле, Евгению и Маше, и просит передать свои поклоны “брату и другу Ивану Ивановичу, сестрицам, дядюшке Ивану Григорьевичу и няне Агафье Федоровне”.

К старшему сыну, офицеру, зачисленному весной того же года репетитором в Полтавский кадетский корпус, он относился вначале несколько холодно; ему не нравилось его юношеское стремление к независимости; однако скоро, тут же в Полтаве, между ними установились самые сердечные и искренние дружеские отношения.

Полюбил он также большого друга моей юности и товарища по репетиторству, только что выпущенного в офицеры и этой осенью приехавшего в Полтаву, Николая Васильевича Корнева. “Коля отличный молодой человек, — записывает он под 13-м ноября, — весел, разговорчив, добр, вежлив, деликатен”¹.

¹ См. “Прекратившийся род”.

С дядей Алексеем Степановичем все эти шесть месяцев он жил дружески в настоящем значении слова; не было даже намека на какие-нибудь несогласия, хотя наклонности их и вкусы были довольно различны. Отец был домосед, дядя же, переезжавший со всей Полтавой, почти все вечера проводил вне дома.

Кончаю описание этих полтавских месяцев интересным маленьким эпизодом, записанным отцом под 21 января 1859 г. Жили они с дядей в доме Гавриленка, в переулке, сейчас же за Дворянским собранием. Дом был одноэтажный, но квартира была просторная и удобная.

По вечерам, когда Федя уже спал, а дяди не было дома, в глубокой тишине отец садился за дневник или за очередную работу. “Окна моей комнаты, — пишет отец, — выходят во двор на галерею, было уже половина десятого, дети спали, везде тихо и только в моей комнате горели две свечки: я читал, и читал уже более часа рукопись Ушакова; слышу, кто-то идет по галерее, думал, что брат, но брат шел бы прямо, а тот остановился, должно быть, посмотрел в окно: что я делаю; я не обратил внимания... Вдруг неожиданно ужасный стук в раму окна: “Кто там?” Ответа нет, а стук продолжается. “Кто там?” “Вор”. “Да кто там?” “Говорят, что вор”. Я со свечкою в переднюю, Фомы нет а Игнат спал, но проснулся. “Посмотри, кто там стучит в окно”. Вдруг дверь отворяется, показался человек огромного роста, в шубе с поднятым воротником; и когда начал хохотать, тогда только я узнал Андрея Васильевича Остроградского. Посидел он у меня до 10 часов с четвертью и ушел. Он приехал за дочерью, чтобы взять ее на свадьбу племянницы своей, которая выходит за Родзянку...”

Андрей Васильевич, как я сказал уже выше, был университетский товарищ отца. Как долго сохраняли тогдашние люди и юношескую живость и юношескую теплоту отношений...



По завершении крестьянского вопроса отец мой был избран кандидатом в мировые посредники 3-го участка Кременчугского уезда, и иногда годами исполнял должность мирового посредника.

Он умер скоропостижно 3 февраля 1865 года, в Пятигорцах, и похоронен на той же самой поэтической площадке в Грабине, где была уже могила жены дяди Алексея Степановича, Марии Алексеевны, и где потом были похоронены последние фон Райзеры (см. “Прекратившийся род”).

Наша милая мама, прожив после его смерти несколько лет в деревне и выждав, пока Маша окончит полтавский институт, переехала с ней в Петербург к великой радости сердечно любивших ее сыновей. Часто летними месяцами возвращалась она в Пелеховщину, где прекрасно хозяйничал Федор Дмитриевич, тот самый милый Федя, который в 1858 г., маленьким гимназистом, жил на квартире вместе с нашим отцом.

Она скончалась в Петербурге 13 марта 1885 г. и похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря в усыпальнице родителей моей жены Гороховых.



Из семи братьев и сестер, детей наших родителей, нас осталось теперь только трое: я, сестра Ольга Дмитриевна, в замужестве Корнева, и брат Николай Дмитриевич (ныне генерал от инфантерии в отставке и известный военный писатель).

Владимир Дмитриевич умер в 1881 году, Федор Дмитриевич — в 1895 г. Оба служили в л.-гв. Павловском полку. Владимир Дмитриевич оставил в полку свое имя как его историк. Федор Дмитриевич, выйдя в отставку, посвятил себя сельскому хозяйству и был предприимчивым и способным деревенским хозяином. Ему мешал его большой размах. Вдова его, Надежда Григорьевна, урожденная Ивахненко, владеет теперь Пятигорцами и пользуется там большим уважением, как устроительница храма в этом селении. Теперь Пятигорцы — самостоятельный приход. Евгений Дмитриевич, служивший в министерстве Государственных имуществ и очень уважаемый за свой характер и свою деловитость, умер совсем еще не старым человеком в 1893 г.; сестра Мария Дмитриевна, в замужестве Аистова, умерла в 1904.

Дети Ольги Дмитриевны, Николая Дмитриевича, Евгения Дмитриевича и Марии Дмитриевны являются прямыми продолжателями той линии рода Бутовских, которая ведет свое начало от возного Кирияка Александровича и жены его Варвары Ивановны.

VIII

Ближайшая от нас деревня, не дальше как за версту, была Вишеньки. С нашего крыльца ясно была видна дорога туда, прямо идущая по полю, дальше видна была ветряная мельница, за ней сад, закрывающий от нас постройки на барском дворе. Левее белелись избы крестьян.

У нас этой деревни никогда никто не называл Вишеньками. Когда надо было послать в Вишеньки, говорили: “Сбегай на тот двор”, когда кто-нибудь приходил оттуда, говорили: “Прибежал с того двора”. Именно “прибежал”, потому что ходили туда и оттуда только люди солидные, господа или старики, а за делом всегда бежали.

Пелеховщину в Вишеньках тоже называли “тем двором”, и велось это так еще со времен прабабушки Варвары Ивановны, которой принадлежали оба эти имения до раздела их между ее сыновьями. Она жила в Пелеховщине у младшего своего сына, моего деда, но приезжала в Вишеньки, как полноправная распорядительница.

Как при ее жизни, так и после ее смерти многолюдная вишеньковская семья, рано лишившаяся отца и матери, по рассказам бабы Хотины, часто бывала в Пелеховщине; летом чуть не ежедневно — пешком, а зимой, вместе с дедушкой и его дочерью Настасьей Петровной, часто устраивали, как я уже и говорил, веселые прогулки в санях; на масленицу рядились, и ряженные ехали в Петрашовку, где тоже было несколько девиц; затевались гаданья, танцы — это было дружное, веселое общество.

В письмах деда к отцу я раза два встретил фразу: “Настенька не пишет потому, что ее нет дома; уехала танцевать”.

Я помню вишеньковских дядей и тетей пожилыми, а потом уже старыми людьми. Об их молодой жизни я узнал только от бабы Хотины, и на моей памяти они уже были не теми людьми, как в ее рассказах.

Их было много: пять братьев и четыре сестры, и это было замечательное семейство. Большинство из них прожило до преклонного возраста, и ни один из братьев не женился, ни одна из сестер не вышла замуж; между тем, все братья были здоровые, красивые, умные люди, прекрасно с честью служив-

шие и деловито хозяйничавшие один после другого в своем имении; все сестры в молодости должны были быть привлекательными девицами.

Я помню их всех, кроме одного, второго по старшинству, Данила, который в чине штабс-капитана был убит в турецкую кампанию 1828 г.

Теперь об этой семье вспоминают только старые люди, и скоро, как это обыкновенно бывает, о них совсем забудут... Но они живут в моей памяти, и я думаю, что люди, носящие нашу фамилию, не без любопытства прочтут эти воспоминания о скромной и своеобразной жизни родных людей, не оставивших после себя прямых потомков и не увековечивших своей памяти.

Старший из братьев, Федор Иванович, был гораздо старше моего отца. Он участвовал в кампаниях 1812, 13 и 14 гг., был контужен ядром в грудь и ранен пулей в голову, а по выходе в отставку, в чине подполковника, занимал выборную в то время должность исправника нашего Кременчугского уезда, я едва его помню. Он представляется мне человеком крупным, с военной выправкой, громким голосом и веселым смехом. Он памятен мне потому, что у него были большие золотые часы с репетицией, которые он прикладывал к моему уху, когда они звонко отчеканивали число часов. Обок со старым отцовским домом в Вишеньках он выстроил себе щеголеватый домик и жил самостоятельно, отдельно от сестер. Позднее этот домик перешел в собственность любимой его сестры Анны Ивановны.

Он умер в один год с моим дедом. После его смерти вышел в отставку следующий по старшинству брат, Иван Иванович.

Это была характерная черта тогдашнего дворянства, по крайней мере, у нас в Малороссии. Все молодые дворяне считали долгом чести служить в военной службе, но не искали в ней карьеры. Как только в имении требовался хозяин, молодой офицер выходил в отставку и становился помещиком.

Иван Иванович вышел в отставку капитаном и больше двадцати лет управлял Вишеньками. Это был не только наш ближайший сосед, но и хороший друг нашей семьи. Он был человек скромный, положительный, очень деловитый и в обществе, которое было ему не чуждо, приятный собеседник. Он часто бывал у нас по вечерам, и летом и зимой. Всегда находились у него в кармане какие-нибудь лакомства для нас, детей.

Длинные зимние вечера проходили в беседах, в игре в шашки, в рабуж или какую-нибудь другую карточную игру, в которой принимала иногда участие и наша мама; играли, разумеется, без интереса.

Иван Иванович хорошо служил. Не получив большого образования, он любил, однако, хорошую книгу, думаю, был начитаннее многих из своих сослуживцев. Помнится, он рассказывал мне, что служил в том полку, которым командовал Пестель, и был в хороших отношениях со своим командиром. Он был казначеем и замечал, что вся корреспонденция Пестеля состояла из денежных писем “со вложением одного рубля”; потом только он сообразил, что делалось это для обеспечения писем от вскрытия или потери...

Любил он читать и в отставке. Я еще мальчиком видел у него огромные томы Михайловского-Данилевского с портретами генералов отечественной войны, сочинения Скобелева, и другие книги, преимущественно военные или исторические. Ему было о чем поговорить с моим отцом. В преклонном возрасте он читал “О подражании Христу” Фомы Кемпийского.

Смолоду он был ловок во всех телесных упражнениях, прекрасно стрелял и любил охоту, но деревенская его жизнь проходила чрезвычайно скромно. Я помню его комнаты в старом вишеньковском доме, чрезвычайно чистые и заботливо убранные коврами и дорожками, и его постоянное место на кресле у окна на двор, где он сидел, почти всегда одинокий, в свои свободные часы и любовался в окно своим хозяйством. Хозяин он был образцовый. Сестры жили на другой половине, и семья сходилась только в часы обеда, ужина, вечернего чая или когда к ним приезжали все мы целым семейством.

Следующий по возрасту брат, Егор Иванович, в чине майора, был смертельно ранен при штурме Севастополя.

В “Русском Инвалиде” 29 мая 1856 г., № 117, было помещено прочувствованное описание геройской кончины Егора Ивановича. Статья принадлежала перу нашего родственника Ивана Григорьевича Бутовского. Думаю, что члены нашего семейства с участием прочтут несколько выдержек из этой статьи, рисующих нам личность нашего родственника — героя.

“Майор Егор Иванович Бутовский, — рассказывает автор статьи, — вступил в службу рядовым в Вятский пехотный

полк, в 1824 г. еще юношей, имея с небольшим 17 лет, и первый офицерский чин получил за отличие в деле против турок под Андрианополем в 1829 г. Медленно подвигался потом Бутовский в чинах, и 1846 год застал его капитаном Суздальского пехотного полка... В 1847 г. Егор Бутовский произведен за отличие по службе в майоры и переведен в Олонецкий пехотный полк... В этом чине и с этим полком Бутовскому суждено было вторично выйти на боевое поле и, по неисповедимому велению промысла, на нем остаться”.

В мае 1855 г. 4-я дивизия, к которой принадлежал Олонецкий полк, двинулась в Крым. На пути и по прибытии на место Егор Иванович написал Ивану Ивановичу несколько писем. Приведенные из них отрывки дышат бодростью и чудесным патриотическим одушевлением.

“Прошла, прошла, спасибо Царю, томительная тоска от праздной стоянки в Люблине, тогда как наши братья-соратники столько уже месяцев препираются с зазорными незванцами. Теперь спешим день и ночь, чтобы скорее обнять родных крымских героев, и обще с ними покончить затеи врага.

Походом и на дневках, которые у нас так редки через четыре и пять дней, я не пропускаю случая, чтоб не поохотиться; стреляю, по пути, дроф, стрепетов, куропаток и зайцев, а подчас и дупельшнепов, и всей этой лакомой дичи такое множество, что рассылаю ее целыми ядгашами моим добрым друзьям. Просто я набиваю все более руку, чтобы порядком отпотчевать наших милостивцев, англичан и французов. Солдаты так и рвутся, чтоб поскорее сойтись с ними грудь с грудью”.

По выходе из Бахчисарая, из лагеря на реке Бельбеке, от 22-го июля, письмо его начиналось радостным ура! и благодарением Богу за прибытие на место. “Поздравьте нас”, — говорил он, — “мы уже у своего дела, которого так долго ожидали: теперь перестаете и краснеть перед товарищами, нас опередившими, и не будет совестно брать даром царское жалованье”.

Вот он, наконец, в Севастополе, он был уже в сражениях на Мекензиевой горе и на Черной речке и пишет брату: “Канонада не прекращается ни днем, ни ночью; но при храбрых начальниках, как Сакен, Хрулев и Семякин, войска одушевлены уже и одним их присутствием. По пословице, что на людях и смерть красна, вся эта трескотня бомб и ядер и резкий свист

еретических пуль для нас словно трин-трава: одинаково шутим и смеемся”...

“Скажи, брат, милым сестрам, что здесь вовсе не так страшно, как о том вдали думают; перед врагами мы все той мысли, что двух смертей не бывать, одной не миновать”.

Это письмо было последнее. Следующие затем подробности частично заимствованы от очевидцев, частично из последних заметок Бутовского, найденных с завещанием между вещами.

Наступил день штурма, 27 августа 1855 г.

“Олонецкий полк, еще с 23-го августа, занял на первой оборонительной линии один из пунктов, самый опасный и наиболее поражаемый — бастион № 2-го, смежный с Малаховым курганом. В одиннадцать часов утра, едва канонада притихла, послышался как бы подземный гул и скоро что-то похожее на шум приближающегося урагана. Мгновенно, как волна, хлынул неприятель на приступ большими массами. На всей оборонительной линии взревели крепостные орудия и затрещал ружейный огонь. Вдруг на бастионе № 2-го показались французы, и борьба загорелась: так длилось более часа с переменным успехом; наконец неприятель, беспрестанно подкрепляемый свежими войсками, успел оттеснить Олонецкие батальоны до 2-й оборонительной линии.

Прибыли подкрепления.

Несмотря на усиленный прилив нескольких неприятельских бригад из корпуса генерала Боске, неустрашимый (генерал) Собашинский (с полками 8-й пехотной дивизии) бойко отбил, одну за другой, три новые атаки. По словам майора Бутовского, последняя из них была всех упорнее, и тут-то он, в самый разгар рукопашного боя, как бы ускоряя свой конец, схватил ружье из кучи убитых и раненых перед ним французов и с криком — за мной, Олонцы! дружнее! — бросился с бастиона за бегущим неприятелем. Этот геройский порыв его был последний: две конические пули в живот и в пятку свалили храброго, и опечаленные солдаты, в пылу страшной резни, отнесли за фронт любимого начальника. Чтоб не ослаблять рядов, он не велел нести себя далее, и приказал людям возвратиться на свои места. При нем остался только его верный слуга Лободенко со штуцером в руках. “Ну, чего стоять и хныкать

надо мною? — сказал Бутовский. — Иди и стреляй по врагам”. Так пролежал страдалец у самого побоища почти два часа. Лободенко, между тем, продолжал стрелять, и каждый раз радовал господина известием, что попал ловко”.

Наконец понесли Бутовского на перевязочный пункт.

Он прожил еще до 16-го сентября.

“За несколько часов до смерти он сделал походное завещание, пригласив в душеприказчики своего соратника, Ладожского егерского полка капитана Дыммана, пользовавшегося от ран в том же госпитале. Г. Дымман, принимавший в завещателе живейшее участие, исполнил самым благородным образом волю покойного, и мы, родственники, от всей души благодарили г. Дыммана”.

Во все время своих страдальческих дней Егор Бутовский с жадностью осведомлялся о ходе военных действий и горячо молил Бога о даровании побед Русскому Царю и Его воинству. “Да! — говаривал он, в припадках жестоких терзаний, — сладко умирать за отечество! одна уже эта мысль облегчает раздрающие боли. Ведь могло же случиться, что, живя и в хуторе, на покое, пришлось бы испытать не менее мучений и у мереть от причин вовсе ничтожных; как же обойтись без жертв, отстаивая святую родину!” При последних минутах он подозревал плачущего Лободенку и, простясь с ним, сказал ему тихим, прерывающимся голосом: “Не плачь, скажи и дома, чтоб обо мне не тужили: смерть солдата честна пред Господом!”

Пуля, поразившая его в живот, не могла быть вынута, и она-то низвела его в гроб; другая пуля, ударившая в пятку, прошла насквозь и найдена в сапоге; эти печальные памятники — пробитая рубаха, пробитый сапог и коническая пуля доставлены брату покойного и хранятся в семействе. Верный слуга его, Иван Лободенко, несмотря на то, что еще в деле на реке Черной ранен слегка пулей в икру и контужен отломком бомбы у Николаевского форта, не отставал от своего господина даже при адском штурме, и первый прилагал старание, чтоб с особой осторожностью перенести его на перевязочный пункт.

Тело Егора Ивановича похоронили на Симферопольском кладбище рядом с могилой смертельно раненого в тот же день его земляка и приятеля генерал-майора Михаила Захаревича Лысенко.

К сведениям, взятым из статьи Ивана Григорьевича, прибавлю, что со времени возвращения Ивана Лободенко с имущественным Егора Ивановича в Вишеньки в комнате Ивана Ивановича, на видном месте под стеклянным колпаком хранились на особом постаменте каска, эполеты, орден и оружие брата-героя, а в ящике под постаментом — его рубаша, обувь и сразившая его пуля. Это была святыня, благоговейно чтимая в этой хорошей семье, жившей по стародавним обычаям.

Ивана Лободенко, или, как его звали в зрелом возрасте, Лободу, который, будучи еще почти мальчиком, не отходил от своего барина во все тяжелые дни осады, вынес его из схватки и оставался при нем до его кончины, я хорошо знал впоследствии; он пользовался всеобщим уважением в Вишеньках и у нас в Пелеховщине как хороший расторопный человек и дельный хозяин. Он умер в 1905 г.

Егора Ивановича я видел всего один раз, когда приезжал в отпуск на Рождество 1848 г. Он был уже тогда майором; это был красивый, сильный и здоровый человек.

У меня есть его портрет, писанный наивной рукой офицера-сослуживца, но очень похожий. Он висел в гостиной во флигеле у Анны Ивановны, которая любила украшать свою комнату портретами и образами, и потому не сделалась жертвой пожара, уничтожившего, гораздо позднее, весь старый господский дом.

Почтенное семейство! Три брата из четырех, служивших офицерами, запечатлели своей кровью свою безупречную службу: два были поражены насмерть, третий контужен и ранен.

IX

Возвращаюсь к дяде Ивану Ивановичу.

Когда я приехал домой офицером, в конце пятидесятых годов, я застал его больным; он был разбит параличом, плохо владел левой ногой и рукой и мог ходить, только опираясь на палку, но сохранял всю умственную и нравственную свежесть. Он обрадовался моему приезду, продолжал бывать у нас так же часто, как и прежде, всегда сопровождаемый младшей из сестер, Ульяной Ивановной; мы тоже охотно заезжали или заходили

в Вишеньки, чтобы провести с ним вечер. Ульяна Ивановна ездила с братом на Кавказ; это принесло ему маленькую пользу, но он остался хромым и немощным до конца своей жизни.

Умер он в конце 60-х годов. Спустя несколько месяцев в Вишеньки приехал младший из братьев, Матвей Иванович. Этот сравнительно молодой член семьи рос при других условиях и других взглядах, чем его старшие братья. Он окончил Харьковский университет, определился по гражданским делам и под конец своей службы, в чине действительного статского советника, занимал большое место почт-директора на Кавказе и в Черноморье.

Как и все члены этого семейства, он тоже был человек скромный, тем не менее, он привез в Вишеньки некоторые барские наклонности, которых там не знали. Он пил вино только высоких марок, курил только гаванские сигары, ездил на зиму в Одессу или Крым и образовал кружок знакомых из числа состоятельных соседних помещиков. Прожил он в Вишеньках недолго; он умер в начале 70-х годов.

Из четырех сестер третья, Анна Ивановна, была живая, говорливая, иногда остроязычная, но вообще добродушная и веселая особа, до старости любила общество и имела свой круг знакомых, которых принимала в доме, доставшемся ей после Федора Ивановича. Ее острословие вовлекало ее иногда в неприятности. Даже мой дед бывал иногда недоволен за ее разговоры и на нее, а вместе с нею и на Федора Ивановича. Она до старости сохраняла особенно крепкие дружеские связи с Марьей Васильевной Милькевич, в Тереняхах, и с одной из своих ранних подруг, дочерью Петра Даниловича, Елизаветой Петровной, вышедшей замуж в Киевской губернии за Гудим-Левковича.

Из трех других сестер я помню Марью Ивановну уже старрой, высокой, строгой и молчаливой девицей. Вторая, Татьяна Ивановна, проживала в Броварках в небольшом домике, на бывшем там семейном грунте. Мы заезжали к ней, когда бывали в броварской церкви, но она рано умерла; я едва ее помню.

Младшая сестра, Ульяна Ивановна, тихая и кроткая, вся отдалась уходу за братом Иваном Ивановичем.

Судя по тому, что в письмах моего деда к отцу я нахожу приписки не только моей родной тетки Настасьи Петровны,

но иногда и вишеньковских девиц, чаще других Анны Ивановны, я заключаю, что все они умели писать, но сколько я помню, читали они преимущественно по-славянски — псалтырь, пролог, четьи-минеи, и читала больше Анна Ивановна, у других всегда было много дела по хозяйству... Все они были усердны к церкви; Анна Ивановна благодетельствовала семейству броварского священника.

С братьями своими сестры были очень дружны и гордились ими. Эта черта гордости имела в себе что-то трогательное и благородное. Как ни скромно служили братья, но они служили честно и достойно и были безупречными людьми; во всяком деле они умели найти и делали его хорошо, и сестры это понимали; братья были для них носителями доброго имени семьи.

Но велика была простота нравов в Вишеньках. Сестры, говоря в домашнем кругу о братьях, иначе не называли их как уменьшительными именами, не сообразуясь ни с их возрастом, ни с чином. Естественно это пользование уменьшительными именами распространялось и между дворовыми людьми и даже между крестьянами. Помню, как однажды с того двора к нам прибежала сонная девушка с известием, что “вчера приехал Матюша с Кавказа”. Матюша был тогда едва ли уже не действительным статским и был человеком почтенного возраста.

К нам они относились дружелюбно, но сдержанно. Побывав в Кременчуге, они непременно присылали нам французскую булку и лимон, а возвратясь из Градижска — связку вкусных бубликов, но в семейные свои дела они нас не посвящали.

С отцом моим они были очень коротки еще с детства, но с тех пор, как он стал самостоятельным хозяином и женился, он сделался для них как бы человеком чуждого им круга. Они чувствовали в нем человека другой культуры, не одобряли заметное в нем отрицание старых форм жизни и давали ему иногда это чувствовать; но в серьезных делах все-таки обращались к нему с доверием.

Теперь, после многих и многих лет, эта семья представляется мне типичным образцом стародавнего и патриархального образа жизни, старых обычаев и верований.

Входишь, бывало, в довольно большой, крепко выстроенный, но низкий дом и чувствуешь уже, что попал в особое место, где живут особые люди. Из чисто выметенных сеней

с глиняным полом направо — половина сестер. Входите в довольно большую комнату, столовую, и вас поражает какая-то нерушимая тишина и какой-то особенный приятный аромат, распространенный в воздухе. Осматриваетесь и видите, что на низких и толстых потолочных балках развешаны пучечки трав и разные мешочки с семенами. Вдоль стен стоят не то сундуки, не то скамьи, покрытые то типичной малорусской узорной тканью, то богатым иногда восточным ковром. Твердые деревянные стулья, не лишенные интереса по своему стародавнему фасону, стоят только в промежутках, плотно заполняя свободные места. За самоваром у особого столика сидит серьезная Марья Ивановна. Тишина; все говорит только вполголоса, пока отец мой не заговорит с Иваном Ивановичем в полный голос. Все сестры умолкают как бы в виде протеста, но Анна Ивановна, увлеченная разговором, вдруг высказывает свое замечание или возражение повышенным тоном. Тогда Марья Ивановна начинает говорить еще тише и зовет к себе маленькую девчонку, Присю, стоящую у дверей в качестве прислуги, совсем беззвучным: “Прсс!” Прися частыми шажками неслышно подходит к столику, и Марья Ивановна отдает ей какое-то приказание совсем уже шепотом. Сама Анна Ивановна спохватывается и сосредоточенно замолкает на некоторое время.

Иногда, когда я был уже офицером, они звали меня к себе обедать. Такая же чинность и за обедом, но обед особенный, старинный, совсем малороссийский, какой готовили в дедовских семьях. Есть тут и “сняженный сыр”, и какой-то крепкий, очень вкусный борщ из утки, и какие-то особенные вкусные и жирные кушанья, запеченные в мисочках...

Но это вовсе не значит, что мои дяди и тети были гастрономами; нет, это делалось потому, что так это было заведено в дворянской семье при отцах и дедах.

Дядя Иван Иванович выпивал перед обедом рюмку водки и за обедом рюмку вина, но не потому, что не мог без этого обойтись, а потому, что это так полагалось порядочному человеку за порядочным обедом.

Помню, как однажды я заслужил порицание со стороны моих вишеньковских тетей. Как-то осенью, после обеда, в ясный солнечный день с юга поднялась черная туча, быстро рас-

пространилась по всему небу и закрыла солнце. Это была саранча; туча постепенно стала редеть, и мы увидели, что саранча садится где-то в степи за Вишеньками, близ раскопанных могил. Саранча была у нас явлением очень редким, и естественно, что мне и сестре моей Ольге Дмитриевне (я был уже тогда офицером) захотелось посмотреть, как она садится и покрывает землю толстым слоем. Мы поехали и на обратном пути по дороге заехали в Вишеньки.

Не замечая, что там господствует какая-то сосредоточенность и подавленность, я стал рассказывать, что мы видели. Молчание и неподвижность. Наконец Марья Ивановна произносит тихим укоризненным голосом: “Гнев Божий, а вы ездите смотреть”... “Да, голубчик мой, — продолжает после некоторого перерыва Анна Ивановна, — наша покойница бабушка Варвара Ивановна не пустила бы нас смотреть на саранчу, а заставила бы Богу молиться, чтобы он избавил нас от такого бедствия”... “Да, теперешней молодежи все на потеху”, — заключает как бы про себя тетя Ульяна Ивановна.

Тихая невозмутимая жизнь этой семьи была потревожена уже в поздние годы серьезным происшествием. Ивана Ивановича, разбитого уже параличом, ограбили. Случилось это так: окно его спальни выходило в сад, который с этой стороны, шагах в двадцати, выходил к широкому полю; он отделялся от поля глубоким рвом, но ров для лихих людей — небольшое препятствие. И вот больной Иван Иванович однажды темной осенней ночью слышит, как у самого его изголовья открывается ставня, раздается треск разбитых стекол, раскрывается окно; и кто-то влезает в комнату. Человек видимо знает, чего ему надо; не говоря ни слова, ощупью находит столик, берет на нем шкатулку и направляется обратно в окно. На треск битых стекол прибежала Ульяна Ивановна, но она увидела уходившего уже человека; бесстрашно выглянула она в окно и ей показалось, что там был не один человек...

В шкатулке было несколько тысяч рублей.

Дело было смелое и какое-то таинственное. Ивану Ивановичу показалось, что он слышал грохот отъезжающей телеги; то же самое слышала и Ульяна Ивановна. Значит, люди были приезжие, но люди, знавшие, чего им нужно и как им надо было вести дело...

На другой день утром приказчик Ивана Ивановича, Петр Федорович Штанько, человек умный и преданный, рассматривая следы грабителей, нашел палку — “бич” от молотильного цепа, — и тотчас же сообразил, что это может повести к открытию злодеев.

Как ни в чем не бывало пошел он потихоньку, как бы по своим делам, опираясь на эту палочку, по тому направлению, откуда, надо думать, приехали грабители, на Петрашовку и на Броварки. Идет он по Броваркам и встречается ему сын отца Ивана, священника. Слово за слово. “Что это у вас за палочка, Петр Федорович?” “А это так ... бичик от цепа ...” “Позвольте, да ведь я этот бичик знаю; с ним ходит такой-то из Петрашовки; я еще у него торговал этот бичик, он из хорошего крепкого дерева”.

Участники были найдены, деньги, однако, пропали бесследно. Судились два грабителя, но всех их было три. Третий, настоящего имени которого никто не знал, был и подговорщиком и главным деятелем; он лазил в комнату, он вынес из нее шкатулку, но дал им по несколько рублей и в ту же ночь скрылся. С тех пор они его не видали и ничего о нем не слышали.

Был другой случай. Иван Иванович уже умер, но Матвей Иванович еще не приезжал. Оставались только две барышни, Анна Ивановна и Ульяна Ивановна. Однажды в июльский душный день над Вишеньками разразилась гроза. Молния ударила в кухню, стоявшую против старого дома. Кухня загорелась; соломенную крышу охватило пламенем, сбежались люди, чтобы тушить, но Петр Федорович, по приказанию барышень, остановил: “Грех тушить то, что загорелось от Божьего огня!” Он взял нескольких людей, вошли в дом, вынесли из него образа, зажженные страстные свечи, святую воду в чаше, кропило и, предшествуемые барышнями, три раза торжественно обошли горевшую постройку, окропляя ее святой водой.

Пылавший пожар внезапно сам собой прекратился.

Так рассказывал мне Петр Федорович.

Последней из этой семьи умерла Анна Ивановна, в конце 70-х годов в Елизаветграде, в гостях у своего друга, Елизаветы Петровны. Под старость она ослепла; ей сделали операцию, но зрение к ней не возвратилось.

Через год сгорел и старый дом, эта полная чаша всяких хозяйственных принадлежностей, сгорел дотла, как бы унося с собой все следы живших здесь когда-то людей, все воспоминания о них.

Теперь в Вишеньках стоит только, почти готовый развалиться, старенький домик Федора Ивановича.

X

Немного дальше, чем Вишеньки, верстах в двух от Пелеховщины на запад, лежит деревня Петрашовка. В годы раннего моего детства в ней жил большой богатый малороссийский “пан” Петр Данилович Бутовский, сын того бунчукового товарища Данила Александровича, который получил высочайший подарок во время путешествия императрицы.

В 1801 г., когда составлялось “дело” о дворянстве, Петру Даниловичу было уже сорок пять лет, и значился он майором в отставке. В сороковых годах, следовательно, ему было свыше восьмидесяти, но это был крепкий, грузный, полнокровный старик, разумный, распорядительный и властный хозяин.

Он приходился двоюродным братом моему деду и жили они в хороших приятельских отношениях. На моей памяти он одиноко доживал свой век в Петрашовке, но любил, когда у него бывали, и сам нередко заезжал к нам посидеть часок-другой перед вечером.

Я говорил уже, что отец его был самый богатый из Бутовских, но и сам он взял большое состояние за женой. В степи, по соседству с нами, под Броварками и Гриньками, у него было два больших имения — Петрашовка и Тимашовка, кроме того, было у него имение за Днепром — Камышеватое и большие плавни за Сулой, под Еремеевкой.

Жена его, Марья Михайловна, которую помнил еще мой отец, была из рода Кирьяковых. В каком родстве была она с Кирьяковыми, нашими соседями, я не знаю; но родство было, кажется, не близкое. В письмах деда я нашел случайное указание, что Михаил Михайлович Кирьяков, по-видимому, брат Марьи Михайловны, жил в Петербурге и занимал какую-то придворную должность.

В воспоминаниях моего детства мне ярко рисуется Петрашовская господская усадьба. Она лежала у самого въезда в Петрашовку с нашей стороны. В глубине двора, плотно обстроенного разными хозяйственными службами, виднелся просторный, но низкий дом, а за ним довольно большой сад. Дом был старинного малорусского типа; не было тут ни крыльца, ни балкона, а вдоль всего переднего фасада шла неширокая крытая галерея в уровень с землей и с глиняным полом. Из галереи дверь вела в сени и в комнаты тоже без всяких подъемов; все было на уровень с землей. Дом был неправильной формы, с пристройками разной высоты, но внутри он был уютен и по-старинному богато обставлен. Петр Данилович сидел в глубоких мягких креслах и казалось, что он-то своим старческим спокойствием и придает особенную уютность этому дому. В гостиной висели два портрета — его и его жены, — писанные, без сомнения, тем же броварским отцом Демьяном, который писал и мою прабабушку. Работа была одна и та же. Петр Данилович на портрете был лет на двадцать моложе, чем я его видел в действительности, но сходство было большое.

Я помню двух сыновей Петра Даниловича: Михаила Петровича, отставного генерал-майора генерального штаба, и Данила Петровича, служившего тоже, кажется, в генеральном штабе, но рано вышедшего в отставку и проживавшего в Камышевatom. Говорили мне, что третий брат, Петр Петрович, служил в лейб-гвардии Московском полку, имел талант к живописи, но умер молодым человеком. Был и еще один сын у Петра Даниловича, Василий Петрович, но о нем я ничего не слышал.

Дочери Петра Даниловича, жившие в большой дружбе с моей тетей Настасьей Петровной и с нашими вишеньковскими родственниками и весело проводившие свое девическое время, рано повыходили замуж. Я помню Марью Петровну, приезжавшую в Петрашовку со своим мужем, Адрианом Сергеевичем Плетневым, из Киевской губ., и рано овдовевшую Елизавету Петровну Гудим-Левкович, жившую в Елизаветграде.

Петр Данилович умер в 1843 г., пережив моего деда на два года. Вскоре после его смерти в Петрашовке поселился старший его сын, Михаил Петрович, со своей молодой красавицей женой Надеждой Яковлевной и сыном Петром. Маленькому Пете тогда только что исполнился год.

Я хорошо помню первое знакомство моих родителей с этим семейством. Это было в первый день Светлого праздника. Как всегда, мы были у заутрени и обедни в Кирьяковке, а к вечерней службе поехали в Броварки. Там были все вишеньковские, и после службы Татьяна Ивановна пригласила к себе всех нас, а также и приехавших в первый раз в церковь новых петрашовских родственников.

Все, увидевшие в первый раз Надежду Яковлевну, были буквально поражены ее красотой; ей в то время едва ли минуло восемнадцать лет. Безусловно изящные черты ее лица, нежные, какие я видел потом на постелях Латура, одухотворялись мечтательными глазами и каким-то певучим звуком голоса, в котором слышалась и детская наивность, и некоторая избалованность. Она до сих пор ничего не знала, кроме Петербурга, с его столичными развлечениями и удовольствиями, и, собираясь в Петрашовку, даже не представляла себе, что такое малорусская деревня. Ее некоторая растерянность и неуверенность как будто придавали ей новое очарование.

Михаил Петрович был на десять лет старше моего отца. В то время ему было уже около пятидесяти лет. Он был тогда еще в военном сюртуке с полковничьими эполетами, помню, что он был с палочкой и хромотал, но это было случайно: он ушиб себе ногу в дороге. Роста был он среднего, держался несколько сутуловато и говорил он, как человек, привыкший высказывать определенные и бесспорные мнения. Но он с первого же знакомства, видимо, старался установить добрые родственные отношения и с моим отцом, и с Иваном Ивановичем.

Петрашовка оживилась. Дом обновили, обставили его на новый лад, рядом с портретами Петра Даниловича и Марии Михайловны появились два большие поколенные портрета Михаила Петровича и Надежды Яковлевны. Образовался довольно большой круг знакомых, съезжавшихся в званые дни. Все преклонялись перед Надеждой Яковлевной как перед красавицей и перед существом не нашего, не будничного малорусского круга. Она, однако, сколько помню, не сходилась близко с местными дамами. При ней в Петрашовке всегда проживала ее родственница Луиза Романовна Гейнрихсен и компаньонка

полька Костуся, и это составляло домашний кружок, который вместе с заботами о детях наполнял ее существование¹.

С моей мамой она поддерживала хорошие отношения. Помню, что как раз в то время в одном из наших толстых журналов печатался перевод Вечного Жида. Она присылала или привозила номера журнала и делилась иногда с мамой своими впечатлениями. Случилось, что за несколько месяцев до поступления моего в пансион от нас отошла моя гувернантка; Надежда Яковлевна любезно предложила моему отцу присылать меня через день в Петрашовку для занятия с нею французским языком; эти поездки продолжались месяца два, до весны и, я думаю, были для меня не бесполезны.

Очень сошлась с Надеждой Яковлевной Анна Ивановна. Казалось бы, что могло быть общего между молодой избалованной столичной дамой и пожилой старосветской малорусской девицей, однако эти отношения оставались неразрывными до самой смерти Анны Ивановны.

Михаил Петрович поддерживал хорошие связи с моим отцом. Одно время решили было собираться еженедельно по очереди в Петрашовку, у нас и в Вишеньках, и одну зиму действительно съезжались; потом это как-то расстроилось, но он любил иногда провести у нас зимний вечер и потолковать с моим отцом.

Михаил Петрович умер в 1853 г.

В “Северной Пчеле” 14 июля этого года ему был посвящен небольшой некролог, написанный Иваном Григорьевичем. Вот его содержание: “28 мая 1853 года, в одиннадцать часов утра, Полтавской губернии, Кременчугского уезда, в деревне Петрашовке, кончил свое земное поприще отставной генерал-майор генерального штаба, Михаил Петрович Бутовский, на 58 году от рождения. В беспредельной горести оставил он прекрасную молодую жену с малолетними сыном и тремя дочерьми; оставил безутешными и своего родного брата, близких родных и друзей, любивших его искренно. Покойный Михаил Петрович был примерный слуга Государю и Отечеству и многократно, за отличную службу, был щедро награждаем. Деятельный

¹ С Луизой Романовной я встретился через пятьдесят лет, в 1896 г. в Афинах, в первый день Пасхи, в доме нашего посланника г. Ону. Её брат был русским консулом в Греции. Свидание вышло приятное и много было воспоминаний.

и точный исполнитель в продолжение своего долговременного служения, он таким же был неуспешным и попечительным хозяином и в своем родовом имении: его уже нет, но где трудился он, видны во всем изобилие и удивительный порядок. Под кровлею его крестьян нигде не заметно нищеты, повсюду видишь довольство и не встретишь людей праздных. Вечная память тебе, добрый и честный человек!"

Надежда Яковлевна, вышедшая замуж за Евгения Антоновича Рейнбота, умерла только в 1914 г., на девяностом году своей жизни.

Кроме сына Петра у Михаила Петровича было еще три дочери: Мария, София и Ксения.

С маленьким Петей, в его детстве, я виделся довольно часто, но я был на четыре года старше его, и потому у нас не могло быть очень тесного товарищества. К тому же девяти лет, в 1847 г., я поступил уже в пансион в Полтаве, и мы на долгие годы потеряли друг друга из вида. Он воспитывался в училище Правоведения, всю свою жизнь провел на службе в судебном ведомстве. Судьба свела меня с Петром Михайловичем гораздо позднее, когда мы оба приближались уже к старости. Он занимал тогда высокие посты обер-прокурора в Сенате, товарища министра юстиции, члена Государственного Совета. В его отношении ко мне я видел доброе, истинно родственное расположение. Он был приятный, обходительный человек, европейски образованный и чуткий к общественным интересам. Это был джентльмен в полном смысле этого слова. Он умер в 1912 г., на два года раньше своей матери.



Обращаясь мыслью к нашим соседям-помещикам, я могу сказать, что детство мое совпало с интересным периодом в жизни малорусского дворянства — интересным не с исторической, а с бытовой стороны.

Петр Данилович был одним из последних представителей старинных малорусских панов, которые помнили еще времена казачества и в обиходе своем, несмотря иногда на большие достатки, мало отличались от простого рядового малорусского человека. Я помню и других таких же старых людей в числе

знакомых моего деда, людей солидных, по большей части крепких и сильных; они ходили в каких-то долгополых не то сюртуках, не то казакинах, говорили уже не совсем по-малорусски, но не могли еще хорошо справиться с русской речью.

Рядом с моим дедом и Петром Даниловичем передо мной как живые стоят старик Белаш, старый князь Мещерский, проживавший в Кагамлычке, у гребли, Андрей Федорович Барло-Якубович из Марьины, Григорий Семенович Мацок. К таким же стародавним людям я могу отнести даже и Александра Захарьевича Лисенко, чудесно певшего малорусские песни.

Многие из них охотно бывали у моего деда и продолжали бывать у моего отца, который относился к ним с уважением.

Это были люди той эпохи, к которой относятся старосветские помещики, Иван Иванович и Иван Никифорович; они были близки к типам Котляревского и Основьяненко. Я не хочу сказать, что у всех у них было всегда что-либо карикатурное, — о нет, у такого большого барина, как Петр Данилович, мало было сторон, поддающихся насмешке, но у некоторых из них можно было иногда найти черты, напоминавшие и Возного и даже Пана Халявского. Я помню, например, у одного из таких людей, в его гостиной на видном месте, оправленную в хорошую рамку обыкновенную “подорожную”, на том основании, как он объяснял не без гордости, что и он ездил раз в жизни по Высочайшему указу.

Бывали между ними и такие господа, которые не умели резать мясо обыкновенным ножом и вилкой; в их молодости не было еще в их круге этих орудий. Когда подавали мясное блюдо, такой господин вынимал из кармана свой собственный складной нож, а вместо вилки просто работал пальцами левой руки. Если того требовали обстоятельства, то он добродушно извинялся, объясняя, что и папенька его, хорунжий или возный, всегда кушал за столом таким простым способом.

На моих глазах совершался переход от этого доброго старого времени к новому. Старики сходили со сцены; на их место появлялись новые люди. Это уже были современники моего отца и, как я припоминаю, все больше отставные военные в небольших чинах.

Недаром один из наших остроумных писателей из малороссов заметил, что Россия, при всех своих богатствах, всего богаче отставными поручиками.



Недалеко от нас, почти против Градижска, за Днепром, в Крылове, или, как его называли, в Новогеоргиевске, стоял Орденский кирасирский полк. Наши молодые соседи в большинстве отправлялись служить в этот полк и, прослужив несколько лет, возвращались в семейные очаги, обзаводились семейством и оседали на хозяйстве.

Из этих представителей нового поколения и именно отставных кирасирских офицеров я должен вспомнить прежде всего Валерьяна Александровича Булюбаша. Он жил верстах в десяти от нас в селе Столбовахе. Бодрый человек с решительным голосом и громким смехом, он был в приятельских отношениях с моим отцом и часто бывал у нас. Он и мой отец помнили друг друга еще детьми, и я был сверстником его детей; их у него было четверо: Николай, Григорий, Александр и Федор. Со всеми ими, особенно с Николаем, я был в хороших отношениях и охотно встречался, приезжая домой уже много лет спустя.

Но Валерьян Александрович рано умер и оставил свои дела в очень запутанном положении. Он был легкомыслен и неделовит и любил играть в карты. Сыновья росли на руках матери, Амалии Осиповны, большого друга моей мамы. Эта замечательная, энергичная и своеобразная женщина задалась задачей не только разумно воспитать своих детей, но и восполнить все то в имущественном отношении, что было запущено ее мужем; и под старость она могла с гордостью говорить, что хорошо сделала свое дело. Сыновья ее получили хорошее образование, трое из них окончили Киевский университет; добросовестно работали на служебном и на общественном поприще и были люди с обеспеченным состоянием.

Амалия Осиповна отличалась оригинальными чертами, и этим подавала повод к разговорам и даже к насмешкам в соседстве. Но это была благородная, прямая и смелая натура. Маленькая, худенькая, подвижная и решительная, она держала в повиновении своего мужа, она умела привязать к себе своих детей и твердо хранила помещичьи барские традиции до конца своей жизни. Рассказывали, как в Кременчуге на вокзале ее лакей, бывший крепостной Карпо, торжественно подал ей на стол поставленный им домашний самовар и ставил домашний чайный прибор; рассказывали, как, приезжая в гости, она запирала дверцы своей кареты особым замком, чтобы тот

же Карпо не садился в нее отдыхать; много ходило толков и о других ее странностях, но все это были или выдумки, или больше пустяки, ввиду ее больших положительных достоинств. Замечательно, что до глубокой старости она не утратила своей живости, не потеряла хорошего тона своей молодости, любила пересыпать свою речь французскими словами и одевалась по моде 30-х—40-х годов.

К числу отставных офицеров Орденового кирасирского полка принадлежали также Виталий Романович и Андрей Романович Лисенки и Александр Александрович Деконор.

Виталий Романович Лисенко был женат, в Гриньках, на воспитаннице или родственнице Николая Павловича Булюбаша, Ольге Еремеевне, и взял за женой большое состояние. Это был милый человек, шутник, говорун, распространитель нелепых рассказов, но имение свое прожил и под старость служил мировым посредником по назначению, в Западном крае. Это был отец талантливого малорусского музыканта и композитора Николая Витальевича Лисенко, автора оперы “Риздвяна нич” и собирателя малорусских песен. Николай Витальевич был моим сверстником, но я виделся с ним гораздо реже, чем с Булюбашами.

Андрея Романовича, жившего в Галицком, на Суле, я не знал. Александр Александрович Деконор, женатый на Наталии Николаевне Лисенко, жил в верстах в восьми от нас, в Николаевке, по дороге в Чигрин-Дуброву. Он был приятный остроумный человек, любивший принять у себя соседей, и славился отличным хозяином. Однако, в конце концов, он ничего не оставил своему семейству, и Николаевка давно уже находится в чужих руках.

Верстах в десяти от нас, в Тереняках, Хорольского уезда, поселились в отцовском имении тоже молодые отставные офицеры, кажется, уланского полка, Николай Осипович и Андрей Осипович Милькевичи. Это были почтенные люди и добрые соседи. Сыновья Николая Осиповича были сверстниками моих братьев по Полтавскому корпусу, а дочь, София Николаевна, была соученицей моей сестры Марии Дмитриевны в Полтавском институте.

Из обширного круга наших соседей и знакомых того отдаленного времени я назову еще Леонтия Дмитриевича Пестржецкого и Адама Алексеевича Кирьякова.

Леонтий Дмитриевич был полковник в отставке, служил еще в 1812 г. и, женившись в наших местах, основался в селе Мозолеевке, в верстах восьми от нас, на спуске к днепровским плавням. Это был пожилой уже человек, но совсем другого разбора, чем те старые люди, о которых я только что говорил. У него сохранялась военная выправка, была какая-то солидность и сдержанность чиновных людей того времени и, может быть, даже некоторый гонор, свидетельствующий о его польском происхождении. Супруга его была из рода Кулябок-Корецких. Пестржецкие были в дружественных отношениях с моими родителями. Младшая их дочь, Марья Леонтьевна, была моей ровесницей; другая дочь, Юлия Леонтьевна, и два сына, Андрей и Иларий, были старше меня. С Андреем Леонтьевичем мне приходилось часто встречаться позднее, в 60-х годах, когда он был у нас мировым посредником, и мы были с ним в очень хороших отношениях,

Адам Алексеевич Кирьяков был сын Алексея Степановича, жившего в Кирьяковке, в трех верстах от нас.

Кирьяковы были вообще видными людьми в нашем околотке в старое время. Их было два родных брата: Григорий Степанович в Броварках и Алексей Степанович в Кирьяковке. Не знаю, были ли они тут старожилами или пришлыми людьми, но люди они были богатые и, кажется, держали себя не близко со своими соседями.

Григорий Степанович был женат на Наталии Сергеевне Плетневой и имел сына Степана Григорьевича, поселившегося в Лубенском уезде, в Гонцах.

Я говорил уже и о Степане Григорьевиче и о Наталии Сергеевне в моих прежних воспоминаниях (“Прекратившийся род”) и теперь возвращаться к ним не буду.

У Алексея Степановича было два сына: Алексей Алексеевич и Адам Алексеевич. Из писем моего деда я вижу, что Алексей Алексеевич знал моего отца еще в ранней молодости и считал его даже своим другом. Где воспитывался и служил Алексей Алексеевич, я не знаю, но женившись, он поселился в другом имении своего отца, Снежкове, Валковского уезда, Харьковской губ., и бывал в Кирьяковке очень редко. Я видел его, кажется, всего один раз; встречаясь с моим отцом, он всегда выказывал ему истинное дружеское расположение.

Адам Алексеевич воспитывался в Царскосельском лицее, служил в военной службе, где-то в Польше, вышел в отставку еще при жизни своего отца, женился на Марье Федоровне Богданович, родной племяннице известного военного писателя Модеста Богдановича, и поселился в Кирьяковке.

Алексей Степанович умер приблизительно в год моего рождения; я о нем мало слышал, знаю только, что он построил кирьяковскую церковь во имя митрополита Алексея, которого и я считаю своим святым.

Адама Алексеевича и Марью Федоровну я помню очень хорошо. Это были и близкие соседи, и близкие друзья моего отца и моей матери.

Адам Алексеевич был мягкий, отзывчивый человек, и у него было то широкое литературное и гуманитарное образование, которое давал Царскосельский лицей в славные ранние годы своего существования. Марья Федоровна была премилая и предобрая женщина, талантливая — она хорошо рисовала — и без всяких претензий.

У них было три дочери: Надежда, Александра и Юлия. Старшая была моей ровесницей.

Мы часто виделись. Они охотно бывали у нас, совсем запросто, и родители платили им тем же. Нередко, простояв обедню в церкви, они оставались обедать у Кирьяковых.

Но мы недолго пользовались этим дружеским соседством. В 1846 г. Адам Алексеевич был избран уездным предводителем дворянства и поселился в Кременчуге, а в 1848 г. и он, и Марья Федоровна умерли в один и тот же день от свирепствовавшей в том году холеры.

Малолетние дочери переехали в Снежков и воспитывались у своей тетки Александры Ивановны, вдовы Алексея Алексеевича, вместе с его дочерью, Анной Алексеевной.

Отец мой был назначен их опекуном в Кирьяковке и нес эту обязанность больше десяти лет безвозмездно.

Припоминая мои ранние впечатления в Кирьяковке, я хочу отметить, что там, в этом доме, не очень большом и не изысканно обставленном, я в первый раз увидел большие художественные гравюры. Мне как теперь видится огромная Аврора Гвидо Рени, работы Моргена, оправленная в массивную золотую раму. Я тогда уже засматривался на нее, и меня занимал и

ее сюжет — лошади, движущаяся фигуры “часов дня”, летящая Аврора, море, облака, — и мягкие переливы тонов. Моя милая мама вместе с Марьей Федоровной старались обратить мое внимание на изящные стороны этого произведения.

В этом же доме отец мой увидел только что вышедшее тогда французское педагогическое сочинение m-me Amable Tastu “Education Maternelle”. Он тотчас же выписал его для меня, и я учился по этим книжкам и французскому чтению и французскому письму, я выучил много заключавшихся в них стихотворений, учился по ним географии, и была даже такая книжка “Recreation”, по которой Юлия Осиповна развлекала меня в праздничные дни сказками, нравоучительными рассказами и загадками. В книжках были превосходные для того времени политипажи, которые доставляли мне много удовольствия.

В 1855 г. Надежда Адамовна вышла замуж за Ивана Степановича Кирьякова, своего родственника, сына Степана Григорьевича. Он получил в наследство имение в Броварках, и таким образом броварское и кирьяковское имения слились в одно огромное неразрывное целое.

Иван Степанович умер лет через пять, прожив свое броварское имение; года через два Надежда Адамовна вышла замуж за Виталия Ивановича Горпинченко и поселилась в Кирьяковке. Горпинченко умер в 1874 г. Кирьяковка была продана с публичного торга, и с тех пор в наших местах нет никаких воспоминаний ни об Адаме Алексеевиче, ни о других Кирьяковых, живших в Кирьяковке и Броварках.

❧ XI ❧

В 1845 г. в наши места приехал родственник, о котором давно уже никто не вспоминал и которого никто даже не знал лично, так как еще с конца XVIII столетия он выбыл из отцовского имения и с тех пор никогда в него не возвращался.

Это был Иван Григорьевич, сын служившего когда-то в желтых гусарах капитана Григория Александровича Бутовского. Он приходился, следовательно, двоюродным братом моему деду и дядей моему отцу.

Хорошо помню первый визит его к нам. Человек уже молодой, лет шестидесяти, но прямой и добрый, худощавый, с крупными чертами продолговатого лица, с волосами, еще не седыми, зачесанными с обеих сторон на лысину и с маленькими бакенбардами, какие носили в александровское время; в походке, в манере, во взгляде какая-то хорошая сдержанность, но вместе с тем и свобода, показывающая человека порядочного общества. Костюм не наш, не провинциальный, а именно что-то тогдашнее визитное.

Отец мой принял его почтительно, но сдержанно; однако уже к концу этого первого посещения он был уже не только заинтересован, но даже почти очарован Иваном Григорьевичем. Прощаясь, он называл его уже просто “дядюшка”.

По его отъезде он с удивлением рассказывал маме, что этот человек, всю свою жизнь вращавшийся в столичном обществе, привыкший к утонченным формам жизни, человек много писавший и печатавший свои произведения, намерен теперь поселиться в своем маленьком имении, в Пронозовке, где у него нет ни усадьбы, ни дома. Он остановился теперь в избе одного из своих крестьян и думает прожить в ней, пока не выстроит себе порядочного домика на бывшем господском грунте. “А между тем, — говорил отец, — этот человек имел большие средства в Петербурге, жил в собственном доме, имел связи в самом высшем кругу”...

Все это было так необыкновенно, что приходилось только разводиться руками.

Мне никогда не случалось слышать обстоятельного рассказа, почему Иван Григорьевич решился выйти в отставку и жить в Пронозовке. Говорили всегда как-то глухо, что он долго служил в Комиссариатском департаменте, чуть ли еще не с 1810 г., что он занимал там большие должности, но что в конце тридцатых или в начале сороковых годов начальник этого департамента, генерал П., растратил огромную казенную сумму и застрелился. Добавляли к этому, как-то еще более гадательно, что чины Комиссариата, во избежание следствия, решили восполнить растрченную сумму, и это будто бы и привело к тому, что многие из них лишились своего состояния.

Так ли это было или нет, — передаю то, что слышал. Должен, однако, особенно добавить, что никогда никто не говорил

по этому поводу чего-нибудь такого, что могло быть истолковано не в пользу Ивана Григорьевича.

Но не это одно в судьбе этого человека составляло вопрос, над которым можно было задуматься. В 1801 г., как значится в “Родословной”, ему было 16 лет и служил он канцеляристом в Киевском губернском правлении; образование он получил, очевидно, домашнее; откуда же у него это прекрасное знание французского языка, эти его литературные наклонности, этот светский пошиб, делающий его заметным во всяком обществе?

В нашем провинциальном кругу, когда он был уже стариком, говорили, что никто так не умеет изящно поцеловать дамскую ручку, как Иван Григорьевич; в Петрашовке Надежда Яковлевна всегда приглашала его своим кавалером, чтобы идти к обеденному столу, и обращалась к нему обыкновенно по-французски. Наши кавалеры из молодых подсмеивались над его старческой галантностью. Но им далеко было до Ивана Григорьевича. Его манеры были как будто врожденны ему; в них не было решительно ничего деланного или намеренного.

По поводу этих званых обедов в Петрашовке припоминаю, что как-то, гораздо позднее, уже в шестидесятых годах, ехал я с ним мимо этой деревни.

— Весело тут жили при Михаиле, — заметил он мне, — все тогда были влюблены в эту красавицу...

Я посмотрел на него вопросительно.

— Да, и меня это не миновало; ведь это фатум, от этого не уйдешь...

И старый человек вздохнул и задумался...

Вот как он сам рассказывает о своей молодости в одной из своих статей¹.

“На восьмом десятке лет мной пройденной жизни, перебирая в памяти бывшее, сколько открываю различия между прошедшим и настоящим, между Россией времен Екатерины и Павла и той, которую видим нынче во всем ее блеске и крепости!

Из эпохи достопамятного царствования Екатерины Великой помню хорошо одно только 24-е ноября, день тезоименитства нашей бессмертной царицы. Хотя я был еще мальчиком

¹ Фельдмаршал князь Кутузов при конце и начале своего боевого поприща. — Первая война императора Александра с Наполеоном, в 1805 г. соч. И. Бутковского. (Из 64—69-го “Русского Инвалида” 1858 г.).

и детство мое протекало в самой глуши, но и там все сословия ожидали этого дня с особыми приготовлениями и, празднуя его, ликовали имя своей Августейшей Благодетельницы, так сказать, взапуски... Что во дни Ее владычества народ блаженствовал, о том был общий голос. Не раз доводилось слышать похвалы Ее “Наказу”; не понимая значения этого слова и толкуя его в превратном смысле, я дивился, что превозносят розгу, которая так пугала меня и была тогда в обычном употреблении при воспитании детей...

Еще до вступления на солдатское поприще, с детства мною любимое, я уже на 14-м году жизни считался на службе с октября 1798 года по части гражданской. Покойная матушка моя, оставшись вдовой, слишком рано оторвала меня от наук и определила в Киевское Губернское Правление; в этом-то правительственном месте, несмотря на юные лета, в памяти моей сильно запечатлелись замечательные годы царствования Императора Павла Петровича. Наиболее мне врезались в душу — неимоверная быстрота и точное исполнение его царских велений. Как неким волшебством, почти одновременно, были прорезаны по всем направлениям Империи ныне существующие широкие столбовые дороги; вместе с тем учреждены по городам и селам, даже по деревням и деревушкам, шлагбаумы. Без вида от сельского старшины или сотского, далее пяти верст от места жительства, никто не мог пройти: и в самое короткое время прекратились разбои, дотоле наводившие повсеместный ужас!.. При столь крутых, но общепользных переменах последовало изменение и по части военной: русские войска явились в новой форме, она была несравненно сложнее и тяжелее формы времен Екатерины II, однако это не помешало Суворову громить французов. Часто я, разиня рот, восхищался русским строем, я грустил, что запрещали последовать непреодолимому влечению вступить в ряды солдат. На инспекторских смотрах, особенно во время прохождения корпусов через Киев на сборные пункты под Чернигов, я день в день, с утра до вечера, торчал на площадях и с завистью смотрел на служивую молодежь; прибывшие из Италии и того более волновали кровь; многие из офицеров имели по два или по три креста... Это приводило меня в отчаяние до того, что мне хотелось бежать из Губернского Правления в первый ближайший полк...

С небольшим через год по воцарении Александра обнаружен указ: что русский дворянин, первоначально не служивший в военной службе, не может быть принят к статским делам. Содержание указа, ясно определявшее прямую обязанность дворянина, вступающего на поприще служения, еще более побудило меня переменить род службы. Хотя я уже состоял в чине Коллежского Регистратора, однако считал позволительным, вопреки запрещению моей матери, променять перо на шпагу. Чтоб скорее отделаться от чернил, я не долго медлил и, написав на Высочайшее имя прошение, явился к военному губернатору Тормасову. При выходе Тормасова к просителям наружность моя и лета обратили его внимание; он прямо подошел ко мне, и я подал ему просьбу; пробежав ее с улыбкой, он спросил меня: “Ты желаешь, голубчик, служить под ружьем?” “Точно так!” “Да знаешь ли, что не иначе будешь принят как подпрапорщиком: ты теряешь статский чин.” “Знаю, — отвечал я, — но готов служить даже рядовым!” Военный губернатор взглянул на приблизившегося к нам генерала Дмитрия Сергеевича Дохтурова и, взяв меня за подбородок, сказал: “Поздравляю, ты принят”. Дохтуров тут же хлопотал о назначении меня в Московский мушкетерский полк, которого он был шефом, и ласково приказал мне явиться к нему на квартиру. Эта сцена, столь торжественная на страницах моей жизни, происходила 16 декабря 1803 г. Через два дня я уже был обмундирован, и, сколько помню, от радости не чувствовал под собой земли: так было на душе весело, что попал в защитники отечества и надел военный мундир.

Инспекторский адъютант Галионка велел мне явиться к капитану Клименко, в 5-ю мушкетерскую роту, занимавшую квартиру в двух больших селах, на левой стороне Днепра. Г. Клименко обошелся со мной приветливо и дал мне в дядьки бойкого ефрейтора Качалова. Целый месяц прослужил я за простого рядового и Качалов усердно преподавал лекции в ружейных приемах и маршировке...

Апреля 26-го 1805 г. меня произвели в портупей-прапорщики, с переводом во вторую гренадерскую роту. В том же году объявлен поход в австрийские пределы...

17-го августа мы перешли русскую границу в Радзивилове...”

Таково было начало карьеры Ивана Григорьевича.

Мне искренно жаль, что не могу привести здесь многих военных и бытовых черт из его талантливой статьи. Но это заняло бы слишком много места и отклонило меня от моего сюжета.

Иван Григорьевич сделал всю кампанию 1805 г. в звании портупей-юнкера и был знаменщиком в своем батальоне. В Ольмюце он впервые увидел императора Александра I, и с тех пор проникся каким-то благоговейным чувством к особе этого монарха.

Под Аустерлицем, ввиду решительного наступления врага, он сорвал знамя с древка и обмотал его вокруг тела под мундиром; тут же, в схватке, он был ранен в голову, но не покинул строя.

Иван Григорьевич сделал также всю кампанию 1807 г. и принимал участие в Финляндской войне в 1807—9 гг. Когда он был произведен в офицеры и был ли он произведен, мне неизвестно, но в 1812 г. он служил уже в учреждениях по снабжению армии.

Эти сведения не дают нам ответа на вопрос, где и как юноша из тогдашних захолустных дворян мог получить широкое европейское образование и развить в себе литературные интересы, но они рисуют нам его как человека энергичного и очень расторопного. Такие люди не теряются в жизни.



Когда он приехал в Пронозовку, за ним были уже почтенные литературные труды. Он перевел “Историю крестовых походов” Мишо в пяти томах. Первые два тома вышли вторым изданием в 1841 г.; три последние тома не имели, кажется, 2-го издания и относятся к 1835—36 гг. (Печатано в военной типографии). Это была серьезная работа, стоившая ему большого труда. Позднее, в 1843 г., он перевел Мысли Паскаля (печ. в тип. Бачарова). Он написал также еще в Петербурге несколько оригинальных статей, из которых я назову очень патристическую брошюру “Об открытии памятника императору Александру I”. Спб., в типографии Н. Греча 1834.

Он продолжал работать и в Пронозовке. Так, он поместил в Русском Инвалиде 1858 г. статью, из которой взята только что

приведенная выдержка, “Первая война императора Александра I с Наполеоном I в 1805 г.” А спустя год или два — другую статью, о Тильзитском свидании¹. В том же журнале напечатал он теплую корреспонденцию о Егоре Ивановиче Бутовском, которая выше была приведена в отрывках.

Знаю, что он оставил большой рукописный том своих воспоминаний. По мере того как шла работа, он прочитывал ее моему отцу. Где теперь эти воспоминания, мне неизвестно.

Все смотрели у нас на Ивана Григорьевича, как на живого свидетеля старинной жизни и старых обычаев, неизвестных в нашей деревенской глуши, и, когда он, бывало, воодушевится, его можно было заслушаться. Это случалось в особенности у нас. Мой отец, с которым он сошелся ближе, чем с кем-нибудь другим в нашем соседстве, умел его расположить к рассказам и воспоминаниям.

❧ XII ❧

Прожив около года в Пронозовке, в простой крестьянской избе, Иван Григорьевич перешел на жительство в выстроенный им новенький домик, в котором прожил до своей смерти. Этот домик, как и все, что касалось Ивана Григорьевича, тоже дал пищу разговорам в нашем соседстве. Он был выстроен, как говорили у нас, “на юру”, на самом высоком и открытом месте в Пронозовке; он первый бросался в глаза, с какой бы стороны вы не подъезжали к этому селу. Но этого мало: с переднего входа не было ни сеней, ни прихожей; поднявшись на несколько ступеней и открыв дверь, вы прямо входили в гостиную, самую большую и лучше других обставленную комнату дома.

Все это действительно было не так, как любили устраиваться наши помещики в своих деревенских домах с теплыми крепко запирающимися сенями, из которых идут топки во все комнаты, с еще более теплыми передними, защищающими жилые комнаты от зимнего холода. Но у Ивана Григорьевича

¹Этой последней статьи я не нашел у себя в библиотеке.

было все это с заднего хода его домика, а передний подъезд служил ему для наслаждения бесподобными видами, открывавшимися с этого высокого места во все стороны. Выйдя на площадку, тут же, перед дверью гостиной, вы видели перед собой верстах в пяти—шести живописную гору, на которой построен Градижск; вам ярко бросались в глаза на заходящем солнце его церкви и белые избы; налево, тут же, мимо Пронозовки, шла большая дорога, и вы могли охватить ее глазом всю, до самого Градижска и даже проследить ее повороты на горе; направо спуск на широкие заливные луга, а дальше Днепр в низких берегах, совсем такой, как его описал нам великий малорусский поэт: “Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина...”. В то время пароходов еще не было, но по реке ходили довольно часто большие парусные суда, которые в нашей местности назывались “байдаками”. Мы, дети, с величайшим интересом следили за ходом этих судов.

Внизу, под Пронозовкой, плавни Ивана Григорьевича были недалеко от наших. Во время косовицы и уборки сена мы могли его видеть издали, у его косарей, в широкополой соломенной шляпе и в просторном парусинном летнем костюме, и дети непременно перебежали к нему через чужие луга, чтобы передать привет от отца и поискать новых раковин на его берегу. Он встречал нас, как всегда, очень благодушно и сам отправлялся к отцу на наши плавни.

Случалось, что в такие дни мы заходили к нему обедать, а иногда и ночевать.

Он любил и умел принять гостей. Его гостиная, она же и столовая, была очень недурно обставлена. Это была, в сущности, единственная комната, в которой можно было расположиться с некоторым комфортом, и однако, 24-го июня, в день его именин, к нему собиралось довольно много гостей. Бывали непременно мои родители, а когда я стал подрастать, то брали и меня, бывали Пестржецкие — Леонтий Дмитриевич и Андрей Леонтьевич, бывала Амалия Осиповна Булюбаш, бывала непременно Надежда Яковлевна, пока жила в Петрашовке, бывал Александр Александрович Деконор с супругой, и прием бывал всегда на славу; всегда у него был не только хороший малорусский обед с жареной индейкой, но и такие столичные де-

ликаты, каких не знали наши местные гастрономы. Был тут и лимбургский сыр для мужчин, и высокого качества желтый чай, который разливала обыкновенно одна из дам, и вкусные недомодельные печенья и даже бонбоньерки с конфетами. Сам Иван Григорьевич держал себя так, как будто все это в порядке вещей. Осевши в деревне, он, может быть, и не имел уже прежнего подтянутого вида, но у него до глубокой старости сохранилась его изысканная повадка в обращении и выглядел он в своей единственной приемной комнате настоящим родовитым баринном.

Какая же волшебная фея помогала ему быть таким гостеприимным хозяином?

У этого небогатого Пронозовского землевладельца были сыновья в Петербурге и в Москве, занимавшие высокое служебное положение, люди очень обеспеченные и люди достойные высокого уважения уже по одному тому, что они со вниманием и с заботливостью относились к своему отцу.

Его небольшое домашнее хозяйство вела его экономка, бойкая Марфа Ивановна, но средства для этого хозяйства доставлялись ему сыновьями.

Они редко бывали в Пронозовке, но Иван Григорьевич уезжал иногда в Петербург по зимам, и надо было удивляться, как он решался в его годы на многодневное путешествие на перекладных до Москвы. Железной дороги тогда еще не было... Из Петербурга он писал иногда длинные письма моему отцу. Я знал сыновей Ивана Григорьевича.

Старший, Александр Иванович, в звании камер-юнкера, долго занимал должность агента нашего министерства финансов в Париже. Впоследствии он был директором департамента мануфактур и торговли (об этом именно назначении и сообщал Позен моему отцу в Полтаве в 1858 г.). Ему принадлежит первое политико-экономическое сочинение на русском языке: "Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии". В трех томах. С.-Пб., в типографии Собст. Е. И. В. Канцелярии 1847. На это сочинение обратили внимание специалисты и сведущие люди, и за Александром Ивановичем утвердилась репутация авторитетного человека в экономических вопросах. По привычкам и по внешности он был человек большого размаха и утонченной культуры.

Он говорил по-французски как француз и был очень чуток ко всему вульгарному, пошлому и мелочному. Он был женат на княжне Шаховской. Позднее мы с женой пользовались знакомством его дочери, графини Александры Александровны Толстой, и искренно сожалели о рановременной кончине этой любезной, обязательной и высокообразованной женщины. У нее в доме, благодаря ее особенному к нам вниманию, мы имели случай познакомиться со всеми представителями рода Бутовских, находившимися в Петрограде.

Второй, Виктор Иванович, был директором Строгановского училища живописи и ваяния в Москве и имел придворное звание егермейстера.

В 1863 г., на пути в Петроград из Кременчугского уезда, где я был прикомандирован к мировому съезду, я нарочно остановился в Москве, чтобы побывать у Виктора Ивановича; этого хотел Иван Григорьевич.

Я познакомился там с тремя прелестными его дочерьми, совсем еще молодыми девицами, из которых одна, Александра Викторовна, вышла потом замуж за Евгения Васильевича Богдановича, тогда гвардейского стрелкового офицера, а впоследствии известного общественного деятеля.

Сам Виктор Иванович был милый, обходительный человек. По его указаниям и по собранным им материалам Виоле Ледюк написал свою известную историю русского искусства.

Гораздо уже позднее мы с женой познакомились с Богдановичами, и Александра Викторовна относилась к нам с истинно родственным расположением.

Она умерла осенью 1914 г., через два месяца после смерти своего мужа. Меньшиков посвятил ей теплые строки в "Письмах к Ближним". "Она заслуживает, — говорит он, — долговременной памяти не только тех, кто знал ее и находил радость в общении с ней, но и всего русского общества, хотя она и не пользовалась при жизни ее сколько-нибудь широкой известностью. Очень известен был муж ее, "генерал Богданович", 85-летний слепой старец, бард самодержавия и православия, всего три месяца назад скончавшийся. Он достаточно в свое время гремел и до болезненности интересовался своей славой; она же, кроткая старушка, его жена, все время оставалась в тени, служа ему всем, чем может служить глубоко любящая женщи-

на. Она была личным секретарем, его сиделкой, переписчицей особо важных бумаг, чтицей, собеседницей, громоотводом для старческих вспышек, а главное — ближайшим к нему родным сердцем, до конца жалостливым и самоотверженным. Александра Викторовна скончалась 68 лет. В течение целых десятилетий она была душой крайне гостеприимного дома, где ежедневно съезжались к завтраку и обеду “гости” — из провинции и из Петрограда. Едва ли это был слишком широкий круг, но согласитесь, что уже одна сотня знакомых, считающих долгом позавтракать у вас или пообедать раза два в месяц, в состоянии озадачить хозяйку дома, а у Богдановичей была не одна сотня знакомых, и особенно желанными гостями были, конечно, люди их круга — министры, товарищи министров, губернаторы, губернские предводители дворянства, генерал-адъютанты, митрополиты и архиереи... Для сколько-нибудь черствой и привередливой светской старухи ее роль показалась бы каторжной, и такая старуха разогнала бы своих гостей, перессорила бы их, а не соединила. Ведь какой соблазн при стекающихся со всех сторон интимных новостях, при непрерывной и живой хронике столицы и России, при разговорах на скандальные темы дня, какой соблазн, говорю я, посплетничать, вмешать свое женское любопытство и проявить печальный у многих женщин дар фантазии. От Александры Викторовны вы не могли услышать ничего, напоминающего сплетню. Я не помню ни одного сколько-нибудь резкого, ни одного озлобленного отзыва ее ни о ком. Отрицательное было как будто несвойственно ее мозгу и языку. Не знаю, как для других гостей Богдановичей, но меня лично особенно пленяло у них наблюдать эту чудесную и милую старушку... В живом образе А. В. Богданович, рожденной Бутовской, я наслаждался созерцанием нашей старинной дворянской культуры, того хорошего тона, той истинно хорошей воспитанности, которая сквозит во всем у тех счастливых, которые в свое время ее получили”...

Третий, Леонид Иванович, был учеником второго выпуска из школы Правоведения. Почти всю свою жизнь он занимал должность правителя дел в Смольном институте. Он тоже посвящал свои досуги литературе и оставил книжку патристических и религиозных стихотворений, писанных на разные

случаи. Он умер в 80-х годах прошлого столетия; сын его, Дмитрий Леонидович, скончался не в очень еще большом возрасте в 1914 г.

Четвертый, Юлий Иванович, был горным инженером, и в молодых чинах служил на золотых приисках в Сибири. Впоследствии он состоял при Технологическом институте, и оставался в этом заведении и по его преобразовании. Мы были знакомы с его супругой Юлией Ивановной, урожденной Массон, и с его дочерью Верой Юльевной.

Было и еще два сына у Ивана Григорьевича: Аркадий Иванович и Платон Иванович.

Аркадий Иванович был способный и остроумный человек. Он написал маленькие рассказы из Русской истории для детей; но беспорядочная и разгульная жизнь преждевременно свела его в могилу.

Платон Иванович погиб жертвой несчастной случайности; ломовик, выезжая из ворот дома, ударил его оглоблей в висок, и он умер на месте.

Дочь Ивана Григорьевича, Елену Ивановну, я видел раза два у ее братьев, и помню ее как энергичную и очень добродушную пожилую даму. Она была замужем за Тимковским. Говорили, что он был замешан в деле Петрашевского, долго жил в Сибири и был помилован только с воцарением Александра II. Жена была все время при нем. Он был известен в тогдашних литературных кругах как переводчик Кальдерона. Я видел его всего один раз. Они жили по Загородному проспекту, в доме, принадлежащем Технологическому институту; верхний этаж занимал Александр Иванович, средний — Юлий Иванович, а в нижнем жили Тимковские.

У нас в Пелеховщине все сердечно любили Ивана Григорьевича, и взрослые и дети. Его приезд был для нас праздником, и он нередко бывал у нас во всякое время года. Приезжал он обыкновенно к вечеру и гостил дня по два, по три.

Отношения его к моему отцу были самые теплые, искрение и дружеские, и отец мой платил ему тем же. Всегда был у них интересный, животрепещущий предмет разговора. Обсуждались и хозяйственные, и соседские, и общественные и политические дела. Последние газетные известия узнавали мы часто только от Ивана Григорьевича, так как он получал больше га-

зет, чем мы. Во взглядах своих они, однако, не всегда сходились. Иван Григорьевич был убежденный поклонник александровской эпохи; он прожил лучшие свои годы в эту эпоху и смотрел на нее как на невозвратно отошедшее золотое прошлое; это и высказалось в таких его статьях, как “Александровская колонна”, Воспоминания о 1805 г., о Тильзите и пр. Александр I был его идеалом, предметом его поклонения; самое имя “Александр” он произносил с какой-то умиленной интонацией. Отец мой был человек нового времени, и естественно, что иногда ему приходилось высказывать мысли, несогласные с убеждениями его собеседника, и настаивать на справедливости своих мнений. Это раздражало Ивана Григорьевича; повышенным тоном, в форме выговора, он говорил отцу, что юношам рано еще иметь свои суждения по важным вопросам.

— Помилуйте дядюшка, какой же я юноша, — со смехом говорил мой отец, — мне ведь уже давно минуло сорок...

— Сорок! — возражал с каким-то комическим раздражением Иван Григорьевич, — сорок лет назад я уже служил моему незабвенному государю на поле битвы и больше могу понимать в этих делах, чем люди нового поколения.

После таких размолвок они становились как будто еще более близкими друзьями.

Иван Григорьевич живо интересовался работами отца по крестьянскому вопросу. Часто и много говорили они о нем. Сначала он приходил в живейшее раздражение, замечая, что “юноша” не крепко держится сословных интересов; наконец, после многих толков, он вошел в идеи отца, участливо выслушивал его мнения, становился даже иногда на еще более современную точку зрения и в заключение написал свой собственный проект об освобождении крестьян, который и передал моему отцу в надежде, как он говорил, что в нем найдутся некоторые полезные указания.

Отец мой с удивлением говорил, что Иван Григорьевич в этом проекте обнаружил такой широкий и гуманный взгляд на крестьянский вопрос, какого не всегда можно было встретить даже у передовых деятелей по этому вопросу.

Я сказал уже, что отец мой умел расположить Ивана Григорьевича к воспоминаниям и к рассказам. Воспоминания эти относились главным образом к эпохе обожаемого им импера-

тора. В них не было ничего связного, последовательного, все это были эпизоды, но в них было много интересного и иногда неожиданного.

Мы, дети, любили эти воспоминания, да и было чего послушать.

В 1805 г., в Браунау, он был в течение нескольких дней бессменным ординарцем у Кутузова; он описывал нам его наружность, его нрав, его спокойное и умелое обращение с солдатами. Прямо скажу, слушая Ивана Григорьевича, мы как бы предвкушали того маститого и мудрого Кутузова, которого дал нам Л. Толстой в “Войне и Мире”. Он пользовался особенным расположением своего начальника дивизии Дохтурова, он близко видел тогдашнего дежурного генерала, заслужившего впоследствии почетную известность Инзова, он часто видел Милорадовича... Он увлекательно рассказывал нам о тогдашних военных порядках, о тех тягостях, которые доставляли солдату тогдашняя форма обмундирования, пудра, косы, лосинные панталоны; о сражениях, в которых он принимал участие... о походных случайностях, о нравах жителей в чужих краях. На него, как на молодого и бойкого человека, часто обращали внимание высшие чины в армии, и он ничего этого не забыл; он тогда уже вел свой дневник. В 1807 г. он бывал ординарцем у Багратиона. Он часто видел Платова и говорил с ним, близко видел Беннигсена, рассказывал о Прейсиш-Эйлауском сражении как участник и, наконец, в Тильзите он не раз видел обоих императоров. Он много рассказывал о Наполеоне, описывал его наружность, костюм, его манеры, выражение его лица. В его представлении Наполеон, хотя и был фигурой своеобразной, заметной, но много терял по сравнению с прирожденным величием и чарующими манерами Александра I.

Он ясно помнил Тильзитское свидание, не раз говаривал, что Денис Давыдов не совсем верно описал его обстановку. Это обстоятельство и побудило его написать статью о Тильзите, которую он поместил в Русском Инвалиде.

— Вы, следовательно, видели и королеву Луизу? — спросил как-то мой отец.

— Видел?! — как бы обиженно восклицает Иван Григорьевич, — да я танцевал с нею, и не раз...

— Танцевали?

— Да поймите же вы, я был едва ли не единственным из моих молодых сослуживцев, свободно говоривший по-французски и знавший все тогдашние светские танцы; меня в Тильзите не приглашали, а наряжали на все официальные собрания, и вот, бал начинался обыкновенно полонезом; в первой фигуре, в круге, кавалеры меняют своих дам; естественно, что когда до меня доходила очередь, я обязан предлагать руку приближавшейся ко мне королеве и делать с ней несколько шагов до следующего сигнала дирижера... Да, вздыхал он, — наш несравненный император был тогда видимо увлечен этой немецкой волшебницей...

Не могу забыть одного забавного и трогательного случая: как-то вечером, уже в 60-х годах, сестра моя Ольга Дмитриевна, превосходная пианистка, заиграла мазурку. “В ваше время, дядюшка, мазурки еще не танцевали?” — спросил мой отец.

— Как не танцевали? Мы увлекались мазуркой, выделяли такие звучные голубцы, каких молодежь не умеет теперь уже делать.... В мое время мы танцевали ее с особенными прихотливаниями...

— Я танцевал ее в Польше, — заметил мой отец, — и в тридцатых годах мы танцевали ее совсем беззвучно, мы делали приблизительно такие па... — и он показал примерно основные шаги мазурки.

— Да разве это мазурка?! — вскипятился Иван Григорьевич, — мы в наше время вот как ее танцевали! — и он лихо сделал несколько бойких шагов, — а так, как вы, у нас танцевали только дамы. Дайте сюда вашу руку.

И эта пара, в которой одному было 76, а другому 55 лет, лихо сделала тур мазурки вокруг залы. Мама с умилением смотрела на эту сцену и сказала:

— Господи, если бы мои дети, дожив до такого возраста, были в состоянии так весело и с таким увлечением танцевать мазурку...

Но и для деловых бесед, и для воспоминаний было свое время; выпадали и такие часы, когда и старые и малые занимались бездельем. Длинными зимними вечерами между чаем и ужином и Иван Григорьевич, и наши родители, и все мы дети садились играть в мельника. Старику это доставляло видимое удовольствие, и мы, дети, с величайшею

охотой садились играть с Иваном Григорьевичем. Он играл с большим благодушием, но иногда вдруг вспыхивал, когда кто-нибудь из нас, особенно из младших, Коля или Евгений, клал ему младшую карту на его выход или принимал из общей кучи такую карту, которую он готов был покрыть. “У-у, варвар!” — вскрикивал он, косясь на партнера. Все мы от души смеялись, смеялся и он сам; но иногда и он умел во время принять карту, чтобы поставить в затруднение своего соседа.

Эти семейные вечера видимо привязывали его к нашей семье... У меня сохранилось такое письмо этого когда-то очень близкого нам человека:

“Посылаю газеты другу Дмитрию Петровичу, Надежде Степановне лимон, Ольге Дмитриевне апельсин, Маше, моей фаворитке, апельсин и двум молодцам тоже апельсины.

До приятного свидания — Ив. Бутовский”.

22 апреля 1861. Пронозовка.

Он сошелся также и с моим дядей Алексеем Степановичем и не раз бывал с нами в Пятигорцах.

Чтобы дать читателю полное представление об Иване Григорьевиче, я должен сказать, что он был человек очень твердых религиозных убеждений, которых он не высказывал и никому не навязывал, но которые сами собой обнаруживались, когда речь заходила о предметах веры. В исполнении религиозных обрядов он был неуклонно тверд. Была у него также и редкая внутренняя чистота побуждений и мыслей. Я помню, что он брезгливо откладывал книги, в которых ему попадались слишком свободные суждения о серьезных предметах или что-нибудь безнравственное и циничское. Он не любил Сервантеса, опошлившего рыцарскую доблесть, бросил как-то роман Фридерика Сулье за то, что там отведено слишком большое место дьяволу.

Не найдя у своего пронозовского духовника тех пастырских качеств, которые должны украшать священнослужителя, он стал ездить в церковь в Кирьяковку и говеть у нашего отца Кирилла, верст за 10 от Пронозовки.

Вспоминается мне чудная апрельская ночь, когда сговорившись с Иваном Григорьевичем, мы съехались у нашего священника в страстную субботу и, отстояв вместе с ним

заутреню и обедню, вместе возвратились к нам на семейные розговены.

Старик чувствовал себя в таком же праздничном подъеме и так же весело приветствовал воскресную зарю, как и мы, дети.

Он умер в 1870 г. 86 лет от роду.

Я видел его последний раз за год до его смерти в Петербурге, в квартире Юлия Ивановича. Он был бодр, но почти ничего не видел. Сыновья упрасивали его остаться в Петербурге, но ему не хотелось расстаться со своим домиком в Пронозовке... Наша мама посещала его, слабого уже и слепого, приводила в порядок его домашнее хозяйство и проводила его до последнего жилища...



В заключение хочу припомнить о нескольких счастливых месяцах, проведенных мною в Пелеховщине по окончании термина моего прикомандирования к Петровскому-Полтавскому кадетскому корпусу.

По обнаружении манифеста об освобождении крестьян, ввиду огромной потребности в сведущих землемерах, последовало Высочайшее разрешение на прикомандирование к мировым съездам, в качестве землемеров, молодых гвардейских офицеров, прошедших в кадетских корпусах курс дополнительного, 3-го специального класса. По желанию отца, я прикомандировался к мировому съезду Кременчугского уезда и работал с 1 августа 1861 до конца февраля 1863 года в 3-м мировом участке, где посредником был сначала Андрей Леонтьевич Пестржецкий, а по его уходу, в 1862 г., мой отец. Вспоминаю с особенным удовольствием это мое почти чернорабочее время, оно надолго дало мне запас физической и духовной бодрости, и именно оно укрепило во мне мою какую-то почти стихийную любовь к нашей родной степи. По роду моих занятий я жил в этой степи, на воздухе, во все времена года, я видел ее во всех ее нарядах, я сроднился с ее манящей бесконечностью и долго потом скучал по ней, оторванный от дома моей дальнейшей службой. В это время и в нашей семье чувствовалось какое-то повышенное настроение. Отец с понятным подъемом работал как мировой по-

средник, он практически приводил в исполнение то дело, над которым так много думал и трудился в губернском комитете... К этому времени окончила Полтавский институт моя дорогая сестра Ольга Дмитриевна; она окончила его с шифром, и возвращение ее домой внесло в нашу среду тот элемент свежести и мягкости, который составлял как бы сущность ее молодой и богато одаренной природы... Я сказал уже, она была превосходная пианистка; я тоже в то время порядочно играл уже на флейте, и как много наслаждения доставляли нам тогдашние модные романтические музыкальные вещи и транскрипции... Мы упивались в то время мелодиями Беллини, Россини, До-ницетти...

Когда для меня выпадали свободные дни, мы много гуляли и любили предпринимать поездки. Несколько раз за это время мы ездили вдвоем в Пятигорцы. На полпути останавливались покормить лошадей, пообедать, а то и переночевать в хуторе Сотницком, внизу около ракич, у доброй нашей знакомой Марии Лукинишны Езучевской. Дочь ее была подругой моей сестры по институту. Иногда мы заставляли тут ее ближайших соседей Козинцев и Анну Петровну Чудинову с детьми, и весело проводили вечер в танцах и играх. Но о поездках приятнее иногда вспоминать, чем совершать их на самом деле. Был с нами однажды такой случай: время было под масленицу, стояла снежная зима; выехали мы из дому в открытых парных санях, кажется, вовремя, казалось, не слишком долго просидели за обедом в Сотницком, но едва мы проехали Лукомье, начало смеркаться и повалил густой тяжелый влажный снег; стало совсем темно; замечаем, что едем не по дороге, и вдруг лошади внезапно останавливаются... Что такое? Кучер Тарас и лакей Иван докладывают нам, что мы стоим не то над провалем, не то над крутым спуском куда-то вниз, но куда? Бог его знает... Постояли в нерешительности, стали гадать, как мы будем проводить ночь, не будем ли мы засыпаны снегом. Назад до Лукомья, верст на десять, нет никакого жилья, есть только лесистые овраги, в которых водятся волки. Как вдруг внизу, где-то очень далеко послышался собачий лай... Решили, что Ивану надо найти спуск, разузнать, где мы находимся, и, если можно, привести проводника. Приказали Ивану при возвращении подавать громкие отклики, чтобы не

потеряться. Ждали, ждали, вероятно час—другой... Наконец вдали послышался тонкий звучный голос Ивана; пришел и проводник. Оказалось, что мы стоим над провалем у Юсковец, верстах в пяти в стороне от Пятигорец, и что если бы наши лошади сделали еще шага два, три, то мы лежали бы в глубоком снегу на дне этого провала.

Кончилось все это благополучно, но мы приехали в Пятигорцы уже после полуночи и на другой день получили не то строгий, не то дружеский реприманд от дяди Алексея Степановича.

На другой день, однако, он нас по-родственному повез в своей карете в Лубны, где мы танцевали и в собрании, и у генеральши Бойко, а отпуская нас домой, взял с нас слово, что мы переночуем в Сотницком и выедем на другой день не поздно, чтобы засветло поспеть в Пелеховщину.



В начале марта 1863 г. я выехал из Пелеховщины по вызову начальства л.-гв. Павловского полка, в котором я тогда служил. 2-я гвардейская дивизия выступила в то время из Петербурга в Литву и мне приказано было немедленно явиться в полк.



На этом я заканчиваю мои детские и юношеская воспоминания о “Родном гнезде”. Много последующих лет моей жизни я провел далеко от этого гнезда и только позднее, уже приближаясь к старости, я снова стал проводить в нем спокойные и счастливые дни, напоминающие мне мою молодость. Я снова полюбил нашу степь, наш большой сад, наш дом, возобновленный и увеличенный заботами моей милой супруги, и нашу деревню, в которой есть теперь и школа, и столярная мастерская, в которой я вижу благосостояние наших соседей крестьян. Всем этим наша деревня обязана тоже моей дорогой Анне Васильевне, сердечно отзывающейся на все материальные и духовные потребности местного населения. Когда-нибудь, если успею, я возвращусь еще к этим хорошим дням второй половины моей жизни.

Посвящаю эту часть моих воспоминаний детям любезных моих братьев и сестер: Ольги Дмитриевны, Николая Дмитриевича и покойных Евгения Дмитриевича и Марии Дмитриевны.

Буду думать, что сделал свое дело, если эти воспоминания пробудят в них интерес к старым судьбам нашего рода. Питаю надежду, что кто-нибудь из них или из их потомков продолжит эту хронику и передаст ее, в свою очередь, последующим поколениям.

Знание судеб своего рода — великое знание; в нем и удовлетворение и надежда:

“Когда-нибудь и обо мне вспомнят мои потомки”...

А. Д. БУТОВСКИЙ.

ПАМЯТИ
Его Императорскаго Высочества
Великаго Князя
КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА

—
(къ годовщинѣ его кончины).

—
ПЕТРОГРАДЪ.
Типографія „Художественная Печатня“, Демидовъ пер. 4.
1916.

Памяти Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича

(к годовщине его кончины)



I

Исполнился год со дня Его неожиданной и безвременной кончины.

Целый год люди, Его любившие, люди, работавшие под Его руководством, должны были свыкаться с мыслью, что они Его не увидят.

Но тем, кто любил Его, кто работал с Ним, привыкнуть к этой мысли не легко.

Трудно придти к сознанию, что этого человека, такого чуткого, такого отзывчивого на всякую живую мысль, на всякое доброе чувство, уже нет в живых, что Он не встретит вас Своей чарующей улыбкой, Своим ласковым взглядом, Своим добрым подкупающим словом.

И в общественной, и в частной жизни, где бы Он ни появлялся, Он так бывал всегда на месте, Он был всегда таким желанным, таким необходимым, таким незаменимым, что и теперь, когда нам приходится быть в такой же обстановке, в такой же среде, Его образ сам собой встает перед нами, мы видим, мы чувствуем Его нашими духовными очами и переживаем невозвратное, но дорогое, полное светлых воспоминаний и всегда богатое содержанием прошлое.

Входите вы в храм Божий, в корпусную или училищную церковь; вот то место, где он обыкновенно стоял во время богослужения: средний проход между ротами, против царских врат, почти по линии задних взводов.

Тому, кто не служил в то время по военно-учебным заведениям, трудно даже представить себе, какое влияние оказывало на воспитанников присутствие Великого Князя в их церкви.

Для всех Он был примером благоговейного отношения к богослужению, и какой это был высокопоучительный пример.

Редко можно было встретить человека, так проникновенно относящегося к службе Божьей. Тут не было ровно ничего рассчитанного на представительность или на преподавание примера, как это бывает у других начальствующих лиц. Он стоит прямо, как человек военный, Он представительен по своей внешности, но вы чувствуете, что Он далеко от всякой суетной мысли и весь погружен в молитвенное созерцание. Кто из нас, знавших Его, не замечал, с каким сосредоточенным вниманием следит Он за ходом богослужения; в самом крестном знамении, которым Он осенял Себя, не частом, не показном, но всегда своевременном и истовом, видна была Его глубокая вера ...

Я имел счастье сопровождать Великого Князя и Его семейство в чудесном путешествии вниз по Волге, от Твери до Владимира на Клязьме, предпринятом им в 1908 г. для поклонения русским святыням и для ознакомления с русскими древностями.

Я состоял при Нем во время Его выездов, по Высочайшему повелению, в 1901 г. во Владимир-Волынский, для освящения нового собора, и в 1910 г. в Полоцк, для встречи мощей княгини Ефросинии Полоцкой. Во время этих путешествий я всегда с умилением наблюдал Его глубокую и трогательную по своей искренности набожность.

И как прекрасно сочеталось у Великого Князя Его молитвенное настроение с представительностью и величием, когда это вызывалось его высоким положением. Не могу забыть здравяцы Государю, провозглашенной Им во Владимире-Волынском, на большой соборной площади, многим тысячам народа.

Не раз с таким же гармоническим сочетанием молитвенного настроения и величия присутствовал Он при освящении новых знамен, жалованных военно-учебным заведениям.

Припомните Его на председательском месте в Педагогическом комитете Главного Управления или в посещаемых Им военно-учебных заведениях. Сколько спокойствия и сколько благожелательного отношения к высказываемым мнениям. Потом, сколько осторожности и вдумчивости в заключительных словах по окончании прений.

Мы переживали период горячего обсуждения мер, будь то бы вызываемых опытом только что кончившейся японской войны. Великий Князь, именно своей осторожностью и вдумчивостью, предупредил принятие Особым Совещанием некоторых решительных, но, в сущности, малообоснованных мер, охотно предлагавшихся в то время *людьми, мало знакомыми с положением дел в военно-учебных заведениях*. Он уберег от искажения прекрасную “Инструкцию по воспитательной части” для кадетских корпусов, которую находили в то время устарелой и мало отвечающей новому более свободному направлению в воспитании.

Вспомним бывшего Главного Начальника в Его приемной комнате, где Он слушал доклад чинов Управления и принимал представляющихся и просителей. Сколько тут было внимания к делу, сколько сердечного благорасположения и любезности, сколько желания придти на помощь, облегчить, утешить. И действительно, как много удовлетворенных и утешенных выходило из Его приемной комнаты!

Говорили, что это слабость, что снисходительность к воспитанникам, признанным безнадежными, и перевод их из корпуса в корпус ведет только к тому, что они закрывают вакансии для свежего нормального контингента учеников. С формальной стороны это как будто бы имеет основание; но как глубоко, как человечно понимал Великий Князь, что воспитательное заведение — не фабрика для машинного производства людей. И сколько порядочных юношей было спасено, сколько горячих материнских слез было осушено таким человеческим отношением.

Я сам, по поручению Великого Князя, проверял последствия этой Его кажущейся слабости к неуспевающим кадетам. Могу по совести сказать, что большинство переводимых в другие корпуса, вместо предназначенного для них исключения, исправлялось и порядочно оканчивало курс в военных училищах. Не подающих надежды к исправлению в новом заведении бесповоротно возвращали родителям при первом дурном шаге с их стороны.

Вот Великий Князь сидит на уроке. Сидит Он обыкновенно на задней скамье, посередине, рядом с кадетом и иногда с интересом рассматривает его тетрадки, но Он внимательно

слушает, что делается в классе, и если кадет отвечает, то иногда задает ему вопросы. Эти вопросы всегда направлены к тому, чтобы определить степень общего развития кадета и больший или меньший интерес его к предмету. Он придавал большое значение самостоятельным учебным работам кадетов и с живым участием выслушивал их доклады на заданные темы; после заключительных слов учителя Он обыкновенно в очень мягких, поощрительных выражениях высказывал и свои замечания. Серьезное внимание обращал Он всегда на выбор тем для рефератов, предостерегая и учителей и начальство от заданий философского и вообще отвлеченного характера, непосильных еще для кадетов и способных только развить в них верхоглядство. Мне случалось уже говорить, как внимательно слушал Он ответы кадетов по Закону Божьему, особенно в старших классах; Его не удовлетворяло заучивание одной только догматической стороны нашего вероучения; урок Закона Божьего, по Его убеждению, должен быть прежде всего уроком воспитания в вере и в духе христианской нравственности. Для Него и вообще весь цикл программных знаний мог иметь настоящее, реальное значение, когда он способствовал воспитанию духовно-нравственной стороны человека. И как много делал в этом отношении Великий Князь, может быть, и Сам не отдавая Себе в этом отчета, так как это вытекало из самой сущности Его природы, своими беседами с начальством заведений, с воспитателями, с учителями, и может быть, особенно с самими воспитанниками...

Но вот свободное от уроков время, и Великий Князь окружен кадетами.

Много говорили, что этого совсем не нужно, что это погоня за популярностью, что это баловство, ведущее к распущенности...

Говорили это, однако, не в военно-учебных заведениях. Есть люди, не понимавшие любовного, снисходительного отношения к окружающим, без какой-нибудь задней мысли сомнительного достоинства, без попустительства и без панибратства. Те, кто видел нашего незабвенного Августейшего Главного Начальника среди кадетов и юношей, если у них была хоть капля наблюдательности и душевного проникновения, не могли так думать, напротив, они должны были чув-

ствовать глубокое удовлетворение от того благодетельного подъема, который пробуждался в воспитанниках ласковым, любовным обращением к ним Великого Князя... Разумеется, не всякий имеет этот дар воздействия одним только ласковым обращением, так как не всякому дано любвеобильное сердце... Нигде, может быть, в других случаях нельзя было наблюдать у Великого Князя такого непогрешимого такта, такой высокой внутренней чистоты и такой сердечности, как в этих беседах с окружающими его кадетами. Эти качества живо чувствовались юношами, и никогда в минуты самого большого оживления они не забывали, кто удостоивает их своей беседой... Это было именно то истинное воспитательное общение, которое, по общему убеждению сотрудников Великого Князя, особенно благодетельно действовало на настроение кадетов. Они были привязаны к Нему всей своей душой; они поверяли Ему все сокровенные движения этой души, и как много можно было бы рассказать случаев, когда одним своим простым словом Он переворачивал весь внутренний мир мальчика или разрушал ненормальные и уродливые явления, твердо сложившиеся в жизни закрытого заведения.

Он был очень чуток к душевному настроению, к складу мыслей, к способностям и наклонностям окружающих Его людей. Если неожиданно Он замечал в человеке выдающиеся черты характера, серьезные знания, призвание к какому-нибудь делу, Он начинал чувствовать к нему сердечное расположение. Такого человека Он не забывал и любил вспоминать о нем.

— Довольны ли вы, что снова увидите такого-то? — спрашивает Он своих спутников. — Я очень доволен. Как умно и смело говорит он в комитетах, и заметьте, что значит сила убеждения: многим от него достается, но никто на него не обижается.

Он очень задушевно относился к кадетам, которые из нерадивых и ленивых, какими они были в младших классах, на Его глазах постепенно выправлялись и становились порядочными юношами. Он не терял их из виду и в училище и даже на службе, не упускал случая поговорить с ними и от некоторых из них требовал даже письменного извещения о положении их дел.

Не раз можно было видеть Великого Князя внимательно читающим тетрадку стихотворений, написанных кадетом.

Прочитав и сделав карандашом Свои отметки, Он обыкновенно серьезно, но как-то любовно указывал кадету на слабые и сильные стороны его юношеских опытов. Никогда не упускал Он случая, встречая такого молодого человека впоследствии, осведомиться о новых его работах.

Его очень подкупало, когда к нему обращались не как к начальнику, не как к особе, стоящей на неизмеримой высоте, а просто как к человеку, способному понять чужую радость и чужое горе, готовому утешить своим сочувствием и придти на помощь в случае нужды. Иногда самая наивность такой просьбы трогала Его, и Он готов был сделать все возможное, чтобы доставить удовольствие просителю.

Не обходилось без того, чтобы иные не пользовались этой неисчерпаемой добротой. Вот следит Он и внимательно просматривает красивую тетрадку. “Ну, стихи у этой девицы довольно топорные... Но зато какое чудесное письмо она Мне написала. Поэзия — это ее призвание; она просит моего благословения, советов, указаний... Потом ей хочется иметь том Моих стихотворений с Моей подписью... Я, разумеется, охотно исполню ее желание”...

Бывали иногда просьбы и гораздо менее бескорыстного свойства.

Всегда одинаково любезный и приветливый, Он, однако, не со всеми охотно делился своими душевными чувствами и мыслями. С людьми, не способными войти в Его внутренний мир, Он не расточал сокровищ Своего духа, в Нем можно было заметить некоторую сдержанность. Особенно не любил он педантических доктринеров, любящих иногда блеснуть своими знаниями в присутствии Высоких Особ.

Иначе этого и быть не могло. Душа его ярко выражалась в Его несравненных стихотворениях, и мне вспоминались в таких случаях чудные строки, написанные Им еще в молодости:

Не осудите слабости случайной,
Души моей поймите голос тайный.
Что может ум без сердца сотворить?
Я не умею петь без увлеченья
И не могу свои творенья
Холодному рассудку подчинить!..

❧ П ❧

Я говорю искренно; я говорю о незабвенном Великом Князе так, как он рисуется теперь в моих воспоминаниях, и с утешением сознаю, что не уклоняюсь от истины. В августе прошлого года, в “Русской Старине”, была напечатана моя статья “В вагоне Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений”. По поводу этой статьи я получил десятки писем от людей, более или менее близких к военно-учебным заведениям. Во всех этих письмах мне отрадно было читать самые теплые, самые сердечные отзывы о дорогом усопшем. Это такой памятник, какого не может воздвигнуть один человек, и я считаю уместным привести некоторые из этих отзывов, как свидетельство тех добрых чувств и той благодарной памяти, которые оставил по Себе наш незабвенный Главный Начальник у людей, близко Его знавших и с Ним работавших.

Вот несколько выдержек из этих писем:

11 октября 1915 г. “С чувством глубокого волнения и удовольствия прочитал я тотчас по получении вашу брошюру. Волной налетели на меня воспоминания о незабвенном Великом Князе, которого я обожал всеми силами своей души, воспоминания о котором есть лучшие минуты моей жизни, а невозвратная утрата которого была для меня великим горем. Свет погас и не вспыхнет вновь. Такие люди рождаются столетиями и даже реже... Светлые дни, когда я имел великое счастье быть около Великого Князя в дни его пребывания в корпусе, никогда не забудутся. Воспоминания о них служат для меня источником лучших наслаждений”...

14 октября 1915 г. “Прочтя брошюру “В Вагоне”, не знаю, как и благодарить вас за то чувство удовлетворения, которое она во мне оставила. Я вновь переживал в своей памяти незабвенные дни, проведенные и мной в вагоне обожаемого нами Великого Князя. Память о Нем для меня священна, и все, что напоминает мне Его несравненную личность, в высшей степени дорого”...

14 октября 1915 г. “Прочел присланный мне вами “Отрывок из воспоминаний” о незабвенном нашем Великом Князе, и вспомнились мне Пушкинские строки: “Минувшее меня

объемлет живо, и, кажется, еще вчера"... как бы хотелось вернуть это "вчера"!"

16 октября 1915 г. "Я читал вашу статью в "Русской Старине", и сколько самых светлых воспоминаний пробудила она во мне! Образ почившего стоял передо мной, как живой. Последний раз я представлялся Великому Князю в декабре прошлого года, почти накануне Его тяжкого заболевания. Великий Князь был по обыкновению любезен, оживлен, оставил меня у себя завтракать. Ничто не предвещало, что так близок конец. Грустно! Верите ли, пишу эти строки — и слезы туманят глаза. Много, много потеряли все мы, вся учащаяся наша молодежь, их отцы и матери, в лице почившего!.."

25 октября 1915 г. "С величайшим интересом прочел ваше "В Вагоне Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений". Для всех нас Его кончина — тяжкая и незаменимая утрата. Погасла яркая путеводная звезда!.. Ушел от нас кристаллически чистый и необычайной доброты человек!.."

11 ноября 1915 г. "При чтении вашей брошюры я испытал сердечный трепет и волнение. С грустью надо признать, что ушел из жизни большой человек, память о котором я благоговейно чту... Думаю, что военно-учебное ведомство, на благо и пользу которого так много и плодотворно потрудился Великий Князь, должно принять меры к тому, чтобы память об усопшем не заглохла".

22 ноября 1915 г. "Не могу удержаться, чтобы не написать вам и не принести самой горячей признательности за то удовольствие, которое я испытал, читая ваши задушевные строки. Светлый образ безвременно почившего, бесконечно мне дорогого Великого Князя так и встал перед глазами... В немногих словах вы сумели нарисовать суть отношений Великого Князя к военно-учебным заведениям, сумели передать ту теплоту чувства, ту сердечность, которая создавала вокруг Князя особую атмосферу любви и полного доверия..."

12 января 1916 г. "Вспоминать о дорогом покойнике и дорого и сладостно. Личность Великого Князя вся была проникнута каким-то особенным благородством; видно было, что все недостойное, низменное ему органически чуждо. Обаятельно действовали его гуманность и просвещенность, принимая оба эти термина в том смысле, в каком их употребляют историки,

когда говорят о “просвещенном” абсолютизме и о развитии “гуманизма”. Любовь Его к детям и молодежи, ласки, которыми Он ее дарил, трогали сердца рядовых педагогов и вызывали в них теплое чувство... Он пленял не порывисто и внезапно, а спокойно, но непреодолимо; это была не яркая искра, а тихое сияние, которое успокаивает и примиряет. И этот кроткий свет озарял всех нас, проникал во все закоулки нашего ведомства: и жилось легко, и служилось легко в атмосфере доверия и благоволения; того самого “в человецех благоволения”, о котором пели ангелы”...

Без даты. “Прочел вашу брошюру с большим удовольствием и еще раз вспомнил Великого Князя, к памяти которого питаю самые высокие чувства, в чем не расхожусь с вами, как автором брошюры. Особенно ценил, уважал и любил я Великого Князя за чистоту души, идеализм и за то, что Он в каждом уважал человеческую личность. Вот почему приятно было с Ним служить и почему приезд Его не тяготил, как обыкновенно у нас бывает с приездом начальства, а оставлял какое-то мягкое и радостное впечатление”.

14 октября 1915 г. “La lecture de votre article m’a fait revivre pendant quelques instants trop courts avec ce charmeur, qu’il nous a été donné d’approcher, et don’t on peut dire bien certainement que l’amitié d’un tel homme est un bienfait des dieux; je ne peux évidemment pas prétendre avoir été l’ami de feu le Grand Duc. Mais je l’ai aimé bien sincèrement et de tout mon coeur”.

Остановимся на этом. Все это одни и те же мысли, одни и те же чувства, почти одни и те же слова; но тем большее значение имеют эти выдержки. Ведь эти люди, почтенные по их возрасту, по их положению и заслуживающие глубокого уважения уже по одной искренности, которой дышат их письма, — не сговаривались; у них не было и не могло быть другой побудительной причины писать мне, кроме нашей общей любви к дорогому Усопшему, а между тем, посмотрите, какое единодушие, какое полное согласие мыслей и чувств...

То сияние внутренней красоты, которым он озарял всех, имевших счастье к нему приближаться, глубоко западало в их сердца, и не померкнет оно, пока они живы. Для многих из его питомцев воспоминание о Нем будет путеводной звездой на предстоящем им жизненном поприще.

Все это естественно приводит к мысли об увековечении Его памяти и для будущих поколений.

По кончине Великого Князя Михаила Павловича в воспоминание о нем в кадетских корпусах, “находившихся под Его главным начальством”, были поставлены, по Высочайшему повелению, монументальные бронзовые бюсты, художественно передающие черты Его отечески серьезного лица. Это было в 1849 г., и с тех пор сколько поколений кадетов и юнкеров, вместе с памятью о родном корпусе, сохранили в себе образ этого достопамятного деятеля.

Нужно ли говорить, каким благородным актом справедливости и уважения к памяти Великого Князя Константина Константиновича была бы постановка и Его бюста, такой же художественной работы, во всех кадетских корпусах и военных училищах, которым выпало на долю неоценимое счастье быть под Его главным начальством и которые Он так любил и так часто посещал.



Не забудем, однако, что деятельность Усопшего не ограничивалась одними военно-учебными заведениями. Он оставил Свое Имя в истории как один из богато одаренных и просвещеннейших людей своего времени. Он был великим мастером русского слова и пленял нас своими чудными поэтическими произведениями. Он стоял во главе высшего научного учреждения в государстве. Он был попечителем института для высшего женского педагогического образования, и можно с полным основанием сказать, что он стоял у самого кормила русского просвещения. У Него было много живого интереса к литературе, к истории, к археологии, к вопросам религии и воспитания; Он был серьезным знатоком искусства во всех его отраслях и превосходным музыкантом.

Русские люди, чтущие Его память, сделали бы благое дело, соединившись в общество, преследующее просветительные цели. Общество можно было бы назвать “Русским обществом отечественного просвещения, в память Великого Князя Константина Константиновича”, и у этого общества нашлась бы работа.

Перед нами лежит еще безбрежное поле для деятельности во всех этих отраслях, и общество, вдохновляемое воспоминаниями о Великом Князе, могло бы с течением времени дать свой ценный вклад в эти области русской науки и искусства.

Сам Он делал всякое свое дело от всего сердца. Припомните, какой жаждой плодотворной работы дышат Его строфы, вызванные зрелищем водопада:

О, если б занять этой силы
И твердости здесь почерпнуть,
Чтоб смело свершать до могилы
Неведомый жизненный путь;
Чтоб с совестью чистой и ясной,
С открытым и ясным челом
Пробиться до цели прекрасной
В бореньи с неправдой и злом.

Петроград
2 июня 1916 года.



Эпистолярное наследие



Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

Monsieur,

Le programme du Congrès international de Paris ne m'a été remis que l'un de ces derniers jours, après mon retour d'un voyage assez prolongé dans l'intérieur de la Russie.

Je crois, qu'à Pétersbourg, la seule société russe qui serait en état de s'intéresser aux questions du programme, c'est le Jacht-Club russe. Je n'ai pas l'honneur d'appartenir à cette institution, mais je crois qu'il s'y trouverait des personnes qui désireraient prendre part au Congrès.

À Moscou, vous pourriez vous adresser à m. Pons, maître d'escrime, très connu

dans la haute société de cette ville.

Pour les personnages haut placés, auxquelles il conviendrait de communiquer la circulaire et le programme, je puis nommer : le secrétaire d'état m-^r Groth, le général Kirieff, m-^r Batschmanoff (chambellan). Le premier est un grand protecteur de toute initiative gymnastique ou sportive, les deux autres sont des amateurs connus (d'escrime, principalement).

Je n'ai pas de relations personnelles avec les personnes nommées, mais j'ai lieu de croire qu'ils prendront intérêt au programme du Congrès. — Les adresses justes m'échappent pour le moment (Petersbourg), mais il n'y a qu'à mettre les noms et les titres pour que l'envoi parvienne à sa destination.

Je joins agréer, monnieur, l'hommage de mes sentiments les plus distingués.

A. de Boutoulsky

Pour ma part, soyez sûr, monsieur,
que je ferai tout mon possible pour
repandre le programme et pour le faire
connaître aux amateurs des sports
athlétiques.

Avez-vous reçu mon article sur
les exercices physiques en France?

A. de B.

Монсеньер!

Программу международного конгресса в Париже я получил через несколько дней после моего возвращения из длительного путешествия по России.

Я думаю, что в Петербурге единственным русским обществом, которое могут заинтересовать вопросы программы, является русский яхт-клуб.

Я не принадлежу к этой организации, но думаю, что в ней найдутся люди, которые захотят принять участие в конгрессе.

В Москве вы можете обратиться к господину Понсу, известному в высшем обществе этого города как мастер фехтования. В круг его друзей входят такие высокие чиновники, как госсекретарь, господин Грот, генерал Киреев, господин Бацманов (камергер).

Первый из перечисленных — знаменитый покровитель нововведений в гимнастике и других видах спорта.

Двое последних — известные любители фехтования. Я лично не знаком с вышеназванными господами, но убежден, что они проявят интерес к программе конгресса. Их адресов (Петербург) у меня сейчас нет, но на конверте можно указать только имя и титул человека, и оно дойдет по назначению.

А. де Бутовский

P. S. Уверяю вас, что со своей стороны я сделаю все возможное для распространения программы и ознакомления с ней любителей атлетического спорта.

Получили ли вы мою статью о физических упражнениях во Франции?

Примите выражение моих лучших чувств.

А. де Б.

Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

12/11 95. M
5

Monsieur le Baron

En premier lieu, recevez nos
félicitations les plus sincères, les
miennes et celles de ma femme,
à l'occasion de votre mariage,
que nous croyons déjà accompli,
et nos souhaits d'un bonheur durable,
bien rempli et tranquille.

J'ai reçu tous les trois envois du
Bulletin et je les ai employés pour
repandre l'idée des Jeux Olympiques.
Je dois dire pourtant qu'il y a encore
beaucoup d'indifférence pour la cause
des exercices physiques en général, chez

nous, en Russie. Notre presse n'est nullement disposée à soulever sérieusement la question de l'éducation physique, qui est tenue peu digne d'avoir sa part de place dans un journal d'une certaine autorité. La gymnastique n'est presque pas enseignée dans nos gymnases civils, quoique il y a déjà cinq ans que j'ai fait un manuel de gymnastique, spécialement commandé pour les gymnases et qui a reçu l'approbation du ministère de l'instruction publique. Il n'y a que le ministère de la guerre et les écoles militaires qui s'intéressent vivement de cette question et qui lui ont assuré un avenir assez solide.

Dans toutes ces circonstances je

ne désespère pas pourtant de pouvoir former un Comité de Jeux Olympiques. Avant même de recevoir votre lettre, nous avons examiné cette question avec mon ami Alexei Scheden qui est bien disposé à me prêter son concours, comme membre de plusieurs sociétés sportives. Il est tout-à-fait sûr que les représentants individuels ne manqueront pas aux Jeux; il doute seulement, pour le moment, de pouvoir organiser une représentation collective, à cause de grandes dépenses etc.

Dès que nos démarches pour la formation du Comité auront réussi, je ne manquerai pas de vous en informer.

Veillez agréer, monieur le Baron, l'expression de mes sentiments les plus distingués
A. de Butovsky.

19 февраля 1895 г.

Господин барон!

Прежде всего, примите наши искренние поздравления, мои и моей жены, по поводу вашего бракосочетания. Мы желаем вам долгого, полного и спокойного счастья.

Я получил все три экземпляра бюллетеней и использовал их, чтобы определить идею Олимпийских игр. Должен заметить, что есть еще много отличий, касающихся физических упражнений у нас в России. В нашей прессе не рассматривается вопрос о физическом воспитании, и он в достаточной степени не освещается различными изданиями. Гимнастика практически не преподается в наших гражданских гимназиях, хотя пять лет назад я написал учебник по гимнастике, рекомендованный специально для гимназий и прошедший апробацию в Министерстве образования. Только военный министр и военные школы живо интересуются этим вопросом и применяют мой опыт на практике.

Учитывая все вышесказанное, я не отчаялся участвовать в формировании Комитета Олимпийских игр. Перед получением вашего письма мы изучали этот вопрос с господином Алексеем Лебедевым, который готов поддержать меня как член многих спортивных обществ. Он уверен, что многие волонтеры поддержат Игры; вызывает сомнение лишь организация коллективного представительства на Играх в связи с большими денежными расходами.

Мы обязательно вам сообщим, если добьемся успеха в формировании Комитета.

Примите выражение моего глубочайшего уважения.

А. де Бутовский

Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

Monsieur,

Je me sens véritablement très honoré de mon élection de la part du Congrès International Athlétique comme membre pour la Russie du Comité International. Il y a bien des années que j'ai voué toute mon activité à la cause de l'éducation morale et physique de la jeunesse, ce pourquoi je me sens obligé d'accepter avec reconnaissance une charge aussi honorable de la part d'une institution d'un grand avenir pour cette cause dans tous les pays.

Je n'ai pas encore reçu le compte-rendu et je n'ai pas vu non plus Mr Alexei Lebedev, mais vous pouvez bien comprendre

l'impatience avec laquelle j'attends
les détails des séances et les renseignements
sur mes charges comme membre du Comité

Ce ne seraient que les circonstances
les plus inattendues qui pourraient m'empêcher
d'être présent en 1896, à Athènes, pour
les premiers Jeux Olympiques

Agissez, monsieur, mes sentiments
les plus sincèrement dévoués

11 juillet 1894. S. de Bourtchinsky

Général-Major, attaché à la Direction
des Écoles militaires en Russie.

St-Petersbourg.

Монсеньер!

Я испытываю гордость в связи с тем, что выбор Международного Атлетического Конгресса пал на меня как на члена Международного Комитета от России. В течение многих лет я посвящаю свою деятельность моральному и физическому воспитанию молодежи. Именно поэтому я чувствую себя обязанным с благодарностью принять эту почетную миссию, возложенную на меня организацией с большим будущим.

Я еще не получил отчет и не видел больше господина Алексея Лебедева, но вы понимаете, с каким нетерпением я ожидаю подробностей заседаний и решений по поводу моих назначений в качестве члена Комитета.

Я не вижу причин, которые смогли бы помешать мне присутствовать в 1896 г. в Афинах на Первых Олимпийских играх.

Примите, монсеньер, заверения в моем глубочайшем уважении.

А. де Бутовский, генерал-майор,
атташе Управления военной школы России

Санкт-Петербург

Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

5 octobre 1896.

13



Monsieur le baron,

J'ai transmis votre lettre au chef du bureau personnel du grand duc, avec la demande de me faire connaître les dispositions de son altesse dès qu'il sera de retour de son voyage. On m'a dit qu'il a l'intention de passer quelques jours à Paris, après les fêtes de la réception de l'empereur. N'auriez-vous pas l'occasion de solliciter une audience? Ce serait le meilleur moyen de l'intéresser à la chose.

J'ai lu votre nom parmi les organisateurs des fêtes de la réception; vous êtes vraiment infatigable.

Après de mon voyage: est ce que

Le professeur S. Mosso, de Turin, ne vous a pas adressé une lettre au sujet des jeux olympiques? Il m'a semblé que mes écrits ont contribué à éveiller sa curiosité, et il voulait vous écrire; je lui ai même donné votre adresse. Si son intérêt ne s'est pas rafraîchi, je puis me féliciter d'avoir réussi plus pour la participation de l'Italie que pour celui de la Russie, parce que ici je n'ai pas encore pu trouver un journal qui se chargea de publier mon compte-rendu, et je me vais dans la nécessité de le publier à mes frais. Pourtant, je ne perds pas l'espoir d'avoir plus de succès cette fois chez nous, que je n'en avais eu dans la première olympiade.

Il me semble que vous voulez me trouver plus pédagogue que je ne le suis véritablement. Mais, toujours, je crois que dans la profondeur de ma conscience je pourrais trouver quelques questions dont la résolution, dans les intérêts

de la jeunesse, me procurerait un grand contentement.

J'espère pouvoir être présent au congrès. Mais, en cas de mon absence, permettez-moi d'en connaître à temps le programme, pour pouvoir préparer quelques propositions.

Ma femme passe l'automne dans notre campagne de la Petite Russie. Mais je suis sûr qu'elle s'empresserait, avec moi, de témoigner nos souvenirs les plus affectueux à madame la baronne.

Si vous avez l'occasion de voir m-r et m-me Gotart, ayez l'obligeance de leur faire part de notre bien grand respect.

Veuillez, monsieur le baron, agréer l'expression de mes sentiments d'estime et d'amitié.

A. de Boutevsky
général-major attaché à la Direction
des écoles militaires russes.

5 октября 1896 г.

Господин барон!

Я передал ваше письмо руководителю персональной канцелярии великого князя с просьбой уведомить меня о месте пребывания его светлости после возвращения из путешествия. Мне было сказано, что он проведет несколько дней в Париже после приема у императора. Не могли бы вы по случаю испросить у него аудиенцию? Это была бы наилучшая okazия заинтересовать его этим вопросом.

Я видел вашу фамилию среди приглашенных на прием к императору; вы поистине неутомимы.

По поводу моего путешествия: профессор А. Моссо из Турина не написал Вам письмо на предмет олимпийских игр? Мне показалось, что мои рассказы вызвали у него интерес, он собирался написать вам, и я дал ему адрес. Если его интерес не остыл, то я могу себя поздравить с личным вкладом в участие Италии больше, чем России, т. к. все еще не смог найти газету, которая напечатала бы мой отчет, я думаю, что буду издавать его за свои деньги. И все же я не теряю надежды на наш больший успех в этот раз, чем в первую олимпиаду.

Мне кажется, что Вы хотите видеть во мне педагога в большей степени, чем я им являюсь на самом деле. Но я верю, что подсознательно я мог бы сформулировать некоторые вопросы, решения которых в интересах молодежи принесли бы мне глубокое удовлетворение.

Я надеюсь на возможность присутствовать на конгрессе. Но, на случай моего отсутствия, разрешите мне заранее ознакомиться с программой, чтобы подготовить некоторые предложения.

Моя жена проводит эту осень в нашей деревне в Малороссии. Но я уверен, что она присоединится ко мне, чтобы засвидетельствовать лучшие пожелания госпоже баронессе.

Если у вас будет возможность увидеть господина и госпожу Годар, обязательно передайте от нас нижайший поклон.

А. де Бутовский,
генерал-майор, атташе
Управления военной школы России

Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

27 juin 1897

Monsieur,

Les affaires de mon service me mettent dans l'impossibilité d'être présent au congrès de Staro. Mais j'espère que l'athlétisme russe y sera dignement représenté par mon ami M^r Alexei Sebedev qui vous est connu depuis le congrès de 1894. M^r Sebedev se charge d'exposer devant le congrès tous les progrès, assez considérables, qui ont été faits en Russie en fait des exercices physiques en général et dans la vie sportive en particulier. Nous avons aussi longuement causé avec lui à propos de la pédagogie dans les exercices, et je suis sûr qu'il est tout à fait compétent pour traduire mes idées. Ne soyez pas incrédule s'il vous parle

de la possibilité des Jeux Olympiques en Russie même immédiatement après ceux de Paris. - Aux Jeux de Paris je ne pourrai pas manquer, si rien ne m'arrive, parceque je suis déjà nommé parmi les représentants pour l'exposition.

Les „Souvenirs d'Amérique et de Grèce” m'ont donné bien des moments agréables; c'était ma récréation pendant un long voyage à Omsk, en Sibirie, d'où je suis de retour il y a quelques jours seulement.

Je suis bien touché des marques constantes de votre bonne amitié. Ma femme regrette beaucoup d'être privée du plaisir de jouir de la société de madame la Baronne à Harve.

Veuillez agréer mes sentiments les plus sincères de respect et d'amitié

A. de Butovsky.

27 июня 1897 г.

Монсеньер!

Мои обязанности не позволяют мне присутствовать на конгрессе в Гавре. Но я надеюсь, что русская атлетика будет там достойно представлена моим другом господином Алексеем Лебедевым, которого вы знаете по конгрессу 1894 г. На конгрессе господин Лебедев уполномочен доложить о значительных достижениях в России в физических упражнениях в общем и в спортивной жизни в частности. На протяжении длительного времени мы обсуждаем с ним вопросы педагогики в физическом воспитании, и я уверен, что он достаточно компетентен в воспроизведении моих идей. Не воспринимайте с недоверием возможность проведения Олимпийских игр в России сразу же после Парижа. Игры в Париже я не пропущу, если мне ничего не помешает, так как я уже назначен одним из представителей.

“Воспоминания об Америке и Греции” доставили мне много приятных мгновений; это были минуты отдыха во время долгого путешествия в Омск в Сибирь, откуда я вернулся несколько дней назад.

Я тронут многочисленными знаками вашей дружбы. Моя жена очень скучает о времени, проведенном в Гавре в обществе госпожи баронессы.

Примите мои наилучшие пожелания и уверение в дружбе и расположении.

А. де Бутовский

Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

22 août 1891

Monsieur,

M^r Seledow m'a initié en détail dans toutes les péripéties du Congrès international et c'est par lui que la nouvelle m'est parvenue de l'état de votre santé qui paraît être dérangée par l'excès de travail. Je ne sais pas si je dois vous affirmer les sentiments d'une sympathie et d'une inquiétude bien amicales que j'ai ressenties à cette nouvelle. J'aime à espérer que tout ira pour le mieux si vous vous décidez courageusement à un repos complet, et que je vous verrai tout plein dans votre rôle d'énergie, d'action et d'initiative aux Jeux Olympiques de 1900.

Quant à M^r Seledow lui-même, vous comprendrez bien, que n'ayant aucune mission officielle et n'étant que le représentant des sociétés privées de S. Pétersbourg, il devait attendre un moment favorable, une invitation ou un encouragement

pour exposer les idées qu'il avait l'intention d'avancer. Ce moment, il ne l'a pas vu arriver. L'encouragement lui serait venu, nous ne le doutons pas, de votre part, dans les conditions moins gênantes que celles où vous-vous êtes trouvé. Mais à défaut des circonstances meilleures, avec ce caractère d'une correction à toutes épreuves que nous lui connaissons, il ne pouvait pas se permettre de faire partie commune avec m-r de Retter qui a si bien réussi de faire échouer sa représentation officielle par ses discours extravagants et sa conduite d'un mal élevé.

M^r Schedew me charge de vous communiquer qu'il était très loin de témoigner par son départ un mécontentement ou quelque chose de semblable. Il était tout-à-fait satisfait de l'accueil qui lui était fait, mais il était pressé à cause de ses affaires personnelles et, voyant que toutes les questions d'une signification générale sont épuisées, il profita du premier moment pour plier bagages.

Qui est-il véritablement, ce m.^r de Ritter,
- je ne le sais pas jusqu'à présent. J'ai fait
sa connaissance sur le bateau à vapeur, à la
veille d'Athènes; nous nous sommes retrouvés
accidentellement, pour deux ou trois jours, à Rome,
et depuis ce temps je n'ai pas eu de relations avec
ce monsieur. Que j'ai toujours vu en lui quelque
chose qui donne lieu à une question, je l'ai noté
dans mon article sur Athènes, que vous avez.
Comment et pourquoi a-t-il été chargé d'une
mission du ministère de l'instruction publique,
c'est encore une question que je n'ai pas pu
résoudre. - Je ne voudrais pas lui mettre sur
le dos une responsabilité officielle, mais je
veux profiter de la première occasion pour faire
part de ses procédés au congrès au ministère
de l'instruction publique.

Faut-il vous dire quel grand plaisir et intérêt
j'aurais eu de me retrouver avec vous avant l'ex-
position de 1900. Il paraît que les questions
internationales des sports et de l'instruction



22 августа 1897 г.

Монсеньер!

Господин Лебедев посвятил меня во все детали Международного Конгресса и заодно сообщил мне новости о вашем здоровье, подорванном работой. Я очень обеспокоен и расстроен. Я надеюсь, что все будет хорошо, если вы примете решение о полноценном отдыхе, и надеюсь увидеть вас полным деятельной и инициативной энергии на Олимпийских играх 1900 года.

Что касается лично господина Лебедева, вы понимаете, что он не выполнял никакой официальной миссии и, являясь частным лицом из Санкт-Петербурга, должен был ожидать благоприятного момента или приглашения, чтобы выразить свои идеи, которые он имел намерение продвигать. На данный момент такого случая не представилось. Мы не сомневаемся в том, что поддержку он получит именно с вашей стороны, когда вы будете чувствовать себя лучше. Но за неимением благоприятных обстоятельств, он, будучи очень корректным, не может поступить так же, как господин Риттер, отличившийся в своем официальном выступлении экстравагантными высказываниями и невоспитанностью.

Господин Лебедев попросил меня сообщить вам, что не хотел бы, чтобы его отъезд был воспринят как недовольство. На самом деле он был удовлетворен оказанным приемом, но спешил по своим личным делам, и видя, что основные вопросы исчерпаны, он сразу же стал складывать багаж.

Я не знаю до сих пор, кем же является на самом деле господин Риттер. Мы познакомились на пароходе перед отъездом в Афины; мы случайно встретились, два или три дня провели в Риме, и с того времени я не виделся с этим господином. При встречах с ним у меня возникал вопрос, который я поставил в своей статье об Афинах, у вас она есть. Как и почему он был назначен Министерством образования, вот вопрос, на который я не нахожу ответа. Я хочу при первой возможности уведомить министра образования о его заявлениях на Конгрессе, не привлекая этого господина к официальной ответственности.

Нужно ли говорить, какое огромное удовольствие и интерес я испытываю к нашей встрече перед событием 1900 года. Каза-

лось бы, что международные вопросы о спорте и физической культуре немного неясны и носят индивидуалистический характер из-за отсутствия конкретных положений в этой большой отрасли воспитания (не касаясь педагогики). Я понимаю, как это печально для вас. Мне показалось, что в Афинах все проходило иначе во время собраний Международного комитета.

Моя жена просит засвидетельствовать почтение и выражение лучших чувств госпоже баронессе.

Желаю вам скорейшего выздоровления и заверяю вас в своей глубокой дружбе.

А. де Бутовский

Я посылаю это письмо в Париж и не уверен, что вы получите его вовремя, так как наклеил ваши марки после немецких.



Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

21 novembre 97.

Mon cher ami,

Je puis vous annoncer une agréable nouvelle: les sociétés sportives russes se sont mis en rapport pour organiser un comité Olympique. Les sociétés de Pellsboury ont déjà eu une séance à ce propos et ont déterminé l'époque de l'arrivée des représentants provinciaux. Ce sera pour le mois de janvier. C'est à l'initiative et à l'énergie de m.^r Lebedew que j'attribue cet accord, assez inattendu, mais pourtant définitif.

Parce que ce qui concerne m.^r Meyer, le photographe, je veux bien tâcher d'éclaircir si son envoi a été accueilli, et je lui ferai part de ce que je pourrais apprendre.

Nous serons bien contents de vous voir à Pétersbourg. Je suis sûr que votre présence dans le comité Olympique russe, qui est en train de se former le plus prochainement, posera bien la question de la participation des athlètes russes aux jeux de 1900.

En vous priant, de la part de ma femme et de la mienne, d'exprimer à madame la baronne nos meilleurs souvenirs, je veux vous dire que je suis très touché des dispositions amicales qui se sont établies dans nos rapports et qu'en retour de vos bons sentiments je suis heureux de vous exprimer mon affection et mon attachement les plus sincères et les plus constants.

A. de Butowsky.

21 ноября 1897 года

Мой дорогой друг!

Я хочу вам сообщить приятную новость: русская спортивная ассоциация приняла решение организовать Олимпийский комитет. Ассоциация Петербурга уже провела заседание по этому поводу и определила срок приезда представителей из провинции. Это произойдет в январе месяце. Все это свершилось по инициативе и благодаря энергичности господина Лебедева, оказавшего мне неожиданную, но очень значительную помощь.

Что касается господина Меера, фотографа, я хотел бы уточнить, была ли получена вами его посылка, чтобы ему об этом сообщить.

Мы будем рады видеть вас в Петербурге. Я уверен, что ваше присутствие на заседании русского Олимпийского комитета, который в скором времени будет сформирован, ускорит рассмотрение вопроса об участии русских атлетов в играх 1900 года.

Прошу вас от меня и моей жены выразить госпоже баронессе наши лучшие пожелания. Я хочу вам сказать, что тронут дружеским расположением, установившимся в наших отношениях, хочу выразить вам глубокую привязанность и сердечность.

А. де Бутовский

Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

Le 19 décembre 1897.

Mon cher ami,

Je viens de terminer un ouvrage complet sur la gymnastique pédagogique et militaire suédoise. Il est imprimé en russe dans le Recueil Pédagogique des Ecoles militaires; 10 feuilles in 8°.

Je l'ai lu à Stockholm (au mois d'octobre, à ma le major Balck et au professeur Försberg (Directeur de l'Institut central), et tous les deux ils m'ont dit qu'il n'y a pas un ouvrage correspondant dans la littérature pour l'exposé systématique de la doctrine suédoise.

Tout en tenant compte de ce qui est dû, dans cette appréciation, à leur amabilité,

Je crois qu'ils ~~peuvent~~ ont été sincères, et vous comprendre mon désir (et le leur) de faire paraître cet ouvrage en français. Ils croient même que l'ouvrage pourrait être dédié au prince héritier de Suède.

Ne m'en veuillez pas si je m'adresse à vous avec la prière de proposer l'édition de la traduction française de mon ouvrage à un des éditeurs qui vous sont connus. La traduction peut être prête pour le mois de février. — Je ne tiens pas beaucoup à l'honoraire, quoique je ne refuserai pas le % d'usage. Mais je ne voudrais pas faire la traduction à mes frais, et je voudrais avoir au moins 200 exemplaires pour ma part. Je crois pouvoir disposer des clichés pour une trentaine de petites figures.

Excuser le trop d'audace de vous importuner pour mon affaire privée.

Veillez dire ^{nos} meilleurs souvenirs à
madame la baronne et croyez aux sentiments
d'amitié et d'estime de votre tout
dévoué

A. de Butovsky.

19 декабря 1897 г.

Мой дорогой друг!

Я только что закончил работу о педагогической гимнастике и военном деле Швеции. Она напечатана на русском языке в сборнике "Педагогика в военных школах", 10 листов в восьмом номере.

Я прочитал ее в Стокгольме в октябре месяце господину майору Бальку и профессору Форгрёну (Директору центрального института), и они оба отметили, что еще нет работ, представляющих систематизацию шведской доктрины.

Исходя из обстоятельств, я уверен, что они были искренни в своих высказываниях, и вы понимаете мое желание (и их) напечатать эту работу на французском языке. Они полагают, что работа может быть посвящена наследному принцу Швеции. Не откажите мне в просьбе, с которой я хотел бы к вам обратиться. Я прошу вас поддержать мое издание и перевод моей книги у ваших знакомых издателей. Перевод должен быть готов в феврале. Я особо не надеюсь на гонорар, хотя не откажусь от процента с продажи. Я не хочу делать перевод за свои собственные средства и хотел бы получить минимум 200 экземпляров для себя лично. Я хотел бы иметь тридцать штук клише для изображений.

Извините меня за мою дерзость, что я заставляю вас заниматься моими личными делами.

Передайте наши наилучшие пожелания госпоже баронессе и примите наши заверения в дружбе и уважении.

А. де Бутовский

Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

18 Juin 1899.

Mon cher ami,

Je serai bien content de vous voir à Petersbourg. — Mais, pour ce qui concerne les questions des Jeux Olympiques, je vous prie de vous adresser directement à m^r Seledov, qui est le véritable organisateur de notre association sportive russe, et c'est à lui que doit revenir de droit la place dans le comité international. Les deux dernières années je me trouvais trop chargé de différentes affaires et questions spéciales pédagogiques et militaires pour pouvoir entretenir des liaisons avec nos sportsmen, et je fais un acte de conscience en vous présentant ma démission.

Ne. on l'en revilles pas. Moi et ma

femme, nous revenons souvent aux souvenirs des beaux jours d'Athènes et il nous serait bien pénible de voir entrer quelque froideur dans les relations qui sont si intimement liées à ces souvenirs.

Je vous prie de témoigner nos respects à madame la baronne et de croire aux sentiments d'amitié la plus sincère.

A. de Boutowsky.

18 июня 1899 г.

Мой дорогой друг!


Я буду рад видеть вас в Петербурге, но что касается вопросов Олимпийских игр, я прошу Вас обратиться непосредственно к господину Лебедеву, который является настоящим организатором нашей русской спортивной ассоциации и должен стать членом Международного комитета.

На протяжении последних двух лет я был занят разными проблемами и вопросами, касающимися педагогики и военного дела, для установления связи с нашими спортсменами. Вот почему я осознанно хочу заявить вам о своей отставке.

Не сердитесь на меня и мою жену, мы часто вспоминаем о замечательных днях, проведенных в Афинах, и нам будет тяжело ощущать некоторое охлаждение в наших отношениях, которые были столь близкими и которые связывают многочисленные воспоминания.

Прошу вас засвидетельствовать наше уважение госпоже баронессе и заверить в наших дружеских чувствах.

А. де Бутовский



Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

СПБ., ПЕТЕРБ. СТ., Б. ПР. 15.

25 novembre 1904.

Monsieur

J'ai reçu votre lettre à mon arrivée d'une grande tournée dans le midi de la Russie, et je note ce fait comme motif d'indulgence pour ma tardive réponse.

La nomination honorifique dont vous me faites part me confond et me touche d'autant plus que, pour ma part, je ne me suis jamais tenu pour un agent trop compétent et assez actif dans le domaine de l'éducation physique, de

au-delà des limites de ma
patrie. J'accepte avec gratitude
le titre qui m'est décerné et
je ferai tout mon possible pour
être présent au Congrès International
de Bruxelles, me réjouissant d'avance
de pouvoir revivre les grandes im-
pressions de 1896, au sein d'une
société aussi distinguée et aussi
étroitement unie que l'était celle
du Comité International d'Athènes.

Veillez transmettre mes respectueux
hommages et les meilleurs souvenirs
de ma femme à madame la baronne
de Leukertin, et agréer, monsieur,
l'expression de mes sentiments
les plus élevés

A. de Butovsky



25 ноября 1904 г.

Монсеньер!

Я получил ваше письмо лишь по возвращении из большого турне по югу России, этим объясняется мой несвоевременный ответ.

Ваше предложение о назначении на почетную должность меня смутило и привело в замешательство, так как я со своей стороны никогда не проявлял достаточной компетентности и активности в области физического воспитания за пределами моей родины. Я понимаю огромное значение титула, присужденного мне, и я сделаю все возможное, чтобы присутствовать на Международном Конгрессе в Брюсселе в окружении уважаемого собрания, радуясь заранее возможности пережить еще раз неизгладимые впечатления 1896 года, а также испытать дух единения Международного комитета в Афинах. Хочу засвидетельствовать мое искреннее уважение и передать наилучшие пожелания моей жены госпоже баронессе де Кубертен и примите, монсеньер, уверения в моих лучших чувствах.

А. де Бутовский



Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

СПБ., ПЕТЕРБ. СТ., Б. ПР. 15.

18 mai 1905.

Monsieur

Je serai présent au Congrès de Bruxelles et, pour y participer comme membre délégué, j'ai obtenu l'autorisation de la Direction des Ecoles militaires. Mais je dois vous prévenir que je ne puis aucunement représenter officiellement la Russie. Cette dignité ne m'a pas été proposée par mon gouvernement et, vous conviendrait, que ce serait pour moi un cas très délicat de la solliciter de mon propre mouvement. Enfin, il n'est plus déjà temps, parce que nous sommes à la veille de notre départ pour l'étranger.

Veuillez donc, monsieur, me tenir tout simplement pour un partisan zélé, mais modeste, de la cause de l'éducation physique, bien flatté de l'attention du Comité International Olympique et goûtant d'avance le plaisir de me retrouver avec des connaissances anciennes, dont le souvenir, si intimement lié aux beaux jours d'Athènes, n'a jamais éveillé en moi que des sentiments d'estime et d'amitié.

J'ai reçu les programmes du Congrès. J'en ai fait mention à l'éditeur et je les ai distribuées aux sportsmen de ma connaissance et aux personnes qui portent intérêt à l'éducation physique.

Les vœux que vous exprimez si sincèrement pour le succès des armes Russes me touchent au plus profond de mon cœur. Agréer l'expression

de ma reconnaissance et veuille
croire à mes sentiments les plus
dévoués

A. de Butovsky.

18 мая 1905 г.

Монсеньер!

Я буду присутствовать на Конгрессе в Брюсселе в качестве делегата. Уже получил подтверждение руководства Военной школы. Но должен вас предупредить, что я не буду официально представлять Россию. Эта честь не была мне предоставлена моим правительством, и вы понимаете, что с моей стороны было бы нетактично ходатайствовать об этом. Да и к тому же на это уже нет времени, потому что мы вскоре уезжаем за границу.

Монсеньер, я чувствую себя достаточно скромным приверженцем физического воспитания, обласканным вниманием Международного олимпийского комитета, и предвкушаю заранее удовольствие от встречи со старыми знакомыми, воспоминания о которых и о светлых днях, проведенных в Афинах, никогда не изгладятся из моей памяти.

Я получил программы Конгресса, сделал в них пометки и отправил спортсменам и людям, интересующимся физическим воспитанием.

Пожелания успеха русскому оружию, так сердечно высказанные вами, глубоко тронули мое сердце.

Примите мою искреннюю благодарность и выражение моего искреннего уважения.

А. де Бутовский

Алексей Бутовский Виктору Бальку

СПБ. ПЕТЕРЬ. СТ., Б. ПР., 15.

16 avril 1910.



Mon cher ami,

Après des longues recherches je
puis en conscience vous recommander
une personne très digne et être
membre du Comité Olympique
comme représentant de la Russie.

Je crois que vous le connaissez un
peu. C'est monsieur Georges
Supervent, homme de sport,
très instruit et de la meilleure
éducation. Il va vous écrire lui-même,
et je serai bien content si, grâce
à ma recommandation, il sera reçu

dans le Comité.

Je suis bien ~~satisfait~~ satisfait de pouvoir
vous être utile et en général de
ne pas relâcher les liens d'amitié
qui nous unissaient si longtemps.

Veillez transmettre à madame
Balok de la part de ma femme
et de la mienne nos sentiments
de respect et nos meilleurs souvenirs,
et agréer l'assurance de mon
amitié la plus sincère

A. de Boutowsky.

16 апреля 1910 г.


Мой дорогой друг!

После долгих раздумий я осознанно рекомендую вам человека, который заслуживает стать членом Олимпийского комитета, представляющего Россию. Я думаю, что вы немного с ним знакомы. Это господин Жорж Дюперон, человек спорта, очень образованный и весьма воспитанный. Вскоре он напишет вам лично, и я буду очень рад, если благодаря моим рекомендациям он будет принят в Комитет.

Я очень рад быть вам полезным и в дальнейшем сохранить дружеские отношения, связывающие нас долгие годы.

Прошу засвидетельствовать госпоже Бальк выражение наилучших пожеланий от меня и моей жены и выразить уверенность в моих дружественных чувствах.

А. де Бутовский



Алексей Бутовский Пьеру де Кубертену

14 février 1911.

Monsieur,



Maintenant la question de la candidature au Comité est assez claire pour moi, et je n'ai pas à revenir là-dessus quelle que soit mon opinion intime sur ce sujet.

J'ai reçu l'Annuaire et je recevais régulièrement la Revue Olympique. C'est une attention que je sais apprécier, comme aussi l'intérêt bienveillant de vos lettres. Veillez aussi, monsieur, nous rappeler avec bons souvenirs de Madame la Baronne de Coubertin.

Agitez l'expression de mes sentiments
les plus distingués
A. de Butowski



14 февраля 1911 г.

Монсеньер!

Сейчас вопрос о кандидатуре в Комитет достаточно ясен для меня, и мне не хотелось бы снова затрагивать его.

Я получил ежегодник, и мне регулярно приходил Олимпийский журнал. Это главное, о чем я хотел сообщить вам, так как в ваших письмах вы интересуетесь этим вопросом. Передайте наши наилучшие пожелания баронессе де Кубертен.

Примите мои самые искренние заверения моего уважения к вам.

А. де Бутовский



Післямова



Підготовка до видання Зібрання творів О. Д. Бутовського, праці якого було опубліковано понад 100 років тому, виявилася дуже складним завданням. Творчий доробок Олексія Бутовського ніколи не перевидавався в СРСР з ряду відомих ідеологічних причин. Збереглися лише окремі роботи в бібліотеках і архівах Санкт-Петербурга, Москви, Олімпійського музею в Лозанні. Варто лише сказати, що в усіх бібліотеках України вдалося віднайти лише невелику їх кількість із більше, ніж сорока основних праць О. Д. Бутовського.

Підготовка чотиритомного видання Зібрання творів, поданого на розгляд читачів, стала можливою лише завдяки кропітким пошукам українського вченого доктора педагогічних наук Олександра Борисовича Суника, який ще в часи СРСР багато сили і часу витратив на пошуки та вивчення творчої спадщини О. Д. Бутовського.

О. Б. Суник написав об'ємний бібліографічний нарис про Олексія Бутовського, а також серію статей, в яких із властивою йому педантичністю посилався на першоджерела і їх місцезнаходження. Саме дякуючи історичним пошукам ученого нам удалося за короткий термін розшукати основні книги та інші публікації творів Олексія Бутовського, багато з яких в одному примірнику і знаходились вони у ветхому стані.

Велику допомогу у відновленні творчої спадщини О. Д. Бутовського надали наукові співробітники бібліотеки Олімпійського музею в Лозанні, а саме Сабіне Крісті та Патрісія Екерт, яким удалося віднайти кілька друкованих праць і, що найважливіше, шість невідомих раніше листів О. Д. Бутовського, п'ять із яких адресувались П'єру де Кубертену, один — члену виконкому МОК Віктору Бальку.

Не менш важливою частиною роботи виявилися пошук і отримання копій праць у різних організаціях та підготовка зібрання творів до видання — систематизація і літератур-

на обробка матеріалу, відновлення ілюстрацій тощо. Варто відмітити, що за цю роботу з великим ентузіазмом узялися співробітники Національного олімпійського комітету, Олімпійської академії України, Національного університету фізичного виховання і спорту України та інших установ.

Національний олімпійський комітет та Олімпійська академія України висловлюють особливу подяку:

- *ВДОВЕНКО Валентині Іванівні* — директору видавництва “Олімпійська література”, заслуженому працівнику культури України;

- *ВОРОНОВІЙ Валентині Іванівні* — завідувачу лабораторії олімпійської освіти НДІ НУФВСУ, кандидату психологічних наук, професору;

- *ДРАЗІ Василю Васильовичу* — заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України;

- *ЄРМОЛОВІЙ Валентині Михайлівні* — директору Олімпійської академії України, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України;

- *ЗУБАЛІЮ Миколі Дмитровичу* — завідувачу лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання АПН України, кандидату педагогічних наук;

- *ЗУБКО Яніні Миколаївні* — головному редактору видавництва “Олімпійська література”;

- *КОВАЛЕНКО Наталії Петрівні* — виконавчому директору Національного олімпійського комітету;

- *ПОЛТАВЕЦЬ Тетяні Миколаївні* — завідувачу бібліотеки Національного університету фізичного виховання і спорту України;

- групі молодих науковців Національного університету фізичного виховання і спорту України, які по краплинці збирали та опрацьовували матеріал про дивовижну постать О. Д. Бутовського.

Саме завдяки їм кожен українець матиме змогу ознайомитися з життям та працями одного з основоположників сучасного олімпійського руху, видатного науковця в галузі фізичної освіти і виховання, який посідає одне з провідних місць в історичних та культурних процесах нашої Батьківщини та міжнародного олімпійського руху.

Содержание



| | |
|--|-----|
| АФИНЫ ВЕСНОЙ 1896 года | 6 |
| НОВЫЕ МЕТОДЫ В ВОСПИТАНИИ (New Methods in Education, by J. Liberty Tadd) | 58 |
| О ШКОЛЬНОМ ТОВАРИЩЕСКОМ СУДЕ | 94 |
| ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ И ПОЧЕРК | 115 |
| В ВАГОНЕ АВГУСТЕЙШЕГО ГЛАВНОГО НАЧАЛЬНИКА ВОЕННО- УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (Отрывок из воспоминаний) | 140 |
| I. Первый выезд | 143 |
| II. День в вагоне | 150 |
| III. Отзвуки большой работы | 155 |
| IV. Впечатления и итоги | 165 |
| ГОДЫ МОЕГО УЧЕНИЯ В ПЕТРОВСКОМ-ПОЛТАВСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ | 170 |
| ПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА БУТОВСКОГО | 218 |
| ПРЕКРАТИВШИЙСЯ РОД (Из воспоминаний А. Д. Бутовского) | 241 |
| В РОДНОМ ГНЕЗДЕ (Летопись рода Бутовских) | 296 |
| ПАМЯТИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА (К годовщине его кончины) | 389 |
| ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ | 401 |

БУТОВСЬКИЙ Олексій Дмитрович

ЗІБРАННЯ ТВОРІВ

Том 4

(російською мовою)

У роботі над томом брали участь
Василь Драга, Валентина Єрмолова, Микола Зубалій

Відповідальний за випуск — *Валентина Вдовенко*

Редактор — *Яніна Зубко*

Комп'ютерна верстка — *Алла Богдан*

Коректори — *Надія Отрох, Алевтина Ніколаєва*

Підп. до друку 04.12.2008. Формат 84 × 108/32. Папір крейд.
Гарнітура "Арно Про". Друк офсет. Ум. друк. арк. 23,52.

Видавництво Національного університету фізичного виховання
і спорту України "Олімпійська література"
03380, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 2078 від 27.10.2005

Віддруковано в друкарні "Видавництво "Фенікс"
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13, 6
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 271 від 07.12.2000.